

NIGREDO



КНИГА КНИГ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

2

КНИГА КНИГ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАНАЛ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА
КНИГ

РОМАН

NIGREDO

2

КАЯЛА
Киев, 2018

УДК 821.161.1(477)'06-3

А 46

Александров А.

А 46 Книга книг. Nigredo. Т II — Киев: «Каяла», 2018.
352 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза,
публицистика»).

ISBN 978-617-7390-67-0

Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

УДК 821.161.1(477)'06-3

© А. Александров, 2018

© В. Ерко, иллюстрация на обложке, 2018

© «ФОП Ретівов Тетяна» (Киев), 2018

КНИГА ГОРОДА

КОРБЮЗЬЕВИЧ И РУНА

I

...А в это время в городе полным ходом шла подготовка к ежегодному Празднику Песни и Строя. Повсюду с самого раннего утра и до позднего вечера гремели изнурительные репетиции. Первыми не выдержали цветы на клумбах, в цветочных магазинах и в оранжереях Старого Ботанического сада — они увядали буквально на глазах и осыпались, лепесток за лепестком, словно опаленные раскаленным дыханием пустыни. Листья на верхушках деревьев скручивались в пергаментные трубочки; еще вчера полные жизненных соков ветви усыхали, кора на стволах отслаивалась и повисала лохмотьями. А за день до торжества уже и вся городская живность, хвостатая и пернатая, придя в сильнейшее волнение, вместе с ключьями шерсти и слипшимися перьями теряла аппетит, нюх и способность ориентироваться как на земле, так и в небе. Ее поведение стало непредсказуемым и даже агрессивным. То тут, то там какой-нибудь отставший от строя лопухий пионер, стриженный под полубокс, с красным галстуком на тоненькой шее, был покусан, особенно если он, не дай Боже, имел при себе барабан или горластый горн. Или жестоко поклёван какой-нибудь администратор среднего звена, запоздавший с работы — администраторы покрупнее (они же — главные виновники грядущего празднества) пешком не ходили и общественным транспортом не пользовались, а посему с городской фауной нос к носу не сталкивались и, стало быть, представление о ней имели весьма приблизительное. В подавляющем большинстве своем звери не желали ни минуты более оставаться на улицах, бульварах и в парках. И никакая сила не могла их затащить ни на обильные свежими мясными обрезками и костями фееричные рынки, ни под благодатную сень чудесно пахнущих шашлычных и пирожковых. Вслед за собаками и котами из города потянулись белки и мыши, ежи и ужи, певчие и не

очень певчие птицы; все они убегали, уползали, улетали, короче говоря, улепетывали прочь, бросая годами насиженные места и всем своим видом показывая, что к такому отвратительному действу как Праздник Песни и Строя не имеют ни малейшего отношения.

На рассвете означенного дня стройные колонны горожан под реюющими кумачами, возглавляемые профсоюзными, заводскими и армейскими духовыми оркестрами, старавшимися перегреметь друг друга, потянулись с разных сторон к Крецатику, и вскоре на прилегающие к нему улицы обрушилась какофония звуков, перед атонально-инфернальной мощью которой, возможно, преклонил бы колена и сам Штокгаузен, не говоря уже о представителях нововенской школы. Очевидно, явление музыки исполинов в бранный мир особенно болезненно воспринималось с высоты птичьего полета, ибо в небесах над головами демонстрантов и им сочувствующих стоял ужасающий ор, который заглушил не только рев труб и грохот барабанов, но даже пронзительно-звонкие детские песни и речёвки. Это вороны и галки в панике покидали сошедший с ума город...

Именно в этот погожий солнечный день, и в этот послеобеденный час, пришедший на смену отгремевшему утру, и именно в этот засиженный мухами гастроном на углу бывшей Маловладимирской и Ярославова Вала, где художник Корбюзьевич «сутки через трое» подрабатывал грузчиком за шестьдесят рублей в месяц плюс премиальные овощи к домашнему столу, — вошла она! И вошла она именно в ту минуту, когда он, буквально обрывая себе руки, выносил из подсобки треснутый ящик с огурцами. Скорее даже не вошла, а материализовалась... И материализовалась она так стремительно, а перемещалась по гастроному так невесомо-женственно, что, несмотря на тяжесть в руках, Корбюзьевич сразу почувствовал себя великим художником, чего с ним давно уже не случалось.

Она, конечно, не узнала его, потому что не знала его вовсе. А он узнал ее сразу, несмотря на то, что никогда раньше ее не видел. И это было так просто, так хорошо и необыкновенно! Он узнал ее по *основополагающей линии*, ярко очерченной в сверкании солнечных окон. И увидел он эту ее *линию* отнюдь не глазами опытного профессионала, а так называемым зраком вечно-го духа своего... Вот она остановилась, повернула голову вправо.

Потом — влево. Взгляд ее заскользил по рядам консервов, круп, макаронных изделий и даже по грязным, в ссадинах, рукам Корбюзьевича, в которых дрожал на весу тяжелый ящик с огурцами цвета безумия. У нее были глаза, зеленые как у каладрия, — способные предрекать будущее и возвращать к жизни королей... На мгновение взгляды их встретились и расплылись друг в друге, как в акварели «по мокрому». Все вокруг омылось нежной бирюзой и потекло... Но вот она направилась к шоколадам, конфетам, печеньям, зефирам, рахат-лукумам и прочим мармеладам, — так ослепительно прекрасная фея обходит свои сказочные владения. О чудное, непостижимое существо, явившееся из мира тайн, загадок и вечного счастья, из тех предвечных пространств, где, быть может, произрастал и корень *смертного грузчика* Корбюзьевича, и куда *бессмертный художник* Корбюзьевич был готов немедленно отправиться вслед за этим дивным существом! Но, увы. Начальство в размыто-обыденном образе товарища Раскладушко не пожелало отпустить грузчика Корбюзьевича в неведомый мир тайн, загадок и вечного счастья, повелев ему немедленно вернуться к прямым обязанностям, ибо в те судьбоносные минуты к хозяйственным воротам, фыркая и отплевываясь, подкатил запыленный и пропахший бензином грузовик, фаршированный сосисками, которые очевидно за какие-то особые педагогические свойства назывались «школьными», но по виду которых трудно было сказать определенно, являются ли они предметом потребления или его прямым результатом. Шофер, пока курил, тоже фыркал и отплевывался, он был чем-то недоволен.

Корбюзьевич мучительно разгружал гадкие сосиски, в то время как прекрасная мечта с кульком шоколадных конфет в золотой фольге уходила прочь, и, — кто знает? — быть может, навсегда.

Если ты прошел мимо розы, то не ищи ее более...

Три дня и три ночи художник Корбюзьевич безвылазно провел в своей крохотной мастерской, которая скромно ютилась на поросшей ясенями и кустами бузины изнанке Большой Житомирской улицы. Здесь он самозабвенно отдавался некоему подобию мортификации: почти не спал и не ел, изнуряя свой дух бесконечными и однообразными любовными озарениями. Бед-

ный художник не знал, как могло с ним такое стрястись, а еще меньше знал, что делать. Он то слонялся из угла в угол в приступе безотчетного волнения, то лежал на диване, бездумно наблюдая за тем, как ночной мотылек увивается вокруг горящей лампы, или прислушивался к замираниям своего сердца и к шороху тараканов в разбросанных на полу листах картона, — тараканов он больше не давил комнатным тапком, ибо новое и светлое чувство сделало его гуманнее. Где-то в подполье пел сверчок, и в пении его время обретало плоть. Иногда в ржавых водопроводных кранах нудно ворчал сердитый Муммель¹. Остановливаясь блуждающим взглядом на этих старых кранах, художник Корбюзьевич каждый раз почему-то вспоминал о Лукасе Кранахе Старшем, от чего легче не становилось.

В начале дня четвертого, почти совсем умерщвленный, он выбрался, наконец, в сияющий свет дня и, как слепой на ощупь, поплелся в кафе «Чайник». Там, встревоженный его видом, Старик Придумкин накормил его бутербродами с плавленым сырком «Дружба», напоил горячим кофе, а затем, со свойственной ему насмешливой пронизательностью, посоветовал срочно завести кота и почитать на досуге трактат Стендаля «О любви». В ответ Корбюзьевич густо покраснел и каким-то бесцветным голосом заявил, что у него нет времени даже газету почитать, а не то что целые трактаты, чем завел Старика Придумкина в логический тупик, ибо совершенно нельзя было взять в толк: каким это образом через отсутствие времени для чтения могут соотноситься или, наоборот, противопоставляться столь различные вещи, как газета и трактат. Но дело, конечно, было не в этом. Если бы художник Корбюзьевич все же нашел время и прочитал знаменитый труд Стендаля, то узнал бы, что все происходящее сейчас в его душе называлось простым словом «кристаллизация». Что же касается кота, способного скрасить одиночество хронического холостяка, то и его Корбюзьевич наотрез отказался заводить, справедливо рассудив, что животина сия в его мастерской быстро подойдет с голоду или, в лучшем случае, сбежит и до конца дней будет жить с глубокой психической травмой.

Выйдя на улицу, Корбюзьевич побрел в поисках следов, отпечатков, знаков, примет и намеков. Внутри у него все трепетало. Дивный образ незнакомки манил его, увлекая все дальше и

¹ Муммель (нем. Mummel) — имя «водяного духа» в немецких народных сказаниях.

дальше от этой бесталанной и лишенной смысла жизни. «О, как же ты прекрасна!» — шептали его губы. Взором своим, будто пером, он рисовал *особую, неповторимую линию* — квинтэссенцию ее красоты — на стенах, на дверях, на заборах, на окнах табачных киосков и проносившихся мимо троллейбусов, отчего те как бы обретали новую жизнь и становились чем-то большим, чем были сами по себе. Он бесконечно множил эти *линии*, переплетая их между собой и превращая в красивую замысловатую вязь на кофейных чашках, на граненых стаканах, на спинах прохожих — подобно тому, как древние германцы чертили свои таинственные руны на кубках, драгоценностях и надгробных камнях. И, может быть, именно потому он и назвал ее Руной... Руна! О, Руна!..

Последующие два дня ушли на борьбу за хлеб насущный, которая, хоть несколько и отвлекала от навязчивых мечтаний, но, к несчастью, плавно переходила в борьбу с совестью. Под музыку Фрэнсиса Лея из кинофильма «Мужчина и женщина» художник Корбюзьевич корпел над заказом для проходной завода «Красный Резинщик». Это должна была быть большая настенная роспись. На эскизе Корбюзьевич изобразил атлетически сложенных мужчину и женщину в флуоресцентно-синих комбинезонах на терракотовом фоне: в руках они, будто свернувшегося кольцом древнего змея-Уробороса, держали тракторную шину, огромную, лоснящуюся, только что сошедшую с конвейера. Трудясь над этим произведением, художник Корбюзьевич пребывал в столь глубочайшем делириуме, что сразу даже не заметил, как наделил главных героев чертами сходства — не трудно догадаться, с кем именно: рабочий сильно смахивал на самого Корбюзьевича, а работница была вылитой Руной. Вдобавок, на черном резиновом «Уроборосе» он большими кумачовыми буквами вывел бессмертный лозунг: «Пролетарии всех стран, совокупляйтесь!» Закончив эскиз, художник Корбюзьевич разорвал его в клочья и на завод больше не ходил.

Итак, о чем все это? Ну, конечно же, о любви! Любовь... Все его прошлое представилось художнику Корбюзьевичу старой засохшей палитрой, на которой вместо сияющих внутренним светом цветных пятен было сплошное месиво из давно высохших и пожухлых красок. Увы, это правда: жил он в бедности беспросветной. Пил дешевое вино не меньше других художников и поэтов и по примеру последних нередко смешивал его с водкой и даже с пивом, — но опьянение почему-то было безрадостным.

Он малевал тривиальные плакаты и панно на заказ, в надежде на высокое творчество когда-нибудь в будущем. Но будущее все не наступало, и бедность не убавлялась. Тезис Старика Придумкина о том, что вся наша жизнь — великий путь в Нищету, а все творцы представляют собой Шествие Нищих, бесконечно растянутое во времени, оптимизма не прибавлял. Корбюзьевичу вовсе не хотелось прослыть героем или страдальцем за идею. Все чего он хотел — это просто жить и радоваться каждому новому дню, а не тихо и незаметно уходить в прошлое, хотел любить и быть любимым, но почему-то до сих пор все это ему не удавалось, и тут, пожалуй, он абсолютно ничем не отличался от любого обычного человека. Да он и сам считал себя обычным человеком и всегда испытывал неловкость, когда коллеги говорили о его выдающемся таланте живописца. Откуда же тогда такое невезение? Если и были в жизни художника Корбюзьевича некие постоянные величины, то проявлялись они в двух формулах: в формуле бедности и в формуле одиночества. И они как нельзя лучше сопрягались между собой. Свои картины он обычно дарил, а если и продавал, то стыдливо и втрое дешевле, чем за них готовы были заплатить. Так воплощалась в жизнь формула бедности — элементарная в своей сути. Формула одиночества была более сложной. Так, например, ему нравились девушки, ведущие свой род от птиц и цветов, но жить приходилось с теми, что произошли от репы, моркови и прочих корнеплодов. В любви они напоминали ликвидаторов пожарищ, или, в лучшем случае, капризных пациентов, которым что-то пытаются вколоть из неведомого шприц-тюбика. Это сильно удручало, а со временем стало раздражать. Быть может, поэтому художник Корбюзьевич никогда не писал своих женщин, предпочитая им прекраснотных профессиональных натурщиц. Эксплуатировал он их немилосердно. Как ни странно, они и не думали обижаться или жаловаться, но даже наоборот, были просто без ума от искусства, к которому, к тому же, как они справедливо полагали, имели самое прямое отношение. Чуждые жадности или элементарного духа коммерции, в неискушенности своей эти новоявленные каллипиги из подольских хибар взимали с бедного художника плату в том виде, который был им близок и понятен и, пожалуй, больше походил на скромное угощение: стакан вина, отварная куриная ножка или пара переспелых помидоров, только что запечатленные на полотне и потому успевшие уже приобрести особую ценность (тем более что при желании в этих поми-

дорах можно было легко увидеть некий чувственный образ). Иногда и сам Корбюзьевич в качестве оплаты, надо признать, был не так уж плох.

Случалось, сидя в задумчивости перед мольбертом с поникшей кистью в руке, или во сне, или просто идя по улице, он внезапно вздрагивал, будто дремлющий пес, почувший некие вибрации, и жаркий пот пробивал его до самых корней волос; то ли голос, то ли свет — что-то такое, чему он не мог найти названия, вливалось в его сердце или, точнее, в то, что под ним принято подразумевать, и, подобно некоему универсальному растворителю древних алхимиков, растворяло застывшее за долгие годы одиночество. Откуда слетал тот зов щемяще-прекрасный? Он словно обещал одарить возвращением на далекую родину, таким желанным, но невозможным, потому что дорога домой исчислялась не горизонтами, а веками... Так же внезапно зов таял и исчезал, оставляя вместо себя боль, и она еще долго потом не отпускала художника Корбюзьевича, утихая постепенно, но никогда до конца. В такие дни ему становились отвратительными и он сам, и то, как он живет. Что из того, что он мог без труда написать портрет стакана? Или пейзаж лица? Это умение больше не радовало. Где тот Город Мастеров, о котором когда-то давно за бутылкой вина столь вдохновенно рассказывал Классик? Да и где теперь сам Классик?.. Где величие людей и искусств? Где героические свершения и нежные любви? Вокруг и, главное, в нем самом — один лишь грех. «Что ж тут поделаешь? — увещевал его Старик Придумкин, которого всегда трудно было заподозрить как в искренности, так и в ее отсутствии. — Ничего нового, старинушка! Возьмем, к примеру, так называемые прежние, овечьные славой времена. Будь уверен, далеко не каждый, кто орудовал кистью или резцом, был монахом, как фра Анджелико или фра Филиппо Липпи. Хотя этот последний — тот еще пройдоха! Едва приняв монашество, тут же похитил прямо из монастыря свою будущую жену и вдобавок задолжал многочисленным кредиторам. Где уж тебе тягаться в пороках с такими монстрами!» Видя, что пасмурные сомнения бедного художника ничуть не развеяны, Старик Придумкин, дабы усилить натиск, обрушивал на Корбюзьевича другие страшные и поучительные истории о прославленных мастерах, рассказывая о них так, словно речь шла о его закадычных дружба́нах и собутыльни́ках. Вот, напри-

мер, флорентинца Джованбатисту Россо, прославившегося под именем maître Roux¹, в 1541 году посадили в каменный мешок за наглую клевету, где он, не совладав с хандрой, отравил сам себя, чем совершил один из самых страшных смертных грехов. Или тот же Леоне Леони из Ареццо! Будучи скульптором и золотых дел мастером, он, тем не менее, зачем-то взял и изувечил скромного папского ювелира Пеллегрино де Леути, за что и угодил на галеры. При этом, по решению папского суда, ему чуть было не оттяпали правую руку. Ничем не лучше и Пьеро Торриджани, который не постыдился самому божественному Буанаротти расквасить нос, отчего создатель «Страшного Суда» остался на всю жизнь с лицом профессионального боксера. Сам же обидчик впоследствии заживо сгнил в глухой темнице, обвиненный в кошунстве по отношению к святой Церкви. «Да что и говорить, если даже у самого Леонардо, извини, старик, за выражение, рыло в пуху!» При таких словах глаза художника Корбюзьевича чуть не выскочили из орбит. «Да-да! Тебе разве не известно, сколь щедро позолотил он одного бедного мальчика? Тот так и замерз насмерть... А взять эпоху барокко? Поголовно — гиперсексуальная эротомания! А импрессионисты? Все как один гуляки и выпивохи! А постимпрессионисты? Еще бóльшие гуляки и выпивохи, только в сравнении с предыдущими гулять и выпивать им вообще было не на что... А кубисты, насилюющие Природу, потому, наверное, что обычных женщин им уже мало! А дадаисты, стремящиеся к чистому идиотизму, увенчанному утюгами и писсуарами, и сюрреалисты с их оргиями и оргазмическим бессознательным! Если послушать старину Бретона, то любой безмозглый кретин, которому взбредет в голову палить из револьвера в прохожих на Крещатике, уже выдающийся художник. Дай только волю нашим жлобам и недоучкам — представляешь, что будет?! Тебя, с твоим везением и академическим образованием, пристрелят первым... А папа Дали — так и вовсе абсолютный извращенец, и таковым всегда был, есть и навечно останется в памяти людской...» Это было уж слишком, но художник Корбюзьевич почему-то не стал вступаться за папу Дали. Может быть, потому, что тот жил где-то далеко отсюда в своем умопомрачительном замке, наедине с солнцем, за пределами

¹ Рыжий мастер (франц.).

добра и зла, в то время как он, бедный и безвестный художник Корбюзьевич, прозябал в нищете, в убогой мастерской на Большой Житомирской, а добро и зло были неотъемлемыми составляющими его жизни. «Нет, как ни крути, — продолжал в упоеании Старик Придумкин, — а на этом чудовищном фоне, дружнице Корбюзьевич, ты смотришься намного, намного предпочтительней!» Что же касается всевозможных и даже невозможных концептуалистов, то о них Старик Придумкин и вовсе не стал упоминать, поскольку вообще художниками их не считал. «У тебя женщин много?» — ни с того ни с сего спросил он. Художник Корбюзьевич смутился и развел руками. «Ну были», — только и выдавил он...

Да, женщин в разное время было немало. Ну и что ж с того?! Все равно восхитительные ночи заканчивались быстрее, чем начинались, и чаще всего зарю художник Корбюзьевич встречал наедине с самим собой. В силу какой-то странной закономерности объектом своих страстей он избирал неких женоподобных сфинксов, которые сначала покоряли его своей внешней привлекательностью и безупречностью *линий*, но потом загадывали ему такие загадки, что не всякий жрец или царь осилил бы их. А так как Корбюзьевич не являлся ни жрецом, ни царем, а был всего лишь простым художником и иногда, по совместительству, грузчиком, уборщиком либо дежурным охранником на какой-нибудь плодоовощной базе, то и загадки оказывались ему не по плечу. Сфинксы незамедлительно испепеляли его, ибо в том и заключалась их мистическая функция, и затем, по возвращении на свои прежние постаменты, погружались в ожидание новых жертв. И вот все это множество прекрасных *линий*, — поклонником и глашатаем которых художник Корбюзьевич не только слыл, но и был на самом деле, и, несмотря на печальный опыт, продолжал оставаться назло себе и окружающему миру, — все эти прекрасные и неповторимые *линии* спутались в такой тугой клубок, что размотать его не смогли бы и десять тысяч фей и столько же волшебников. Даже двоеженец Иванов, великий мастер в подобных делах, не нашелся, чем тут помочь. Лишь с унылым видом похлопал Корбюзьевича по плечу и сказал что-то безнадежно тривиальное — что-то о его, как он выразился, «проблематичной карме». Помнится, уже на следующий день после оглашения сего приговора Корбюзьевич наткнулся в «Чайнике» на сидевшего в одиночестве Старика Придумкина,

который буквально полчаса назад неудачно подшутил над корректором Впетлиным. Собственно, он совсем и не собирался шутить. Все началось с того, что корректор вошел в кафе весь какой-то строгий и торжественный. Казалось, он был само олицетворение момента истины. И дернул же его черт, даже не поздоровавшись, в порыве откровенности признаться этому шути гороховому, этому дешевому крысореzu Придумкину в самом сокровенном, а именно в том, что сегодня он «воистину сам себя похоронил — окончательно и бесповоротно!» Именно так он и выразился. Старик Придумкин не очень понял, о чем глаголет апологет «мертвой почки на древе жизни», тем более что в ту минуту обдумывал какую-то головоломную рифму, но на всякий случай со всею возможною скорбью ответил: «Земля тебе пухом, старинушка!» и попросил корректора Впетлина, чтобы тот не забыл пригласить его на свои девять дней. А когда понял, было уже поздно: корректор Впетлин с окаменевшим лицом пообещал, что «никогда этого не забудет», и тут же ушел в великой обиде.

Старик Придумкин все еще пребывал в глубокой скорби пополам с иронией, когда художник Корбюзьевич пристал к нему со своими кармическими проблемами. «А ты держи карму шире», — посоветовал мудрый Старик Придумкин. «А как это делается?» — загорелся надеждой Корбюзьевич. «Ну, знаешь ли, старик... Тебе следовало бы проконсультироваться у Впетлина... Но, к сожалению, он сегодня похоронен». — «Похоронен?! — в ужасе вскричал Корбюзьевич. — Что ты такое говоришь?..» — «Увы, полчаса назад он лично принес мне эту горестную весть. И даже на девять дней пригласил». Затем, видя отчаяние художника Корбюзьевича, Старик Придумкин посоветовал ему поступить по примеру античного Аттиса, который когда-то решил свои проблемы с женщинами одним стремительным взмахом меча: «Ать — и нету!» Поняв, что Старик Придумкин просто валяет дурака, художник Корбюзьевич попрощался и быстро вышел...

И вот теперь, после пророческого видения в маленьком гастрономе на углу Ярославова Вала и Маловладимирской, с беспутным и бездарным прошлым было навсегда покончено. О, как тут не согласиться с неким Лоренцо Валла, который называл истинным счастливецом того, кому случится вдруг узреть лик ангела рядом со своей земной подругой, — и тогда ему захочется тут

же навсегда отвернуться от нее, как от трупа! У художника Корбюзьевича не было земной подруги, но у него была его земная жизнь, и она теперь казалась ему такой же ужасной и уродливой, как тот труп. И он отвернулся от нее и с открытым сердцем устремился навстречу красоте ангельской, которая — и здесь также трудно не согласиться с Лоренцо — не воспламеняет, но гасит страсть и возбуждает некоторое в высшей степени святое чувство. Конечно, к этому святому чувству, как и у всякого смертного человека, примешивалась изрядная доля тоски по Невозможному. О Руна! В каких кондитерских дебрях больших и малых гастрономов, по каким узорчатым плитам теперь ступает твоя чудная ангельская ножка? Какие сладости вкушаешь ты на своем пути? Толченую карамель, хрустящую на жемчужных зубках, или орехи в шоколаде? Воздушный и приторный зефир или похожую на застывшие вулканические массы халву, на вид столь же древнюю, как погибшие Помпеи? Или, быть может, словно волшебную шкатулку, ты открываешь коробку «Ассорти» производства кондитерской фабрики имени Карла Маркса, где, кстати говоря, и по сей день главным художником работает любимый Корбюзьевичем с детства великий оформитель оберток и коробок художник Пробигаило?.. О Руна! Где же ты? Куда подевалась?

Эх, некому было вразумить, подбодрить Корбюзьевича, сказать ему: «Да никуда она не подевалась! Погоди, встреча ваша неминуемо приближается». Но, как известно, никто не в силах ни вразумить безумца, пока тот не насладился своим безумием сполна, ни, тем более, по собственному произволу торопить события. А в случае с художником Корбюзьевичем и нужды особой в том не было, ибо на фоне всего этого «романического» вздора или, лучше сказать, где-то на периферии его любовного бреда, события, похоже, уже сами торопили себя. Тысячу раз были правы философы былых времен: «*Mens agitatem*»¹, — утверждали они. Современные мыслители, по большей части соотечественники Корбюзьевича, поступали как раз наоборот, то есть приводили свою мысль в движение с помощью материи — особенно если эту материю легко можно было пощупать — и достигали на этом поприще больших успехов. Художник Корбюзьевич же пошел значительно дальше и тех и других, дока-

¹ «Ум двигает вещество» (*лат.*), т. е. мысль приводит в движение материю. Выражение встречается у Вергилия в «Энеиде» (VI, 724–727).

зав, что материей движет великая тоска. И действительно, его тоска по Руне была столь велика и всепроникающая, что однажды ей поддался даже огромный город. Со скрипом и скрежетом он взял да и повернулся нужным боком меджнуну Корбюзьевичу, когда тот брел по Владимирской горке, высоко над Днепром, будто дремля на ходу, а его незримый, вездесущий и всегда бодрствующий фантастикум, согласно Блаженному Августину, отделившись от хозяина, стремительно несясь впереди, в некоем экстагическом предчувствии прощупывая аллею за аллеей и каждую скамейку в ней.

Встреча свершилась 7 мая, в день Праздника Цветущих Каштанов, возле Беседки Семи Ветров. Некоторое время оба смотрели друг на друга, будто припоминая что-то. Рядом незримо увивался запыхавшийся и счастливый фантастикум Корбюзьевича. Руна прижимала к груди большой новый веник, и Корбюзьевич сразу обратил внимание на ее тонкие запястья: их *линии* были безупречны.

— Вы любите веники? — спросил он, быстро просыпаясь.

— Скорее, летать на них, — вспыхнула она не то от обиды, не то от смущения.

— Простите, я совсем не то хотел сказать, — опомнился он, в свой черед краснея от смущения. — Просто я... — Он хотел объяснить, что, мол, мечтал увидеть ее вовсе не с веником у груди, а с предметом более изысканным и романтичным, — ну, например, с веером, — но промолчал.

Она улыбнулась так, словно прочитала его мысли:

— Это необычный веник.

— Что же в нем необычного?..

— Я купила его на Бессарабке... Вот, — она протянула ему веник. — Он цветет, видите? И пахнет весной.

Веник действительно был сплошь усеян множеством маленьких бледно-голубых цветочков, заметных только при ближайшем рассмотрении.

— Вы когда-нибудь видели такое?

— Нет, — честно признался он. — Но как же вы станете им подметать?

— А я не стану им подметать. — Она снова прижала веник к груди. — Я поставлю его в вазу с водой, и пусть живет... Правда, подходящей вазы у меня пока нет...

«Она — художник», — со знанием дела шепнул Корбюзьевичу на ухо его фантастикум.

— У меня в мастерской есть то, что вам нужно, — произнес Корбюзьевич, задумчиво глядя куда-то в юго-западном направлении. — Пойдете со мной?

— Пойду, — согласилась она просто и доверчиво, без капли обычного в подобных случаях женского жеманства.

«Боже, неужели так бывает?!» — ликовал художник Корбюзьевич, когда они, взявшись за руки, шли по парковой аллее в сторону фуникулера, и вдогонку им из похожей на огромную консервную банку радиоточки, прищепленной на вершине железобетонного столба, тихо лилась ария доктора Вагнера. Далеко внизу, по правую руку, в жемчужно-сероатой дымке широко и привольно раскинулся Днепр, и небо над головой было высокое и безоблачное.

В тот же вечер она забыла свой веник у Корбюзьевича, но зато, бережно обхватив руками, уносила с собой большую вазу из темно-синего звонкого стекла, наполненную золотым нектаром его чувств...

II

Они встречались почти каждый день.

Она была очень красива. Кольца, браслеты и бусы, которые она так любила носить, словно не выдерживая соперничества с ее красотой, постоянно соскальзывали с ее пальцев и запястий — нередко прямо на улице. Даже бездомные собаки, видя ее, замирали в восторге и долго смотрели ей вслед.

Фантастикум Корбюзьевича оказался прав: Руна была художником. Или, точнее, хотела им стать. Некоторое время она даже брала уроки рисунка и живописи у самого Зарецкого, но вскоре, к сожалению, вынуждена была оставить его студию, поскольку денег едва хватало на жизнь. Родители, которые жили не только в другом городе, но, можно сказать, «на другой планете», сами кое-как сводили концы с концами и, если бы даже хотели, все равно ничем не могли бы помочь. «Дочка, ты эту блажь из головы долой! — наставлял ее отец раз в неделю по телефону. — В то время, как вся страна и весь наш народ, понимаешь... Да и мать, вон, волнуется... Ты это... или давай работай, или замуж!..» — «Папа, пойми, — стиснув зубы и едва

сдерживая слезы, в сотый раз пыталась объяснить она. — Я — художник...» — «Дура ты, а не художник!» — кричал отец и бросал трубку до следующего раза. «В чем проблема! Бери уроки у меня, пока я живой», — предложил однажды Корбюзьевич. «У тебя не могу». — «Это почему же? Я что, такой плохой художник?» — «Ты прекрасный художник». — «Так в чем же дело? Художник я — прекрасный, и денег мне от тебя не надо... Что тут еще думать?» В ответ Руна, нежно целуя его руки, с обезоруживающей улыбкой пояснила: «С тобой я не хочу учиться, с тобой я хочу удивляться». — «Ну, этого сколько угодно!» — отшутился он. Конечно, иной раз случалось, какой-нибудь дельный совет нечаянно все-таки слетал с его уст, когда он видел, с каким упорством его возлюбленная бьется над неподатливой и костной материей, пытаясь превратить ее в нечто прозрачное, воздушное и, главное, живое. Но поскольку Руна не выражала по этому поводу своего недовольствия, Корбюзьевич был уверен, что, оказав помощь, сумел сделать это незаметно, не становясь, к собственной радости, так сказать, в «позу мэтра». На самом же деле Руне нравились его искренность и деликатность, а потому она с благодарностью принимала и его помощь, в свою очередь уверенная, что делает это незаметно, чтобы не поставить своего возлюбленного в неловкое положение. Эта милая, невинная игра держалась на парадигме «мужчина и женщина», а не «учитель и ученица», что Руну полностью устраивало. О не состоявшейся учебе у Зарецкого она старалась не думать, глубоко в душе болезненно переживая эту свою неудачу, пока как-то раз на Андреевском спуске случайно не познакомилась с одним маститым живописцем. Назвавшись академиком Свампиусом, он посмотрел ее работы, сказал, что у нее большой талант, и предложил учиться у него. Причем совершенно бесплатно!

— Академик Свампиус? — холодно переспросил Корбюзьевич, неожиданно задетый за живое. — Что-то не слышал о таком.

— Ну что ты! Ах, видел бы ты его картины! Он гений!.. Только... — Руна запнулась.

— Что только?

— Странный немного... Одет во все черное. И смотрит на меня зачем-то сквозь какую-то зеленую стекляшку. Даже зябко становится, будто зимой.

Ничего-ничего! — думал художник Корбюзьевич, — он еще ей покажет, кто тут настоящий художник, даром что у него нет звания «академик» и зеленой стекляшки...

Как они жили? А вот как: был и день на день не похож, и ночь — на ночь.

Часто они забирались на Флоровскую гору и долго стояли на самом ее высоком месте, среди волнующихся трав и полевых цветов, взявшись за руки, вот-вот готовые взлететь. Ветер подталкивал в спину, одежды их развевались, так что оба походили на два трепещущих пугала, — и они весело смеялись над собой... И целовались нежно, неторопливо, будто впереди была целая вечность, или горячо и порывисто, как перед расставанием навсегда. Душный аромат акаций подмешивался к поцелуям. Ни прошлое, ни грядущее больше не имели значения. Одной лишь Жизни Вечной, что скрывалась за порогом видимого мира, только ей одной было по силам и оправдать, и удержать это счастье.

Будто на цыпочках, с протянутыми по-детски руками, Руна вбегала в его мастерскую на Большой Житомирской, и он часами напролет писал ее портреты, жадно окуная в нее свой взор. Вот она в виде гамадриды, вся опутанная юной листвой, а вот — в образе царевны Птичьего Царства: всхлопывая крыльями, птицы склевывают с ее ладоней золотые зерна. Или вот, обнаженная, она спит на диване, на покрывале из шарлаха, гладкая и нежная, как тюльпан. По примеру Тициана, который изобразил Карла II, играющего на музыкальном инструменте возле ложа своей возлюбленной, он поместил рядом с диваном самого себя с вишневым свирелью в руках.

Взор влюбленного больше не довольствуется видимым, он сам творит его.

Руна восхищалась его умением и, казалось, совсем забыла о существовании академика Свампиуса, равно как и Корбюзьевич — о своих пресловутых *линиях*. Он по-прежнему звал ее Руной, и она принимала это имя как дар судьбы.

Когда она засыпала в его маленькой мастерской, сама такая маленькая и хрупкая, он осторожно откладывал кисть в сторону и долго-долго смотрел на нее, не шевелясь и сдерживая дыхание, чтобы не спугнуть ее улыбку, которая могла упорхнуть с ее

лица как лепесток розы. На рассвете любовь его к Руне была жемчужного цвета, по вечерам — бирюзового. А ночью она лучилась, подобно топазу.

Случалось, Руна исчезала куда-то на несколько дней, и тогда он с невольной неприязнью вспоминал об академике Свампиусе, но он никогда ее не расспрашивал ни о нем, ни о том, где она была. И хотя больше всего на свете боялся ее потерять, все же не удерживал. Она была тем чудесным и таинственным садом, который нельзя пояснить, — лепестки поцелуев, ласковая трава прикосновений, шорохи слов, ничего не означающих, но значащих всё, жасмин мечтаний и сирень волнений, — садом, который появляется, исчезает и снова появляется, садом, в котором таким блаженством было блуждать и грезить бесконечно.

Ни один человек не мог войти в тот волшебный сад; а если все же входил, то уже никогда из него не выходил; а если выходил, то это уже был другой человек, и потом долгие годы он странствовал в поисках своей памяти.

У них была любимая игра: находить друг друга в городе по различным знакам и намекам, которые они повсюду сами же и оставляли: какой-нибудь камешек — «куриный бог», например, или «кошачий глаз», веточку с вырезанной буквой, рисунок мелком или углем на асфальте или на стене. И вот, разрешив очередной такой ребус, он поджидал ее где-нибудь в «обозначенном» месте, например, в конце Сретенской улицы, возле старой шелковицы на самой острой оконечности «Бермуд», в самый разгар дня, когда солнечные ветра разносят в сизом воздухе искрящиеся паутинки, стынют прохладные озера окон и витрин на Львовской площади и, будто размытые, людские силуэты — без звука, без плоти — парят в пене дня. При появлении Руны, спешившей ему навстречу, художнику Корбюзьевичу хотелось расцветать красными и белыми цветами и насыщать весь этот мир до скончания времен дивным дурманом.

О, усни, мир! Пусть люди, наконец, увидят настоящие сны, а сны увидят настоящих людей, пусть водят они друг друга за руку, чтобы встретиться вновь, — и будь счастлив, мир!

Кто кому был чудным сном, ни Руна, ни Корбюзьевич не знали. Словно сама благодать, бродили они по укрытой в гранит набережной Днепра, любуясь видами широкой, с причалами, рыбаками и ртутно-зеленым отражением берегов по краям, реки и тем, как вверх и вниз по ее течению снуют прогулочные пароходики с вьющимися у флагштоков чайками; а еще — пили кофе на Речном вокзале или на Братской, где никто их не знал, или вкушали нектар, сидя на скамейке возле бронзового льва-водолея на Михайловской площади, и чувство, что боги любят их, усиливалось с каждым глотком; или ранним утром шагали по Владимирской, и сквозь туман проступали угольно-черные стволы деревьев и мреял силуэт Софии, неспешно проплывали мимо кусты цветущего жасмина, и один невесомый цветок оставался на ладони Руны; или бродили по заброшенному брусчатому руслу Киянки, берега которого, с останками разрушенных жилищ, поросли непроходимыми зарослями крапивы. Древняя река стремилась серебро своих вод где-то глубоко под землей. Они припадали к брусчатке и, затаив дыхание, прислушивались к едва слышному ее току и старались выведать ее секреты: откуда течет она? Куда впадает?

Потом они научились давать имена деревьям. Вон тот ясень на Детинце отныне зовется Аристархом, а прильнувшая к нему молодая акация — Лизаветой, а этот старый тополь на перекрестке Андреевского спуска и Боричева Тока — Добрыней, а дикая груша на Поскотине — Груней.

Они подкармливали бездомных котов и собак. И коты и собаки, а вместе с ними и дети, сбегались к ним в мастерскую, ибо там жил Добрый Художник и его Возлюбленная. Шум, гам, тарарам! Двери не закрывались, а если и закрывались, то так, что стены содрогались. Бум! Мяу!.. Ба-бах! Гав-гав-гав!.. Бум! Бах! Мяу!.. И так целый день.

В жаркие летние ночи к ним на огонек слетались ночные мотыльки и самых невообразимых форм и расцветок букашки, они порхали под потолком, прыгали по столу, скакали, кувыркались, ползали, а иные, по-видимому, самые теплолюбивые, просто грелись в лучах настольной лампы, размышляя о чем-то своем микроскопическом. Под распахнутыми настежь окнами стрекотали цикады, и в темноте жмурился и вздыхал старый сад. И поднималась Луна — огромная, ослепительная. «Мир нас любит», — говорила Руна, и, видимо, так оно и было. Зимними вече-

рами, за стаканом горячего вина, он рассказывал ей о своих друзьях: о непостижимом и уже почти мифическом Классике, который так странно исчез, о веселом и велеречивом Старике Придумкине и «певце смерти» корректоре Впетлине, о гениальном композиторе Гермогенове, за руками которого охотились саблезубые крысы. Руна слушала с закрытыми глазами, прильнув ухом к его груди, будто к теплому стволу дерева, а он гладил ее по волосам своими ветвями, и любовь открывалась ему лазоревым с золотыми прожилками цветом. Но в «Чайник» он ее никогда не водил, храня ото всех, как самую заветную из тайн. О, как это было хорошо!.. Но по своему опыту художник Корбюзьевич знал, что если кому-то хорошо, а кому-то в это же время плохо, то плохо уже тому, кому хорошо. И в этом была еще одна причина, почему он не хотел знакомить Руну со своими друзьями.

Она говорила, что всегда чувствовала себя сиротой. Все дни и ночи ее прошлой жизни отличались между собой только глубиной контраста, а в остальном были как однойцевые близнецы. Но до встречи с Корбюзьевичем она этого даже не замечала. Речь ее была похожа на теплый дождь, от которого в душе Корбюзьевича словно прорастала молодая сирень.

Но иногда она говорила странные вещи:

— Ты такой одинокий странник.

— Ну что ты! — смеялся Корбюзьевич. — Я ужасный домосед.

— Ты странник. И я — тоже.

Однажды кусочком угля на стене в его мастерской она написала:

«В какие бы дальние края не отправлялся одинокий странник — это всегда путь домой. И где бы ни шел он — всюду его дом, ибо и весь мир устроен так, что центр его — везде».

Изредка, обычно на исходе дня, Корбюзьевич навещал свою возлюбленную в ее крохотной квартирке неподалеку от Старого Ботанического сада, на Тарасовской улице, с окнами, выходящими в тишайший зеленый двор. Она встречала его долгим нежным поцелуем, ставила на огонь чайник, о котором потом часто забывала, говорила: «Садись в кресло и не мешай!» — и опять принималась за свои холсты. И он послушно садился в

кресло, сколоченное из двух широких стульев и обложенное маленькими лоскутными подушечками, и не мешал, пока она заканчивала очередную картину. В отличие от Корбюзьевича, Руна не любила разговаривать во время работы, — возможно из-за своей чрезмерной впечатлительности: она легко увлеклась и часто даже не замечала, как за интересным разговором оказывалась уже за столом с Корбюзьевичем и запачканной красками кисточкой тщетно пыталась размешать сахар в остывшем чае. Зная все это, Корбюзьевич молча курил и изучал трехшаговую комнатенку, заваленную рулонами ватманской бумаги, холстами, подрамниками и стопками книг об искусстве. Тюбики с маслом и темперой, как памятные Корбюзьевичу «школьные» сосиски, были свалены в кучу прямо на полу. Руна работала, намеренно повернувшись к нему спиной, — в такие моменты она всегда стеснялась его. И в этом было что-то странное и трогательное.

«Ты знаешь, — как-то вот так, за работой, не оборачиваясь, сказала она, — мне сегодня снился единорог. Это самый красивый зверь в мире». — «К сожалению, охотники их всех истребили», — откликнулся Корбюзьевич. «Не всех». — «Хорошо, если не всех». Спустя несколько дней Корбюзьевич написал большую картину, на которой изобразил нелепую охоту на единорогов.

И в то время, как все воины Севера и все воины Юга сошлись в непримиримой битве за обладание Пупом Земли, злобно заныли охотничьи рожки, застрекотали трещотки, и все охотники мира, косматые и пучеглазые, с тяжелыми вилами наперевес, ринулись сквозь дремучие лесные чащобы на Запад, тогда как все единороги мира остались у них далеко за спиной и теперь стремительно мчались на Восток, пока ненасытные жены охотников разжигали очаги, точили огромные ножи, готовили противни и чаны, вертела и сковороды в тщетном предвкушении небывалого пира. И так повелось из века в век: не было ни победителей, ни побежденных; не было ни места, ни часа, где и когда преследователи и преследуемые могли бы сойтись хоть на мгновение, как не было и мгновения, на которое все это прекратилось бы.

Руна работала, повернувшись к нему спиной. Он видел ее лицо, отражавшееся в оконном стекле, — сосредоточенное и прекрасное...

III

Однажды зеленым дождливым утром Руна, промокнувшая до нитки, забежала в мастерскую художника Корбюзьевича. Она пахла смородиной, и глаза ее горели странным огнем.

— Что-то случилось? — спросил он осторожно.

Два дня они не виделись, и Корбюзьевич истосковался. Но Руна сказала, что очень торопится, что забежала на минутку и что сейчас, к сожалению, остаться не может, зато вечером будет ждать его с нетерпением. Корбюзьевич заботливо вытер полотенцем ее мокрое лицо и волосы, налил четверть стакана водки и заставил ее выпить, чтобы предупредить злую простуду, и отпустил с чувством тревоги, как отпускают на волю экзотическую птицу, родившуюся в иных краях и, значит, не приспособленную к здешнему климату. На прощанье она поцеловала его в нос и со звонким смехом упорхнула, оставив после себя запах сирени. Что означал ее странный взгляд, и этот непривычный дочерний поцелуй в нос? Корбюзьевич терялся в догадках.

Сегодня он не был ни уличным метельщиком, ни цербером плодовоовощного ада, ни Гулливером на просторах гастрономической Лилипутии: впереди простирался долгий выходной день, залитый холодным дождем. В центре мастерской, на станке сохла только что законченная картина: лесная поляна, у подножия старого дуба на траве сидит Руна, она обнимает за шею спящего единорога, который положил ей на колени свою большую белую голову с длинным как меч рогом. В правом нижнем углу картины, где обычно мастера оставляют для истории свой автограф, Корбюзьевич вписал несколько рунических символов, о значении которых, честно говоря, не имел ни малейшего понятия. Руны эти явились ему накануне в необычном и прекрасном сновидении — с битвами и единорогами, безбрежным счастьем, горечью потерь и обилием слез, — настолько ошеломляющем своей достоверностью, что он тут же доверился этому сну и запечатлел таинственные знаки такими, какими их запомнил, тем более что они напрямую ассоциировались с именем его возлюбленной. В общем, получилось и красиво, и «мистериозно», как любил говаривать Старик Придумкин.

Набросив на плечи помятый дождевик цвета болотных туманов, Корбюзьевич еще с минуту постоял в задумчивости перед новым, еще не высохшим, творением, как бы сверяя свои ощущения с увиденным, затем запер мастерскую и пошел в «Чай-

ник», в надежде скоротать время до вечера. Всю дорогу мысли его снова и снова возвращались к новой картине: что-то в ней было не так. Он хотел передать ту, свойственную и человеку, и зверю, и всей живой природе изначальную красоту и покой, их высокую гармоническую связь, которая, несмотря на все зло мира, не дает им окончательно истребить друг друга и вселяет надежду на возвращение Золотого Века. Но вместо всего этого от еще мокрого холста веяло тревогой. Художник Корбюзьевич не знал, что и думать. Каждая фигура, каждый предмет был выписан им с особой тщательностью и точно в соответствии с замыслом, а главное, с большой любовью к Руне и к ее любимым единорогам, но все вместе почему-то вызывало ощущение мерзлого ветра. В том пространстве не хотелось быть. «Ладно, — сказал он сам себе сердито. — Потом разберусь».

Вокруг в серебре дождя мелькали люди, но Корбюзьевич не обращал внимания на их унылую одноцветность и однообразие *линий*, двигаясь, будто золотой жук по поверхности гризайля...

IV

...В «Чайнике» — не протолкнуться. Здесь спасаются от дождя, от одиночества, от самого себя... Небольшой Ноев ковчегец, — где каждой твари не обязательно по паре, — посреди всемирного потопа местного разлива.

Все говорят одновременно и очень громко, и никто никого не слушает. Так всемирный потоп превращается в вавилонское столпотворение... Старый электрический «меломан» едва успевает проглатывать медные пятаки, он ужасающе шипит, и кажется, что песня, звучащая в его утробе, медленно поджаривается на огне. Бык Фалариса... Крутобедрые официантки Ася и Тоня в белых блузах плавают в табачном дыму, разрезая его подносами.

Своих друзей-поэтов Корбюзьевич находит не сразу... Ага, вот они — тускло маячат над бездонным омутом стола. Выглядят так, словно всю ночь сдавали кровь эмпузам и ламиям. Бутылки, бутылки, бутылки... Чашки с кофе... Корректор Впетлин смотрит исподлобья в пасмурное окно; над бровью свежий шрам смахивающий на раздавленного дождевого червя. Поэты Гений Вишнуевский и Саша Милый с водянисто-кефирными лицами похожи на вылепленного из одного куска теста двуглавого гомункула. Все трое являют собой некое почти готическое совершенство. Совсем иная палитра у Старика

Придумкина: небесно-голубая — крайняя степень неконтролируемой безмятежности. О, это мечтательное ковыряние мизинцем в носу! О, эти несколько глотков «Золотой осени» из замусоленного стакана, и — снова ковыряние в носу! Да, давно он так не расслаблялся на виду у всех... Как это ни странно, все молчат. Говорит один лишь поэт Лазарь Флюидов, хворо розовеющий на противоположном берегу стола-омута. Присев на краешек стула рядом со Стариком Придумкиным, художник Корбюзьевич от нечего делать слушает Флюидовские излияния, про себя отмечая, что у излияний этих — цвет ржавого железа, только что выкопанного из земли.

— А вспомните Катерину Прекрасную! — похоже, Лазарь, нимало не озабочен тем, слушают его или нет; его бледноваторозовая хворь сгущается, постепенно превращаясь в кроваво-червонную ярь. — Вот вам типичный пример хитрой, изворотливой бабенки! Наверняка ей нечем было заняться, вот со скуки она и изменяла боярину Бермяте, мужу своему, направо и налево.

Преодолевая оцепенение, поэты напряженно переглядываются, пытаясь вспомнить что-то действительно подлое и нехорошее, как того требует неумолимый Флюидов.

— А Елена Прекрасная? — неожиданно для всех и для себя тоже вспоминает Гений Вишнуевский.

— Ничем не лучше! Рога Менелая поразили Троию.

— Красиво, — гнусавит в носовой платок корректор Впетлин.

— Из твоих слов, прекрасноречивый мой Лазарь, следует, что все войны начинают рогоносцы, — замечает Старик Придумкин.

— Святая правда, — немедленно соглашается Флюидов. — Нет женщины — нет рогов. Нет рогов — нет войны.

— А Василиса Прекрасная? — спрашивает Саша Милый.

— Настоящая сумасшедшая! — мгновенно парирует Лазарь. — Жаба... Кстати, Ключика помните?

— Скрипача? — уточняет Гений Вишнуевский.

— Это который все бросил и ушел в монастырь? — смутно припоминает Старик Придумкин.

— Что за глупость! Он не «все бросил», а «бросил пить». Это разные вещи.

— А я слышал, что он эмигрировал... Но при чем тут Ключик?

— Он их всех «жабами» называл, — с каким-то горьким наслаждением поясняет Флюидов. — Но вернемся к Катерине Прекрасной.

— Это которая изменяет Бермяте направо и налево?

— Именно! Направо, стало быть, — с Добрыней Никитичем, в честь которого, к слову сказать, пошлые кондитеры эпохи переразвитого консерватизма называли орехи в шоколаде, а налево — с Чурилой Пленковичем.

— Что за имя гадостное! — кривится Гений Вишнуевский. — Чурила, да еще и Пленкович! Фу!.. погоди, надо выпить.

Все молча пьют, словно дезинфекцию производят.

— И знаете, чем все это закончилось? — никак не утомонится Лазарь Флюидов.

Этот вопрос всех застает врасплох. Только художник Корбюзьевич отрицательно мотает головой.

— Извольте! Никитичу и Пленковичу боярин Бермята отрубил буйны головы. Прямо в постели....

— Ну, это все-таки не Трою завалить! — справедливо замечает Старик Придумкин.

В очах корректора Впетлина мерцают кладбищенские огоньки. Он что-то быстро пишет в своей записной книжице и сверху вниз отмахивает жирным восклицательным знаком. Художник Корбюзьевич замечает, как на лице его едва приметно обозначается новый шрам.

— Откуда сведения? — деловито интересуется корректор Впетлин.

— Читайте «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона! — на одном дыхании выпаливает Флюидов и неожиданно добавляет: — Какую книгу не открой, всюду адюльтер.

— погоди, Лазарь! Ты забыл еще про Клодию, — подливает масла в огонь Старик Придумкин.

— Ничего я не забыл. Я все хорошо помню. Вот вам — про Клодию, возлюбленную поэта Катулла, которую раз уж он обожествил, то уже не мог не любить, в чем мало отличался от многих других вечно обманывающихся и вечно обманутых поэтов. И заметьте, идеализм Катулла ничуть не лучше идиотизма Бермяты. Только, в отличие от кровожадного боярина, наш поэт жалок и смешон!..

— Ну, это самоочевидно, — сладостно жмурясь, соглашается Старик Придумкин.

— Хуже того, преступен! — багровеет Флюидов. — Мы, поэты, все — преступники! Мы славословим и обожествляем похотливую саранчу, которая, поселившись на тучных полях любовных злаков, пожирает их вместе с пахарем!

— Ого! — Старик Придумкин в удивлении приподнимается со своего места, локтем чуть не выбивая глаз художнику Корбюзьевичу.

— О блистательная, божественная Лесбия! Ох-ох! Ах-ах! — выкрикивает Лазарь Флюидов, поймав кураж. — И — о, ужас! Божество вдруг берет и низко падает. А потом — пошло-поехало: то там упадет, то здесь... В общем, вошло во вкус. Разве не смешно? Смешно! Ибо для того, чтобы низко пасть, нужно иметь высоту, с которой падают. Скажу больше: нужно родиться уже с этой высотой в сердце.

— Вот, слушай внимательно! — поворачивается Старик Придумкин к художнику Корбюзьевичу. — Это как раз о карме, о которой ты спрашивал...

— Да эта Лесбия по природе своей уже была падшей, — неожиданно спокойно и задумчиво произносит Флюидов, лицо его тускнеет, блеск в глазах гаснет, будто внутри у него садится солнце, и он заканчивает совсем тихо и покорно, словно шорох тростника в сумерках богов: — И лишь один влюбленный Катулл этого не знал: «*Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...*»¹ Такая наивность...

Всем известно, что в вопросе о женских изменах Лазарь Флюидов является непревзойденным специалистом и может оглашать списки этих измен так же бесконечно, как корректор Впетлин — списки умерших. Изольда изменила королю Марку, Гвиневера — королю Артуру, Анна Австрийская — королю Людовику XIII, и т. д., и т. п. Да что тут говорить, если даже такая прекрасная девушка, как Блoduэдд, сотворенная из цветов благородного дуба, раkitника, таволги и еще шести других трав и деревьев, и та изменила Ллеу Ллоу Гиффесу, за что и была превращена в сову!.. Впрочем, сегодня — не о королях с королевами, и даже не о богах с их богинями. Сегодня — о поэтах и их неверных музах. Друзья уже понимают, что лучше не подливать масла

¹ «Будем жить и любить, моя Лесбия...» (лат.). — Катулл, «Стихотворения».

в огонь, и помалкивают в терпеливом ожидании, когда этот самый огонь сойдет на нет. Но тут Гений Вишнуевский, который весь вечер охотно исполняет роль виночерпия, разливает по чашкам «Золотую осень» и не без сарказма провозглашает:

— Да, ослепленный страстью поэт — хуже самого взбалмошного царя: одной рукой казнит, другой — милует. И так по сто раз на день. И каждый раз — от всего сердца. Вот уж и вправду: нет ничего глупее, чем ждать манны небесной от смертной женщины. Я правильно понимаю, Лазарь?

Флюидов неопределенно кивает. При упоминании о «смертной» корректор Впетлин слегка оживляется, но, быстро уразумев, что речь идет не о той «смертности», которой он посвятил всю свою жизнь, опять впадает в отрешенное состояние, вслух отмечая лишь, — правда, без всякой скорби, — что Катулл действительно был поэтом, а не боярином и, стало быть, головы любовникам своей Клодии-Лесбии не рубил, а только страдал, вечно разрываясь между божественным и человеческим, между жизнью, которая есть ненависть, и смертью, которая есть любовь. То и другое он как бы замкнул на себе: «Odi et amo»¹.

В это время художник Корбюзьевич в своем воображении пишет большую картину в духе модерна à la russe²:

В палатах золоченых прекрасная царица Кандаула Феодуловна благополучно выходит замуж за Ивана, брата Еруслана Лазаревича. И Иван этот — отнюдь не олух. Он могучий и славный богатырь, пусть и без гуманитарного образования. Столы ломаются от яств, в кубках хмельные напитки пенятся, песни услаждают слух, а хороводы — взор. Но поэта Лазаря Флюидова на ту свадьбу не позвали: и не пьет он мед-вино, и в уста его не попадает, и по усам его не течет, да и усов-то у него нет. И на всем этом — печать дурного предзнаменования...

Пока «пишется» сия картина, у ни о чем не подозревающего Лазаря открывается второе дыхание: с величайшим упоением рассказывает он о какой-то Фридерике из Зазенгейма. А прославилась дева сия тем, что всю жизнь беззаветно любила Гете, — который, как и Флюидов, был великим поэтом, — и во имя этой

¹ «Ненавижу и люблю» (лат.). — Катулл. Стихотворения, LXXXIII.

² В русском стиле (франц.).

идеальной любви дала себе слово никогда не выходить замуж. А надо заметить, среди тех, кто добивался ее руки, были личности выдающиеся: поэт Ленц — так даже сошел с ума, получив от Фридерике отказ.

«Бойтся любить! — думает художник Корбюзьевич, слушая Лазаря и видя, как речь его окрашивается в тускло-коричневые тона. — Хочет получить уже готовый шедевр, вместо того чтобы сначала положить грунт, а затем мазок за мазком класть, и проживать каждый из них, и совершенствовать каждый, и самому совершенствоваться. Бойтся, и потому сам себе противоречит, сам себе лжет...»

— И опять же! — все более разжигается Флюидов, на общем вялом и невыразительном фоне глаза его становятся яростно-желтыми. — Не случайно на ее могиле благодарные потомки установили великолепный мраморный бюст, так сказать, в память о верной и чистой любви. Возможно ли такое сегодня, я вас спрашиваю?

— Увы, любовь — больше не «болезнь века», — соглашается Старик Придумкин с видом черного меланхолика, пьющего уксус для бледности лица.

— Как по мне — все это пахнет аптекой, — кривится Генний Вишнуевский. — Уж как-то слишком стерильно.

— А как она умерла? — с надеждой в голосе спрашивает корректор Впетлин; на скуле его, у самого виска, появляется третий рубец, но, похоже, кроме художника Корбюзьевича, никто этого не замечает. — Как она умерла? — повторяет свой нелегкий вопрос корректор Впетлин.

Флюидов пожимает плечами:

— Да обыкновенно умерла.

— Вот видишь? — разочарованно-протяжно произносит Генний Вишнуевский, срывая с поверхности стола бутылку, как цветок; она оказывается пустой. — И умерла обыкновенно.

После этих слов корректор Впетлин, очевидно, решив, что только зря теряет время, резко встает, прохладно со всемищается и покидает «Чайник».

— Видать, отправился познавать «divine depth of sorrow»¹, — комментирует сей демарш Старик Придумкин.

— Ему что, не понравился мой рассказ о Фридерике из Зазенгейма? — готов обидеться Флюидов.

¹ «Божественные глубины скорби» (англ.).

— Не в этом дело, Лазарь. Думаю, Впетлину сейчас не до нас. У него на носу сорок дней, а он еще не закончил свои «гимны к ночи».

— У него кто-то умер?

— В некотором роде.

— Да?.. Ну и черт с ним! Лучше я вам расскажу еще один случай...

— О том, как легко любить памятники? — перебивает художник Корбюзьевич с несвойственным ему раздражением. — Тебя вон даже на свадьбу Кандаулы Феодуловны не пригласили.

— Что он несет? — взъеривается Флюидов.

— Детский лепет, — печально вздыхает Корбюзьевич. — Но это лучше, чем умопомешательство.

— Нет, вы только посмотрите на него! — изумленно восклицает Гений Вишнуевский. — Наш вечный молчалник Корбюзьевич разговорился. Тут что-то не так.

— Так, так! — усмехается Старик Придумкин.

— А по-моему, Корбюзьевич прав, — откликается Саша Милый, в глазах его посверкивают слезы. — Все мы потихоньку сходим с ума.

— А надо бы поторопиться, — подхватывает Гений Вишнуевский. — Наливать?

— Наконец-то разумные речи. Наливай! — и Старик Придумкин пододвигает свою чашку к свободной, правой руке Гения Вишнуевского. — Предлагаю тост за египетского царя Бинотриса, который предоставил женщинам право наследования престола...

— А я вам говорю, все бабы дуры и ведьмы! — внезапно следует ошеломляющее заявление; над «омутом» с бутылкой портвейна вырастает кладбищенский скульптор Пердюк — тот самый, фамилия которого произошла от французского *perdu*¹. Пять минут назад за соседним столом ему, что называется, «поперло», и он обыграл в кости инженера Гавендо и поездного проводника по кличке Драконыч, который на самом деле — Михалыч. И поскольку оба проигравшихся позавчера получили зарплату, скульптора Пердюка так и распирает от удовольствия.

— Все они ведьмы, — с видом утомленного дегустатора дорогих вин повторяет он. — И дуры!

Это заявление вдохновляет Старика Придумкина, и он тотчас перестраивается на поэтический лад.

¹ Потерянный (франц.).

— Прекрасная снизу женщина кончается сверху глупейшей рыбой, — декламирует он, приемля из рук в руки портвейн и передавая его на другой конец «омута» виночерпию Гению Вишнуевскому.

— Мне всегда, понимаешь, такие попадаются... И ведь что самое страшное, рано или поздно все равно придется жениться!

— А ты не женись, — беззаботным тоном советует Гений Вишнуевский, сдвигая гипнотический звон чашек к центру «омута». — Бери пример с Флюидова: он если и женится, то только на памятниках.

— В пень твои памятники! Я ими сыт по горло. Какая-нибудь, понимаешь, ведьма окрутит и женит на себе. И никуда не денешься. Памятники! — кладбищенский скульптор Пердюк вливает в себя сразу чашку портвейна, утирает рот ладонью и доверительно сообщает: — У меня, понимаешь, мечта заветная: чтоб жена родила мне сына, а сама померла. Я ей такой памятник отгрохаю!..

— О Господи! И о чем только люди не мечтают!

— А на кой черт мне сдалась такая дура?

— Так ее же еще нет!

— Ну так будет, понимаешь!..

Старик Придумкин глубоко задумывается.

— Ну а дети? — цепляется он за остатки рушащейся логики. — Зачем тебе тогда дети?

— Ха! Дети!.. Дети — это, понимаешь, продолжение рода. А бабы... Вот сколько знакомился с ними — все дуры и ведьмы.

— Ох, не знаю, не знаю.

Все почему-то одновременно смотрят на Лазаря Флюидова. Тот будто кол проглотил.

— Наливай! — бросает клич Старик Придумкин, и Гений Вишнуевский поспешно наливает, с трудом сдерживая смех.

Прикрыв глаза рукой, неподвижно сидит художник Корбюзьевич, словно погруженный в темные воды ночи. Он видит жемчужную Руну, и волна радости поднимается в нем, но впервые к этой радости примешивается боль. И они — радость и боль — растут вместе, как сестры-близнецы. Окутанный табачными туманами «Чайник» перемещается в зеркала на стенах и там преображается в сказочную Кукану, населенную отчаянными пьяницами, лодырями и безумцами. Великая Обида правит этой страной, где все обижены на всех. Здесь нет отечества, здесь все чужое. Земля изгнанников... Взобравшись на высокий холм,

художник Корбюзьевич устремляет свой взор поверх серых туманов. Где-то там, за этими туманами, горит в лучах солнца желтая дорога, и ведет она совсем в иную страну — волшебную, блистательную, — куда ему еще только предстоит долго и тяжело добираться: это лишь кажется, что отсюда до нее рукой подать. Но он обязательно туда дойдет. Там они поселятся с Руной и останутся навсегда. И ведь то же самое будет со всеми! Со всеми, кого он знает и любит. Каждый однажды придет в свою страну. Но будут ли они счастливы в тех землях? Смогут ли свой последний день прожить в умиротворении и покинуть приютивший их мир, не оставляя ему в наследство своих обид и не приумножая скорби?.. И какие они, эти новые страны, что ждут их? Скоро, ох как скоро, для каждого из них пробьет час далекого странствия! Знают ли они об этом, как знает он, Корбюзьевич? Хотя бы догадываются?.. Он видит, как Кукана, эта их общая смешная и печальная чужбина, что всегда притворялась родиной, уже машет им в спину своим дурацким колпаком и проливает по ним горячие слезы, содрогааясь от хохота. Корбюзьевич смотрит в бездонный омут стола, не в силах оторвать взгляд, и, будто в магическом зеркале, ему открывается беломраморная страна поэта Лазаря Флюидова — холодный остров, похожий на глыбу, испещренную выступами, глубокими впадинами и узкими лазами, по которым, рискуя сорваться и разбиться насмерть, карабкается обессиленный Лазарь, и глаза его полны страха и печали; он видит также и страну корректора Впетлина — пустыри да курганы, и ни единого живого дыхания вокрут, а посреди безветрия — высохшее одинокое дерево...

Внезапно видение исчезает. Корбюзьевич слышит, как устремляется вперед время, слышит поступь — это грядут ужасные события. О, как бы он хотел остановить этот уже запущенный механизм, задержать неумолимый ход вещей, уничтожить превратности вечно голодной судьбы, прекратить изменчивость мира, дать ему хоть немного покоя!.. Но — один лишь Бог может напоить этот мир волшебным напитком: исцеляющим сном. Только вот не станет ли тогда пробуждение еще горестней?

Когда забрезжил рассвет, менестрели достали свои лютни, арфы и флейты. И вскоре все участники похода подпевали им. И каждый в сердце своем знал, что песнь любви — всего прекрасней перед грядущим сражением. Ибо поющему неведомо, достигнет ли он захода солнца.

Руна накрывала на стол в комнате. На ней было длинное фиолетовое платье. Этот цвет ей не очень шел. Художник Корбюзьевич ощутил какую-то необъяснимую тревогу — на мгновение у него даже перехватило дыхание, — но он ничего не сказал.

— У нас сегодня праздник? — спросил он, увидев бутылку шампанского; в памяти, приятно щекоча банальное мужское тщеславие, всплывали идиллические картины де Хоога и Бурсе, и даже более позднего Рихарда Бишопа, с изображениями работающих женщин в уютной домашней обстановке.

— Не знаю, как это назвать, — ответила Руна и показала рукой на левую от окна стену. — Я закончила свою работу.

Только сейчас Корбюзьевич заметил на полу под стеной стоящие в ряд картины. Сдвинутые вплотную друг к другу, они составляли как бы единое целое. Руна выжидающе молчала — было видно, что она волнуется. Не спеша, чтобы еще больше стусить ее ожидание, Корбюзьевич откупорил шампанское и наполнил бокалы. Они молча выпили, и он поцеловал ее в губы медленным нежным поцелуем. И только теперь, почувствовав, что ожидание ее растворилось и из кричаще-оранжевого превратилось в нежно-персиковое, как его поцелуй, он обратил свой взор на картины. Они удивили его, даже изумили. Одна за другой, они изображали непрерывную цепь рождений. Но каких!

Из древних пещер, из гротов горных на солнечный свет вразвалку выходят деревья, ветвистые и могучие. Их душла черны и глубоки, из них выплывают один за другим корабли. Из парусов их, беременных солнечным ветром, выпархивают чудесные птицы — летят высоко в небесах прозрачных и осыпают простертую внизу землю золотистыми ящерками, ушастыми кроликами, хвостатыми собаками и прочим зверьем, которое, едва коснувшись изумрудной травы, мгновенно забывает о своей недавней причастности к небу и тут же разбегается во все концы света, что-то радостно высматривая и вынюхивая. Они не замечают, как от их тел отделяются облака и, смешиваясь, клубясь и нарастая, погружаются в океан и мечут там, в его лучистых водах, искристую икру. Так рождаются звезды, а от звезд — бабочки, а от бабочек — девочки, а от девочек — мальчики. Девочки и мальчики старятся, становятся бабушками и дедушками и уже до самой смерти смотрят на окружающий их

мир и друг на друга удивленными глазами, разводят маленькими ручками своими, недоумевая: почему же в этой цепи они — последние?..

Художник Корбюзьевич сейчас был похож на одного из этих недоумевающих дедушек.

— А кто же рождается от людей? — спросил он, одновременно понимая, что задает самый глупый вопрос в своей жизни.

— Знаешь, — сказала Руна, — когда у меня будет ребенок, я, наверное, стану совсем другой, и видеть все буду иначе.

Она печально посмотрела в окно, где обитало ее отражение. Корбюзьевич притянул ее к себе и жарко зашептал в самое ухо:

— Ты — Руна! Ты всегда будешь ею...

Они стояли, крепко обнявшись. Но Корбюзьевич с горечью ощущал, что это была уже не та Руна — не совсем та, какой он ее знал: нежная, податливая, немного непоседливая и всегда готовая им восхищаться, вечный подросток, благоухающий цветок, который прекрасен уже сам по себе и обладание которым уже есть счастье, безусловное и незамутненное. Все изменилось. Теперь она была мастером, и ее внезапно открывшаяся Корбюзьевичу зрелость больно задела его. И оттого, что он так ясно это почувствовал и осознал, ему было еще больнее. К боли примешивались укоры совести: а разве он не хотел, чтобы она стала художником? Вот она и стала... Что же ты, Корбюзьевич! Стыдись! Стыдись, художник!.. Он закрыл глаза и, стремясь отогнать ревность, в каком-то жадном исступлении еще крепче прижал Руну к себе. И в эту минуту в мире не осталось ничего, кроме биения ее сердца, ее тепла, ее неповторимого сладкого аромата... и, кажется, впервые он произнес вслух: «Я тебя люблю». — «И я тебя», — услышал он. Руна по-детски всхлипнула и, чуть высвободившись из жарких объятий художника Корбюзьевича, потянулась к нему лицом, губами. Любовь отпускала им грехи, возвращая невинность, и одной ногой они уже ступили на землю той заветной, волшебной страны, где им суждено поселиться и остаться навсегда, где они будут жить долго и счастливо и если когда-нибудь умрут, то конечно же в один день...

...Сладостные грезы были развеяны громким стуком в дверь. Руна бросила тревожный взгляд на стенные часы — они показывали полночь. Попросив Корбюзьевича подождать, она выскользнула из его объятий и скрылась в прихожей.

Уже через минуту в комнату вошел сухопарый человек в дорогом черном френче, застегнутом на все пуговицы. Он заметно прихрамывал, держась при этом неестественно прямо, и громко поскрипывал при каждом движении. Правая рука его (похоже, протез) была затянута в черную кожаную перчатку, а правый глаз — скрыт под черной повязкой. Гостя сопровождали двое: длинноногая тетка с рыбьим ртом — в посиневших (от малокровия?) руках она держала какой-то большой предмет, завернутый в драную мешковину и светившийся сквозь нее гнилостным свечением, — и маленький мужчинка в офицерской шинели; густо поросшая рыжей шерстью, словно была живой, шинель волочилась за ним по полу. Во внешности этого коротышки было нечто одновременно от кота и от мыши, что привело Корбюзьеви́ча, как художника, в сильное замешательство. Мужчинка, пошмыгивая носом, все время принюхивался. Его желтушные глазки шныряли по углам и как будто старались заглянуть за лицевую сторону каждого предмета обстановки.

— Я только что с передовой, — зачем-то пояснил он.

— Откуда? — изумился Корбюзьеви́ч.

Руна из-за спин неожиданных гостей делала ему немые знаки, по которым можно было определить лишь степень ее взволнованности.

Человек в черном френче сделал еще один скрипучий шаг вперед и, чуть не треснув пополам, остановился. Обильно набриолиненные жиденькие волосики бликовали в свете электрической лампочки, опасно свисавшей с низкого потолка. Глаза цвета сажи с бесцеремонной живостью обшарили всю комнату. И на чем бы они ни останавливались, всюду оставляли черные въедливые пятна. Тусклое лицо его исказилось в подобии улыбки, и оконное стекло тут же покрылось морозным узором — на редкость уродливым, надо сказать. «Я что, так много сегодня выпил? — подумал Корбюзьеви́ч, невольно пересчитывая в уме стаканы портвейна, которые он познал в «Чайнике». — Шампанское было явно лишним...»

— Нетрудно догадаться, вы отец нашей подопечной? — обратился незнакомец к художнику Корбюзьеви́чу и иронично осклабился. — Я академик Свампиус. Разумеется, вы обо мне слышали...

— Это не мой отец, — вежливо поправила его Руна.

— Вот как? — несколько наигранно удивился Свампиус. — А чей же он в таком случае отец, позвольте узнать?

— Ничей, — сердито пробурчал Корбюзьевич и, ощущая на себе неприязненные взоры всей компании, с чувством достоинства представился: — Я художник Корбюзьевич.

— Да? Что-то я такого не знаю. Рембрантовича знаю, Рубенсмана, Малевичуса и Пикассяна тоже знаю, а вот Корбюзьевича... Хм! Первый раз о таком слышу. И не смотрите на меня такими обиженными глазками: надо за собой лучше следить, меньше пить, зарядку по утрам делать, а то выглядите — старик стариком.

Академик Свампиус повернулся к Руне и строгим тоном сказал:

— А вы, милочка моя, ведете себя крайне легкомысленно: не посещаете мою студию, занятия совсем забросили, и это несмотря на то, что уже через неделю... Кстати, позвольте все же поинтересоваться, чем в столь ответственный момент занимаются ваши родители?

— Спят, наверное, — ответила Руна.

— Спят?! Разрешите узнать, почему они спят?

— Потому что уже поздно.

Свампиус поджал нижнюю губу, высоко вскинул набриолиненную голову и надменно посмотрел на стенные часы. И хотя часы были ни в чем не виноваты, на их циферблате осталось черное лоснящееся пятно.

— Вот именно, милочка моя, поздно! Через неделю презентация ваших работ, а вы, как я вижу, совершенно не готовы.

— Но я ничего не знала о презентации! — смутилась Руна. — А вообще-то я готова.

— Мне нравится ваша самоуверенность.

— Мне тоже, — ввернул Котомыш и подмигнул длинноносой тетке. Та только фыркнула в ответ, и светящаяся штуковина в мешковине начала неприятно гудеть.

— Однако мы еще посмотрим, имеются ли для такой самоуверенности достаточные основания, — заявил Свампиус. — А сейчас я хотел бы видеть ваших родителей.

— Но это невозможно! Они живут далеко... И, честно говоря, моя судьба их совершенно не волнует.

— Да что вы говорите, милочка! Я просто убежден, что ваши почтенные родители очень даже озабочены вашей судьбой. Сейчас вы и сами в этом удостоверитесь.

Лицо Руны выражало недоумение. Корбюзьевич, совершенно ничего не понимая, тщетно пытался поймать ее взгляд.

— Мои ассистенты их прекрасно заменят, — Свампиус указал на обоих своих сопровождающих. — Будьте уверены, в пластических искусствах им нет равных. Да и вообще — чертовски талантливы!

Оба представленных неукложе поклонились, а художник Корбюзьевич презрительно отвернулся, но, заметив застывшее лицо Руны, не на шутку разволновался.

— Это такая игра? — спросила она каким-то не своим голосом.

— О да! — подтвердил академик Свампиус. — Это такая игра. Вот, видите? Это ваши отец и мать. Видите? Они только что проснулись и очень обеспокоены тем, что здесь происходит... Можете начинать!

Странная парочка преобразилась до неузнаваемости.

— Что здесь происходит? — зевая во весь рот, поинтересовался исполняющий роль отца коротышка Котомыш; шинель на нем стала похожа на мохнатую пижаму, а ботинки — на замусоленные комнатные тапочки. Из-за его вопросительно приподнятых плеч испуганно высунулась и тут же спряталась «мать» в длинной, до пят, ночной рубашке; только руки ее по-прежнему имели подозрительно синеватый оттенок, и завернутая в мешковину светящаяся штукавина все так же продолжала гудеть. — Я спрашиваю: что здесь происходит?

— Я Свампиус, академик, — снисходительно отрекомендовался человек в черном френче. — Вы, разумеется, слышали обо мне...

— Какой еще академик в двенадцать часов ночи?!

— Сеня! Сеня, только не здесь! — забеспокоилась «мать».

— Погоди, мать, — мужественно отстранил ее «отец». — Дочка, объясни-ка нам с матерью, что здесь происходит?

— Ну, ты же слышал, папа, — голос Руны показался Корбюзьевичу чужим и неестественным, и говорила она, будто читая вслух по написанной шпаргалке: — Папа, познакомься. Это академик Свампиус, мой учитель. Он говорит, что у меня большой талант.

«Ее учитель!» — взорвалось в голове Корбюзьевича; он в ярости схватил со стола бутылку и стал пить шампанское прямо из горлышка, — пена хлынула у него изо рта и из носа, и он зашелся в удушающем кашле.

— Как это ни прискорбно, — имитируя обеспокоенность, начал Свампиус, обращаясь к «родителям», — но я вынужден и

как педагог, и как человек, так сказать, обремененный ответственностью, поставить вас в известность, что дочь ваша перестала посещать занятия и, вследствие этого, совершенно не готова к предстоящей итоговой экспозиции. А между прочим, на презентацию мною приглашены весьма влиятельные лица.

— Простите, какие лица? — испуганно переспросила «мать» из-под мышки «отца».

— Влиятельные, — повторил Свампиус и уточнил: — Это такие лица, которые влияют на всю дальнейшую судьбу.

— О Господи!

— Господь здесь совершенно ни при чем, уважаемая. Уж не знаю, чем занята голова вашей дочери. Уверен, что не учебой. И это в то время, когда все наше искусство борется за звание «образцово-показательного»! Вот я и спрашиваю вас: в сложившихся сегодня непростых условиях бытия, соответственно, что́ требуется от молодых талантливых девушек?

— Учиться, учиться и еще раз учиться! — как зачарованная, ответила «мать», видимо, вспомнив свою молодость и времена всеобщего героического энтузиазма.

— Совершенно справедливо! — и Свампиус обратился к Руне: — Ну-ка, расскажите нам, милочка, чем же вы занимались все последнее время?

Вслед за этим вопросом недружелюбный взгляд академика запачкал единственный выходной пиджак художника Корбюзьевича. Тот потрогал пятно пальцем: оно было жирным и пахло дегтем.

— Так чем же, а?

«Дегтем! — чуть было не ответил Корбюзьевич. — Что же это он вытворяет, гад? Мой единственный пиджак!»

— Я писала картины, — словно во сне отвечала Руна, ежась от холода.

— Ах, неужели?! — и еще одно жирное и дурно пахнущее черное пятно появилось на пиджаке Корбюзьевича. — Так может, вы не сочтете за труд нам их продемонстрировать, наконец?

Свампиус многозначительно посмотрел на «отца», но, как это ни странно, никаких следов на его мохнатой рыжей пижаме не оставил. «Отец», конечно, не замедлил отреагировать:

— Дочка! Что я слышу? Ты зачем заставляешь меня краснеть от стыда... в двенадцать часов ночи? Разве мы с матерью заслужили такой позор? И это в то время как весь наш народ...

Тут «отец» почему-то запнулся.

— Продолжайте! — подбодрил его академик Свампиус.

— ...в то время, когда весь наш народ спит... Кроме разве что ночных сторожей... — И «отец» неожиданно сконфузился.

— Сторожей и академиков, — снисходительно добавил Свампиус. — Этого вполне достаточно.

— Вам же ясно сказано: она писала картины! — не выдержал художник Корбюзьевич и с ужасом почувствовал, что голос его замерзает. Дрожа всем телом, он все-таки смог договорить:

— Смотрите сами, вон там...

В комнате воцарилась леденящая тишина. «Родители», словно два слепых мертвяка, потянулись на замерзший голос Корбюзьевича, но академик Свампиус звонко постучал черным протезом по наполовину пустой бутылке из-под шампанского, которая стояла на столе. Выпятив нижнюю губу и заложив руки за спину, он пристально общуривал каждую картину. «Отец» тупо уставился в бледную щеку академика, а трепещущая «мать» — в левый глаз «отца». Руна же, будто не чувствуя нелепости всего происходящего, безмятежно улыбалась, но Корбюзьевич не узнавал ее улыбку. Обращенная к нему, а точнее, лишь в его сторону, куда-то мимо его глаз, улыбка лучилась нежностью, но нежностью какой-то иной, неизвестной ему, женщины. И это отзывалось в сердце таким острым диссонансом, что он с горечью думал: уж не заболела ли его возлюбленная? Со всей ненавистью, на какую был способен, художник Корбюзьевич вытаращился на академика Свампиуса, но, несмотря на всю ее силу, взгляд его не обладал качествами красителя. И вообще, никто его сейчас не замечал, поскольку он оказался у всех за спиной.

— Ну, что же, милочка вы моя, посмотрим-посмотрим, что вы тут нам накуролесили. — Бесцветной, но живой рукой академик Свампиус извлек что-то из внутреннего кармана своего френча и приставил к глазу.

Корбюзьевич стоял позади него и самого предмета не видел, но ему показалось, будто сумрачно-зеленого цвета луч скользнул по комнате и тут же исчез.

— Как я и опасался, все это очень сыро, — задумчиво произнес академик, быстро пряча предмет обратно в карман.

— Ты слушай, дочка, слушай! — кивал «отец». — Академик плохому не научит. А если сыро, то надо подсушить. Эй, мать! Неси-ка сюда фен.

— Ага, Сенечка, сейчас! — и «мать» уже начала разворачивать мешковину на своей гудящей штуковине, но остановленная на полушаге академиком Свампиусом, который заявил, что с феном можно пока подождать, она снова вверглась в испуганное состояние.

«Ах, Руна, неужели тебе нравится этот идиотский маскарад?» — думал Корбюзьевич. Сама мысль о том, что такое вообще возможно, глубоко ранила его... «Руна! — позвал он мысленно. — Посмотри на меня! Посмотри на меня!..» Взгляд ее встрепенулся, ожил, стал светлым, ласковым и окрыленным, как и прежде. «О, Руна!..» — В каком-то радостном иступлении Корбюзьевич уже хотел броситься ей навстречу, но прекрасная окрыленность в ее глазах исчезла так же внезапно, как и появилась, живой притягательный свет в них померк, и перед оторопевшим от столь стремительных и необъяснимых превращений художником снова стояла «дочь своих родителей» в компании самих «родителей» и искося ухмыляющегося академика Свампиуса.

— Да, предстоит еще много поработать, милочка моя. К счастью, на то мы, наставники, и существуем, дабы помочь, подправить, показать личным примером и — чего греха таить! — без всякой ложной скромности, но для общего блага, продемонстрировать и свое мастерство.

И далее, обратившись непосредственно к картинам Руны, академик Свампиус подверг сокрушительной критике буквально все: и колорит, показавшийся ему немотивированно радостным и субъективно просветленным, и, главное, совершенно неуместным в столь нелепом сюжете; а нелепость сюжета, по его мнению, заключается в том, что он не только не соответствует правде жизни, но и — что хуже всего! — прямо ей противоречит, значит, крайне реакционен по своей сути.

— И учтите, милочка моя, для нас с вами важно знать, не кто от кого рождается, а кто от кого умирает... Но не будем слишком забегать вперед, поскольку эта тема станет предметом наших дальнейших творческих исканий. Сейчас же вам необходимо усвоить, что художнику ничего не надо придумывать, ибо все за него уже придумала природа.

— Она тоже природа, — твердо заявил художник Корбюзьевич, беря Руну за руку, холодную и безжизненную. — Почему же она не может сама придумывать?

— Это еще кто? — не совсем уверенно спросил «отец».

— Пока еще никто, — успокоил его Свампиус. — Сорветесь на него чуть позднее: я подам сигнал, уважаемый, — и снова повернувшись к Руне, которая, что немало озадачивало Корбюзьевича, за все это время ни слова не сказала в свою защиту, Свампиус продолжал, со скрежетом загибая пальцы на искусственной руке: — Так вот, милочка, как уже было нами указано, колорит бестолковый — форменный произвол! Анатомия никуда не годится... фактура однообразна... Вот к чему приводит легкомыслие. Результат, как говорится, налицо... Кстати, о лицах! Прошу обратить внимание: на всех картинах они абсолютно абстрактны, внеличностны. Глазу зрителя просто не за что зацепиться. Надо конкретизировать лица, милочка моя.

С этими словами академик Свампиус мокнул свой протез в карман френча и в следующее мгновение блестящим от иссиня-черной краски неподвижными пальцами сделал несколько молниеносных мазков по ближайшему из холстов. Каждое его движение сопровождалось отвратительным скрипением и скрежетом.

Первыми приняли страдания золотистые ящерики, ушастые кролики, хвостатые собаки и все прочее зверье. Свампиус работал быстро и уверенно, как и положено настоящему академику. Из-под его протеза выходило, а точнее, выползало теперь множество маленьких, словно инкубаторских, «свампиусов» — только с телами ящериц, кроликов, собак и прочего зверья. Затем, не давая никому опомниться, он взялся за тех, кто разбежался по земле во все концы света, словно в надежде спрятаться от безжалостно скрежещущей черной пятерни. И здесь Свампиус выказал необычайное проворство и ловкость: он отлавливал бедных зверушек, мгновенно «свампировал» их добрые мордочки и только тогда отпускал на все четыре стороны. Теперь отовсюду с холстов буравили пространство насмешливо-колочие глазки академика. Вслед за тем этой ужасной пластической операции подверглись птицы — клювы их быстро превращались в носы Свампиуса, а крылья — в черные пятипалые протезы; деревья приобретали колченогую походку Свампиуса, а дупла деревьев начинали изрядно смахивать на надменные рты Свампиуса, размноженные, словно по клише. Карман, в который академик неумоимо окунал свою скрипучую клешню, казался неиссякаемым источником черной краски, а сам он трудился вдохновенно, то слегка закусывая нижнюю губу, то напевая что-то себе под нос и изредка бормоча: «Сюда-а-а,

оп!.. Вот так». Иногда он отстранялся на пару шагов назад и, приставив к единственному целому глазу какую-то странную изумрудную линзу, внимательно обозревал результаты своей работы: достаточно ли соразмерно все получается? Затем вновь со скрежетом приближался к стене, каждый раз натываясь на суетившихся под ногами восхищенно-растерянных «родителей».

Врожденное чувство справедливости требовало от художника Корбюзьевича болезненного признания того, что мастерство проклятого Свампиуса было безупречным: уроды, созданные его протезом, поражали своей ужасающей правдоподобностью и оттого казались еще страшнее. Что случилось с дивными крылатыми птицами? Что же это за чудовища, которые так злобно язвят небо свампиусовыми носами и судорожно трясут лохмотьями бывших крыльев, которые теперь похожи на разодранные черные зонтики без ручек? Птицы-спицы!.. А люди! Все как один, они облачились в черные френчи, застегнулись на все пуговицы и приняли позу колченого диктатора. Девочки — и те перестали быть похожими на девочек, преобразившись в куклоподобных «свампиусов», которым уже никогда не суждено производить на свет мальчиков. Небо на картинах стало черным, и ни одна звезда не мерцала в его обугленной бездне. Черные остовы сожженных кораблей неслись по нему, словно тени, и среди них выделялся один — самый черный и самый костлявый. Вот он мчит на свою дикую охоту, и горе тому, кто попадется на его пути!

А что же Руна?.. Она сияла от счастья. Она любовалась на это тотальное уничтожение своего труда... О, это было ужасно! Это невозможно было вынести! Корбюзьевич смотрел на нее, с трудом веря своим глазам: как мало женского в ней оставалось! Куда исчезла ее пленительная нежность? И как могло вообще такое произойти?.. В ней не осталось ничего, что могло бы его притянуть, да и не верилось больше, что и сама она могла бы быть им притянута. Видя, как она блаженствует, словно ей открылась не адская бездна, а солнечный Эдем, населенный высшими существами, Корбюзьевич чувствовал, как и сам начинает заболеть. А может, они оба спят, но каждый каким-то не своим сном? И этот сон их разума порождал чудовищ академика Свампиуса...

— Руна! — позвал он в надежде, что его возлюбленная очнется вместе с ним. — Руна!.. Это я — Корбюзьевич...

Но его страстный призыв не был услышан. И вообще никто на художника Корбюзьевича не обратил ни малейшего внимания, как будто он был чем-то нематериальным — духом, который тщетно силится пробиться в вещественный мир.

— Ну? Что вы скажете теперь, милочка? — самодовольно спрашивал академик Свампиус, вытирая черным носовым платком свою рабочую клешню, и тут же сам себе мягко возражал: — Впрочем, что тут скажешь? После вдохновенного творческого процесса слова излишни. Творение должно говорить само за себя. Однако это не должно мешать вам наслаждаться его совершенством. Так что не стесняйтесь.

Руна и не стеснялась: глаза ее были полны лучезарных слез.

Все же Свампиус счел уместным поинтересоваться мнением «родителей». В несколько неуверенном тоне «отец» сообщил, что в художествах он мало чего смыслит, но то, что увидели они с «матерью», можно пришпандорить где-нибудь в общественном месте для публичного обозрения.

— Мне нравится ход ваших мыслей, уважаемый! После моих незначительных исправлений, разумеется, работы примут участие в итоговой экспозиции.

«Родители» принялись низко кланяться:

— Ой, спасибо вам огромное, академик вы наш дорогой! Мы вам так благодарны за нашу доченьку! Так благодарны!..

— Ну, ну! Не стоит. Искусство превыше благодарностей. К тому же у вашей дочери настоящий талант. Большой талант.

— Да как вы можете?! — возмутился Корбюзьевич. Он схватил мастихин, лежавший рядом с кистями, и попытался содрать с первой попавшейся птицы эту ужасную черную краску, но тут же руку его до самой кости пронзил такой холод, что она безвольно повисла, а мастихин упал на пол. — Никакой вы не академик! — простонал Корбюзьевич, усиленно растирая руку.

— Да? Кто же я, по-вашему?

Тепло медленно возвращалось в руку, но вместе с теплом в ней нарастала невыносимая тупая боль.

— Мало того что испоганили прекрасные картины, так еще и моей девушке какую-то отраву в шампанское подсыпали. Вон она теперь сама на себя не похожа.

С шампанским художник Корбюзьевич откровенно блефовал. На самом деле ничего такого он не видел, но остановиться уже был не в силах:

— Подсыпали! Да! Я все видел!.. — он схватил бутылку и неожиданно для самого себя швырнул ее в академика.

Тот даже глазом не моргнул. Бутылка мгновенно оказалась зажатой в искусственных пальцах его протеза.

— Хам, — невозмутимо произнес Свампиус и тут же, как и обещал ранее, дал понять «родителям», что пришла пора срываться на Корбюзьевича.

— Это еще кто такое?! — взревел «отец», он тяжело отдувался, мотая головой, как вебрь перед нападением, а «мать» придерживала его за ручки, правда, не слишком старательно. — Я спрашиваю: кто это такое и что делает здесь?!

— Руна, скажи им, кто я такой! — иступленно закричал Корбюзьевич. — Ну, скажи же им! Или ты забыла меня?

— Папа, это... — промолвила Руна, тихий голос ее будто донесло порывом благоуханного ветерка из той волшебной страны, казалось, уже утерянной навсегда.

В глазах у художника Корбюзьевича поплыли туманы, сквозь которые проступил седой эльфийский лес, поляна с бледно-алыми цветами и Руна с единорогом, таким же белым и прозрачным, как этот туман. И вдруг — рунические знаки, те самые, с его новой картины, но сейчас неведомо как превратившиеся в татуировку, тлеющую на мертвело́й руке академика Свампиуса, который липкой болотной жижей медленно растекался по лесу...

— Папа, это мой друг... единственный...

— Какая дружба в двенадцать часов ночи?!

Корбюзьевич нервно расхохотался, сорвавшись на противный фальцет. От неожиданности «отец» даже присел:

— Ты что же это, бесстыжая, кастрата в дом привела?!

— Совершенно с вами согласен, — подхватил Свампиус, хлопывая «отца» по плечу. — А вам, моя милочка, не стыдно ли пререкаться со взрослыми? Лучше подумайте об образцово-показательном искусстве и в его свете о своем будущем. Что же касается этого нахального выскочки, воровски просочившегося в вашу ячейку нашего общества, то, как мне теперь ясно, он и есть один из главных факторов, отвлекающих вашу дочь от наших занятий. Да к тому же неизвестно, чей он отец, как он сам соизволил сознаться.

— Сеня! — истерично заверещала «мать» и даже выронила из посиневших рук свою светящуюся штуковину.

Грохнувшись на пол, штуковина ярко вспыхнула и угрожающе загудела

— Сеня! — снова заверещала «мать», синяя прямо на глазах вместе с ночной рубашкой. — Сеня, ты слышал, у них будет ребенок!

На столь парадоксальную трактовку «матерью» слов академика Свампиуса котомышеобразный «отец» ответил не менее парадоксальным образом:

— Ребенок? Какой ребенок в двенадцать часов ночи?

— Сеня! — синяя «мать» залилась слезами, в горле у нее булькало, как при полоскании фурацилином, и наружу выплескивались мокрые, хоть выжимай, слова, смысл которых понять было практически невозможно.

Все же «отец» кое-что понял. Маленький, но чрезвычайно звероподобный, он ринулся вон из комнаты, так хлопнув дверью, что всех окатило душной волной. Картины рухнули на пол, зазвенели оконные стекла, и в них, мгновенно оттаявших, будто в страхе, дрожало отражение Руны. Стало так тихо, словно во всем мире выключили звук. В ту же минуту «отец» вернулся, точнее, бесшумно ворвался с кухонным топориком в когтистой руке. Рыжеватое, шерстистое лицо его было искажено злобой. Маленький ротик открывался и закрывался, что-то беззвучно выкрикивая. Топорик взметнулся вверх, по комнате замелькали стальные блики, рукав пижамы сильно задрался, и на обнажившейся «отцовской» лапе, когтистой и сплошь порошей рыжей шерстью, художник Корбюзьевич прочитал выстриженную надпись: «Я сказал, зарублю!»

Руна повисла на этой лапе, точно вьюнок на колючем кактусе, — она зажмурилась и сильно побледнела, рядом медленно скакала «мать» — так она едва удерживала разъяренного «главу семейства». Корбюзьевич стоял совершенно неподвижно. Странно было ощущать холодок лезвия у самой головы. «Убью! Зарежу!» — без труда прочитывал он по губам «отца». Боковым зрением он видел, как академик Свампиус весь подался вперед в напряженном ожидании.

— С меня довольно, — сказал художник Корбюзьевич сквозь внезапно нахлынувшую бирюзовость покоя, но, к его изумлению, ни одно из произнесенных им слов не облеклось в звук.

Тем не менее, он увидел, что был прекрасно понят: в ответ рот академика Свампиуса тоже начал ускоренно шевелиться, и вся его немая речь, словно отпечатанная на пишущей машинке, отчетливо чернела в пламенеющем сознании Корбюзьевича: «А вам, преждевременно стареющий юноша, вместо того чтобы

разглагольствовать о природе и осмеливаться угрожать мне, великому Свампиусу, следовало бы сначала заняться своим здоровьем. А вот чего не следовало бы, так это малевать на своих пустычных картинках знаки, тайный смысл которых вам абсолютно неведом. А посему, — губы академика искривились в страшной злобе, — с тебя действительно довольно. Убирайся, пока не поздно! Пошел вон!»

Художник Корбюзьевич порывисто шагнул к Руне.

— Пойдем, пойдем со мной! — беззвучно призывал он.

Схватив ее руку, он страстно потянул ее к себе, непроизвольно — прямо к сердцу, сильно колотившемуся в груди, но тут же с отвращением отпустил: то была не рука Руны, а черный жесткий протез академика Свампиуса. Мороз обжигающе пробежал по позвоночнику оторопевшего художника Корбюзьевича. В отчаянии он еще раз посмотрел на Руну, но... ее нигде не было! Входная дверь была распахнута настежь. «Стоять!» — маячил обезображенный злобой черный рот Свампиуса. Корбюзьевич рванулся прочь из обеззвученной комнаты, но, споткнувшись об коварно подставленную лапу Котомыша, растянулся на полу. Он тут же вскочил на ноги и снова бросился к двери. Вдгонку синяя тетка успела огреть его по спине своей гудящей шутовщиной.

VI

Оглохший и почти ослепший, не чувствуя боли в руке и спине, он как сумасшедшая собака бегал по ночному городу в поисках Руны. Но ее нигде не было. Как же так? Почему она убежала сама? Почему не подождала его? И вообще... что это было?.. Чуть не плача от обиды, горечи и бессилия, художник Корбюзьевич понесся вверх по Тарасовской улице к Старому Ботаническому саду. В жидком свете ночных фонарей лицо его, искаженное страданием, стало едва узнаваемым. Подъем круто брал в гору, но, не замечая крутизны, Корбюзьевич быстро покрывал ее мелким нервическим шагом. Он бежал как бы в самом себе, в себе же заключая и беглеца, и убегающее от него пространство. Он был Побегом — в самом несчастнейшем смысле этого слова, потому что, как ему сейчас казалось, был навсегда отлучен от освященной мечтами и овейной снами волшебной страны бессмертных, едва успев достигнуть ее перламутром мерцающих во тьме границ. «За что?!» — горестно

восклидал он. Что он сделал не так? В чем виноват?.. Оставив за спиной наполненную тьмой глубокую чашу сада, художник Корбюзьевич пересек пустынный бульвар и поравнялся с замурованным в ночь Владимирским собором. В этот поздний час ни одна свеча не теплилась под его высокими сводами, как будто Великий Бог покинул их. Корбюзьевич остановился в каком-то новом, еще не ясном предчувствии. «Господи, не оставляй меня!» — прошептал он, обращаясь к слепым окнам собора.

Дальше он пошел медленно. И так хорошо знакомая ему чужбина постепенно снова возвращалась к нему. Ночной ветер остужал воспаленные глаза, возвращая им ясность зрения — и вот уже взору один за другим представляли радужные ореолы фонарей, колосющийся в неоновых нимбах дождь, позлащенный блеск асфальта и в черных зеркалах луж перевернутый силуэт города. И пока Корбюзьевич шел серединой улицы, к нему возвращался слух, который чуть было навечно не остался в цепких пальцах черного протеза академика Свампиуса. Все сразу изменилось: мир вздохнул и задышал глубже, свободней; в бархате ночи дождь зашуршал, забарабанил по крышам и карнизам; гулко загромыкала вода в водосточных трубах; зашумела листва на деревьях; захлюпали, зачавкали насквозь промокшие туфли Корбюзьевича и где-то далеко-далеко поволчьи взвыл на повороте последний трамвай.

Уже не так несчастлив художник одинокий: с ним ночь... Она утопит в омутах своих его печали, чела его коснется и скажет тихо-тихо: «Входи под сень мою, поведай о своих горах — я унесу их с собой далеко-далеко на запад, за самый край земли». О, сколько их, душ одиноких и страждущих, в эту же самую минуту всем сердцем просят у ночи забвения, и та щедро дарит этот темный и густой напиток каждому, кто нуждается в нем. Ибо всемогуща и милостива ночь к своим детям, и всякий из них для нее единственный и исключительный, и всякого потом легко узнать по особой печати на челе, оставленной ее нежным прикосновением...

Шаг за шагом любовь возвращалась к художнику Корбюзьевичу и с новой силой наполняла его сердце — так странник после долгих мытарств торопится к родному дому; ожи-

даемое близкое счастье отбрасывает свой благостный свет на его бесприютное прошлое, и только теперь оно обретает смысл и становится идеально прекрасным.

Шаг за шагом возвращался художник Корбюзьевич в свою мастерскую на Большой Житомирской, где, как ему теперь казалось, он отсутствовал многие годы. Умиленный, взирал он на проплывавшие мимо деревья, что смешали в общем шуме свои кроны с дождем.

О, как он любит эти деревья! За то, что молчат и в молчании их можно услышать голос вечности; за тень, которая никогда и никого не запятнает; за то, что в свои объятия с трепетом принимают всех способных летать, карабкаться, ползти, — принимают даже медленно катящийся солнечный диск, и целое небо, а иногда и молнию, испепеляющую их в жарком огне. Но как же печально поскрипывают, качаясь на ветру, их ветви, когда не ходят больше к ним прежние дети человеческие, состарившиеся и павшие раньше них. И тогда по ночам, когда никто не видит, старые деревья отрываются от спящей земли и парят над ней в поисках умерших, которые ласково тянутся к ним...

Шаг за шагом возвращалась к художнику Корбюзьевичу способность мыслить спокойно и разумно, и все случившееся и пережитое в доме Руны теперь представилось глупым и смешным наваждением. Взойдет солнце, родится новый день, распахнется дверь в его мастерскую, которую он не станет запирать на ночь, на пороге будет стоять улыбающаяся Руна, они крепко обнимутся, как после бесконечно долгой разлуки и, счастливые друг другом, отправятся на шумные бульвары вкушать кофе с шоколадом и будут весело смеяться над собой и над маниакальным академиком Свампиусом и изумляться: что же это такое нашло на них вчера? Потом они легко и радостно обо всем забудут и станут жить и писать новые картины, и будут любить друг друга вечно... И может быть, она уже сейчас ждет его — в саду, под окнами мастерской?.. Он ускорил шаг.

Рука уже не так сильно, но все еще болела. Спина тоже ныла. «Должно быть, там большой синяк». Неспешно поднимаясь по Театральной улице, художник Корбюзьевич увидел впереди, в голубоватом свете единственного живого фонаря, быстро удаляющийся силуэт. Несмотря на расстояние в добрую сотню мет-

ров, силуэт показался ему знакомым. Длинный плащ, шляпа и, в особенности, походка — все напоминало только одного человека, хотя, после его внезапного исчезновения несколько лет назад, в это с трудом верилось.

— Классик! Постой! Это я — Корбюзьевич!.. Постой, я узнал тебя!..

Но Классик, если то действительно был он, быстро повернул за угол, к Золотоворотскому скверу. «Нет, не мог я обзнаться, — будто спорил с кем-то художник Корбюзьевич, пробегая мимо призрачно мерцающих во тьме Золотых Ворот. — Я хорошо помню его *линию*. Это точно он!» Однако Классика нигде не было — ни в сквере, ни возле пустой чаши мертвого фонтана, словно он был частью этого мелко морозящего дождя и теперь просто растворился в нем. Лишь мокрые маскароны на каменном постаменте фонтана грозно и одновременно безучастно скалили свои львиные пасти в четыре стороны света.

— Классик! — с досадой в голосе еще раз позвал Корбюзьевич.

Где-то неподалеку со звоном распахнулось окно:

— Эй, ты! — раздраженно прокричал мужской голос. — Чего орешь? Ночь на дворе!.. Классик! Классик!.. Повымирали все классики давно, а современники спать хотят. Понял?!

— Понял, — пробурчал художник Корбюзьевич и поспешил в сторону Большой Житомирской.

Следом за ним понуро плелся его опечаленный фантастикум...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

САД ПРИДУМАННЫХ ПТИЦ И ЦВЕТОВ

I

Г-Н ФИЛИН И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ

...Фургон летел, не разбирая дороги, и остановился только тогда, когда хохот проклятой старухи растворился в бесконечном множестве коридоров. Страшась даже нос высунуть в окно, друзья вжались в сиденья Фургона и сидели тихо. Некоторое время они и вовсе не могли что-либо мочь. Но сильнее всех не мог сам Фургон. Дышал он тяжело, бока его то вздымались, то глубоко западали, отчего все время неприятно потрескивали оконные рамы, и стекла в них угрожающе звенели.

— Угу! — первым выдавил из себя г-н Филин. — Какая кошмарная старуха!

— Кстати, она там не сгорит? — заволновалась Янка. — Там же в Чулане пожар! Может, вернемся, пока не поздно?

— Только не это, княгинюшка! — очнулся г-н Архивариус.

— А если кастелянша сгорит?

— За нее не беспокойтесь. Скорее сам пожар сгорит, чем эта старуха.

— Угу, к тому же кастелянши не горят, — философично добавил ученый секретарь. — Не горят в силу своего огнеупрямства.

— А Чулан? Ведь если в Чулане пожар, то и весь Замок в опасности!

— Что вы, княгинюшка! Да у них там, в Чулане, каждый день то потоп, то пожар, то землетрясение. Уверяю вас, все это — сплошное надувательство.

Янка вздохнула с облегчением, и поскольку тема Чулана была исчерпана, путники снова погрузились каждый в свое молчание. Тишина изредка нарушалась вздохами и крихтением Вялого Горбуна, который, обливаясь потом, из последних сил тащил Фургон.

Пока они так ехали, г-н Филин, хоть и молчал вместе со всеми, но вел себя крайне возбужденно: он без конца вертелся, подозрительно озирался и часто моргал. И глаза его стали желтей обычного.

— Что это вас так беспокоит, дражайший? — раздраженно спросил г-н Архивариус.

Ученый секретарь неуверенно пожал крылатыми плечиками, но ничего не ответил. Янка озабоченно приложила руку к его перистому лбу:

— Да вы весь горите!

— Я горю?! — подскочил г-н Филин, хлопая крыльями.

— Ну да, у вас повышенная температура... Вы там, в своем яйце, ненароком не простудились? А то вот один старый друг господина Архивариуса говорит, что яичная скорлупа — пористая и пропускает воздух. Я ничего не путаю, господин Архивариус?

— Да-с, именно так утверждает сэр Уильям Гарвей.

— Угу, не знаю я никакого Гарвея, — насторожился г-н Филин. — Ну, может быть, и был какой-то легкий сквознячок, но я точно не помню.

— Вот видите! — торжествующим тоном сказал г-н Архивариус. — Не помнит!

— И потом еще, — добавила Янка, — в этом яйце вы росли так быстро, что вас очень даже легко могло прохватить.

— Гм, — приподнял свой ученый колпак г-н Архивариус. — А ведь и правда! Как же мне самому не пришлось в голову?

— Нужно, чтобы приходило не в голову, а в сердце, — заметила Янка.

При этих словах г-н Архивариус глубоко задумался, а Вялый Горбун притормозил, чтобы немного всплакнуть.

— Может, все-таки расскажете нам, что с вами приключилось в яйце? — спросила Янка ученого секретаря.

— Угу-гу! — воскликнул взволнованный г-н Филин. — Даже не знаю, как это описать!

Он зачем-то внимательно просмотрел свои манжеты, хотя никаких записей на них не было.

— Видите ли, друзья мои... Сначала это было... это было как сон. Угу, мне снилось, что я вижу сон, в котором мне снилось, что мне снится, что я вижу сон, в котором мне снится, что мне

снится сон, в котором мне снится, что мне снится... Короче, я думал, что уже никогда не проснусь. И тут вдруг, вижу: прямо передо мной — Лев!

— Лев? — удивленно спросила Янка.

— Угу, красивый такой. Грива огненная на ветру развевается, а на голове — золотая корона!

— Корона? Очень интересно! — в свой черед воскликнул г-н Архивариус и взял у г-на Филина его манжеты. — Продолжайте, продолжайте, я сам все запишу.

— Ну, стало быть, мне этот Лев и говорит: ты, мол, дорогой мой господин Филин, есть философское яйцо.

— Что, прямо так и сказал? — оторопел г-н Архивариус.

— Так и сказал: философское яйцо, — с гордостью повторил ученый секретарь. — Это значит, объяснил он, что я стал символическим образом герметической Вселенной. И тут вокруг меня голоса зашептали: «Ты сфера! Ты темница! Ты перегонный куб и брачная комната!..» Признаться, эти голоса, а их было очень много, меня несколько сбили с панталыку: если я яйцо, как утверждал Лев, то как же я могу быть одновременно еще и каким-то кубом? Где это видано, чтобы яйцо было кубическим и, наоборот, куб — яйцеобразным? — говорил я им, но голоса упрямо гнули свое. Ну, я махнул на них, как говорится, крылом: пускай себе думают, что я куб и комната, раз им так нравится — мне не жалко.

— А что было потом?

— А потом меня осенило! То есть озарило!

— Неужели? — с тоской вздохнул г-н Архивариус.

— Угу, я осознал, что я есть саморазвивающаяся Вселенная, а моя скорлупа есть первоматерия, или так называемый воздухообразный хаос.

Г-н Архивариус перестал записывать и перевел изумленный взор на Янку, которая сидела с открытым ртом. А ученый секретарь уже выпорхнул из Фургона, в котором теперь ему было тесно и душно, и принялся расхаживать взад и вперед, по-профессорски заложив крылья за спину.

— Вот именно, дражайший господин Архивариус, я сказал: «воздухообразный хаос». Если вы это записали, я продолжаю. Теперь речь пойдет про Белок... «Белок» с большой буквы, и обязательно подчеркните жирной линией. Так вот, Белок, как уразумел я, есть сфера воздуха и огня, которая населена ангело- и де-

монопоподобными существами и сущностями... Как я теперь подозреваю, именно они все это мне и нашептывали, ибо, как я уже говорил, сам Лев к тому времени ушел восвояси.

— Вы этого не говорили, — возразила Янка.

— Угу? Простите, Ваше Высочество, со мной иногда такое случается: подумаю — и не скажу, или скажу — и не подумаю... — и г-н Филин скептически посмотрел на пишущего в поте лица г-на Архивариуса. — Далее, я глубоко постигнул тот факт, что в Желтке помещен некий Филин-Птенец, то есть, иными словами, микрокосм, пребывающий в изоморфном отношении к макрокосму...

Еще долго продолжал в том же духе ученый секретарь, но Янка его уже не слушала, она задумалась о чем-то своем, печальном; один лишь г-н Архивариус терпеливо продолжал записывать необыкновенные перипетии Вселенского Яйца, которое впоследствии, как выяснилось, угодило в какую-то глиняную чашу, именуемую философским тройным сосудом, и чаша эта была полна золы и т. д. и т. п.

— Что с вами, княгинюшка? Вы плачете?

— Да нет же! — спохватилась Янка. — Просто голова разболелась... И в глазах как-то...

— Угу, это любовь, — компетентно заверил г-н Филин.

— Послушайте, — возмутился г-н Архивариус. — Вы просто несносны! Где ваш такт? Стыдились бы, дражайший.

— А что я такого сказал?

— Возомнили о себе невесть что!

— Угу, позвольте с вами не согласиться, господин Архивариус. Мне были голоса. И они ясно и недвусмысленно сказали: «Ты — образ герметической Вселенной».

— Тоже мне, Вселенная! На самом деле я вижу перед собой «образ герметической глупости».

— Ах, прошу вас, друзья мои милые, не нужно ссориться, — взмолилась Янка. — Это все моя чрезмерная впечатлительность.

— О, она вам к лицу, княгинюшка, — галантно расшаркался г-н Архивариус.

— Угу!.. Разрешите клонуть вашу ручку в знак моей великой преданности.

— Угу, клоньте, только не больно, — сказала Янка и протянула г-ну Филину руку...

II ВВЕРХ ПО ДРЕВУ

Дорога терялась в гигантском нагромождении корней, которые, змеясь и переплетаясь, образовывали дремучие дебри, обступавшие путников уже со всех сторон. Далеко в вышине, подобно осенней ночной измороси, сеялся серебристый свет Луны. Однако, несмотря на холод и промозглую сырость, вокруг теплилась какая-то непонятная жизнь, полная шевелений, шорохов и тончайших посвистываний. Выйдя из Фургона, путники пытались понять, где они находятся.

На этот раз Янка не стала задавать вопросов, боясь, что от любого произнесенного слова мгновенно рассыплется и бесследно растает весь этот, состоящий почти из ничего, мир.

Со словами «Одну минутку, друзья мои!» г-н Архивариус полез в Фургон и провозился в нем целый час. Вернулся он, очень довольный собой, держа в руке маленький волшебный светарь.

— Старенький, но надежный, — сказал г-н Архивариус. — Теперь таких уже не производят.

Светарь не расколол сумрак, а лишь мягко отделил его.

— Прекрасно! Чудесно! То, что нужно! — не уставал радоваться г-н Архивариус.

По правую руку от Янки зияло широкое дупло, в глубине которого, как ей показалось, промелькнул огненный сполох.

— Там что-то есть! — сказала она и заглянула в дупло.

От напряженного всматривания глаза у Янки слезились. Она достала платочек, промокнула их и сразу увидела какого-то человека, облаченного в искрящийся пурпур; он парил в темноте, далеко внизу, и свет вокруг него разгорался... «Да это же он!» — чуть было не воскликнула Янка и в ту же минуту поняла, что давно спит и ей грезится сон. Ну, конечно, это сон! Чудесный сон! Вот и она сама, легкая, бесплотная, вся в белом, приближается и приближается к тому, кто ее ждет там, внизу, и, кажется, что от этого ожидания его одеяние сейчас вспыхнет пламенем и опалит все вокруг. Она видит его запрокинутое лицо, широко открытые глаза, улыбку... Ближе, еще ближе... О, как же бесконечно долго она приближается! Простирает руки над его головой, а в руках ослепительно сверкает корона. Никогда еще она не была так свободна и счастлива! Никогда...

Янка ощутила на своем плече прикосновение и проснулась. Перед ней стоял г-н Архивариус, вид у него был таинственный. Он жестом указал на Фургон: пора ехать. Янке хотелось еще хоть разок увидеть человека в пурпурном одеянии, но оказалось, что на месте дупла, теперь была ровная, совершенно гладкая поверхность. Древесный ствол, точно тело исполинского дракона закручивалось спиралевидными кольцами, и его голова-крона скрывалась где-то в вышине, в лунном свете. Взгляд Янки скользил вверх по стволу, еще немного — и он тоже растворился бы в лунном свете. Неужели это дерево? Неужели оно где-то начинается и где-то заканчивается, и вообще растет?

Путники заняли свои места в Фургоне, и Вялый Горбун потащил его прямо по этому стволу, по этой древесной дороге вверх, изредка обходя неглубокие ложбины, поросшие кустарником и мхом.

— Итак, княгинюшка, — наконец заговорил г-н Архивариус, голос его звучал негромко, но торжественно и даже взволнованно. — Теперь начинается самое интересное. Да будет вам известно, что всякий путь становится собственно Путем не сразу. Из множества вариантов, которые уводят нас в разные стороны, в конечном итоге сплетается один — избранный. И этот единственный Путь, избранный уже с самого начала, с самого первого, пусть неуверенного, несмелого шага, всегда живет в нас, бесконечно тянется через наше сердце в непрерывно, каждую минуту воплощаемый мир. Путь существует всегда, даже если мы о нем еще ничего не знаем, и он везде. Ибо он — Смысл.

Как и ожидалось, г-н Филин зря времени не терял: перо его громко скрипело, манжеты только и успевали меняться одна за другой.

— А поскольку Смысл, являясь Путем, существует вечно и его невозможно придумать как нечто, чего никогда раньше не было, то его можно только понять и почувствовать, — продолжал г-н Архивариус. — Это и есть истинное знание, окружающее нас всегда, везде и во всем. Каждый в отдельности и все вместе мы составляем частицу этого знания. Вот почему быть мудрым — значит освободить свой дух, который единственный способен воссоединить частицу с целым...

Янка хоть и старалась внимательно слушать речи г-на Архивариуса, но из ее головы никак не выходил таинственный человек в пурпуре и золотая корона над его головой.

— К сказанному хочу добавить, — голос г-на Архивариуса становился громче, — что наш Замок — это тоже Путь. Это великий Смысл, доступный не каждому, но лишь тому, кого Замок впустил в свои Чертоги — *Cum Gratia et Privilegio*¹, как говорится. А место, которое мы только что оставили за спиной, да-да, то укромное, сырое, холодное место в сплетении корней — его Начало.

— Я расскажу вам одну историю, — продолжал г-н Архивариус, — первое слово которой неизвестно никому, — так далеко отстоят от нас ее истоки, — а последнее слово теряется в бесконечном будущем. Давным-давно на этом, тогда еще голом склоне, где властвовали только травы да ветры, кое-кем было (случайно ли, умышленно?) оставлено кое-что... Одни говорили, что будто бы это великий бык свой рог обронил, другие — что некий козлоногий бородач потерял свои тростинки, отчего и по сей день иногда слышны печальные и нежные звуки, пронизывающие снизу доверху весь Замок, потому что в этих тростинках поселился живой голос прекрасной девы...

— Какой девы? — спросила увлеченная рассказом г-на Архивариуса Янка.

— Угу, не мешало бы уточнить, — согласился г-н Филин. — Для моих чистых манжет все это слишком туманно.

Г-н Архивариус пошарил рукой за пазухой своего камзола и извлек оттуда небольшую, величиной с ладонь, книгу в выцветшем на солнце сафьяновом переплете.

— Вы спрашиваете, кто она, эта дева? — переспросил г-н Архивариус патетично и показал пальцем на открытую страницу, исписанную какими-то древними письменами. — Вот здесь, друзья мои, в этой старинной книге написано следующее:

«Она могла бы стать
тенью летящего облака
или пчелой,
чтобы упиваться цветочными соками;
могла — цветком,
вплетая свой аромат
в крепкий дух полыни и козьего молока
или смешивая его с запахом дождя.

¹ По милостивому разрешению и привилегии (*лат.*).

Она могла бы стать дождем
и однажды, в грозу, пролившись с небес,
просочиться в выжженную солнцем почву
и достигнуть царства Аида,
где она могла бы стать
частью вечно текущей
Леты.

Могла бы стать кипарисом
и оплакивать мертвых,
или — лавром,
чтобы возвеличивать героев.
Могла — осколком горного хрусталя,
на сверкающей поверхности которого
являлись бы картины будущего.

Она могла бы стать шелестом трав
или рябью на воде,
или зеркальной рыбкой,
что прячет свое безмолвие
в длинных стеблях озерных лилий.

Кто знает, кем еще могла бы она стать?

Но сёстры речные превратили ее
в хрупкий, тонкий тростник,
и теперь стареющий козлоногий Пан,
тяжело взобравшись на холм,
льнет к ней сухими губами,
словно в поцелуе,
и она отзывается долгим эхом
печальной мелодии».

— Красиво, — тихо молвила Янка.

— Угу, — согласился г-н Филин. — Но непонятно.

Г-н Архивариус закрыл книгу и, пряча ее обратно за пазуху, сказал:

— Здесь еще сообщается, что одно из ранних названий нашей обители — Замок-Сиринкс¹. Но есть и другие мнения. Например, один пришлый рыцарь по имени Драгонет де Мондрагон, ныне состоящий в свите герцогини Эсклермонды, рассказывал мне, что

¹ Сиринкс (греч.) — или Сиринга (лат.), имя одной из гамадриад, лесных нимф.

где-то здесь, под нами, только очень глубоко под землей, схоронен боевой меч великого заморского короля и священная чаша с осколком далекой звезды. Время от времени король прилетает сюда на крылатом коне. Он долго кружит над Замокком, а потом, удостоверившись, что меч и чаша на месте, улетает.

— Угу! — отозвался г-н Филин. — Мало кто его видел, но много тех, кто об этом говорит.

— Вы правы, дражайший господин Филин. Пусть так. Важно ведь другое: кто-то здесь побывал и что-то здесь оставил, вследствие чего на этом месте выросло Священное Древо, а вместе с Древом — и наш Замок. Вот так из века в век они вместе росли, росли...

— Они что же, и сейчас растут? — спросила Янка, прислушиваясь к поскрипываниям за окнами Фургона.

— Еще как растут, княгинюшка! Веточка к веточке, кирпичик к кирпичику. Они всегда расти будут.

— Угу, дай-то Бог! — провозгласил ученый секретарь.

— Но послушайте, — возразила Янка. — Здесь и так, сколько вверх ни смотри, ничего не видно. Куда же еще расти?

— Внутрь, княгинюшка, внутрь! Но и это еще не все. В той старинной книге, страничку из которой я вам прочитал, утверждается, что истинный Путь Древа, а вместе с ним и Замка, устремлен... — г-н Архивариус задрал голову вверх. — ...Устремлен к Луне, любовь которой столь велика, что колеблет воды земные и души человеческие. Исполненная красоты и волшебства, она не знает преград и светит здесь всегда и повсюду.

— Да, — шептала Янка, — я вижу ее там, где вдали светятся ветви.

— О, там великолепнейшая крона, в гуще которой раскинулся самый чудесный сад в мире. Туда лежит наш путь, хоть там он и не заканчивается.

— Угу, тогда где же он, в конце концов, заканчивается? — испугался ученый секретарь. — Уж не на Луне ли?

— Гм... Видите ли, господин Филин, любовь Луны, конечно, велика, но все же она лишь отражение любви более великой и высокой. Я имею в виду Солнце. А поскольку с Солнца все и начинается, то, следовательно, нет никакого «конца концов», как вы изволили выразиться.

— Угу, стало быть, существует только «начало начал», — не то уточнил, не то спросил г-н Филин. — Минуточку! Я сейчас же запишу вашу сентенцию сентенций на своей манжете манжет.

Этот способ выражаться всем так понравился, что теперь путники обращались друг к другу не иначе, как: «Угу, господин Архивариус Архивариусов! Не будете ли вы столь любезны и не снимете ли ваш ученый колпак ученых колпаков, а то он лезет мне прямо в клюв клювов и, к тому же, заслоняет свет светов!» — «Эх, господин Филин Филинов, мне бы ваши заботы забот! Лучше бы вы как следует заточили перья ваших перьев, дабы в моих ушах ушей наших не скрипел этот отвратительный скрип скрипов. И вдобавок вдобавков, посмотрите-ка, вы уже лягнули кляксу клякс на вашу манжету манжет». — «Угу угуев! Что же теперь делать?» — «Ах, друзья друзей, я придумала: давайте-ка мы из кляксы клякс чернилами чернил сделаем цветок цветков, тогда получится настоящая красота красот, вот увидите!» — «Что ж, рисуйте, секретарь секретарей! Княгинюшка княгинюшек правильно говорит». — «Угу угуев! Вот когда я стану великим, я, наконец наконцов, зашвырну все эти манжеты манжет на чердак чердаков, пересыпанный нафталином нафталинов, и лучше примусь писать книгу книг». — «Ха-ха-ха ха-ха-хаев! Книга книг, мой друг друзей наших, уже давным-давно пишется без вас васей, можете спросить хоть у Вялого Горбуна Вялых Горбунов». — «Угу-угу! Во-первых, вы не учитываете, что помимо Вялого Горбуна Вялых Горбунов в Природе Природ может существовать также и Резвый Горбун Резвых Горбунов, который отнюдь не разделит бы вашего мнения мнений. А во-вторых, без Филина Филинов никакая книга книг никогда не сможет написаться. Не так ли, Ваше Высочество Ваших Высочеств?» — «Что правда правд, то правда правд», — соглашалась Янка, улыбаясь улыбкой улыбок.

И пока эта беседа бесед продолжалась, Фургон Фургонов катился себе и катился вверх по спирали необъятного ствола — в сопровождении сонмов разноцветных мушек, мошек и букашек. Иногда справа или слева, грозно звеня и жужжа, пронеслась в сверкающем полете летучая комарилья, и неповоротливые жуки-бегемоты завистливо раскрывали пасти им вослед. Перед самыми окнами увивались любопытные стрекозюльки стрекозлючие, в тонких лапках они держали своих спящих стрекозеньшей стрекозьявых. Но это еще ничего! Вот кто действительно изрядно досаждал путникам, так это отползни, которые вечно не успевали вовремя отползать, так что приходилось каждый раз останавливаться, наползни, которые так и норовили наползти на крышу Фурго-

на, и поползни — эти постоянно путались под ногами и колесами и своими лысыми задами то и дело загораживали дорогу. К счастью, выручал опыт и мастерство Вялого Горбуна: очень осторожно, чтобы не наступить ни на одну древоточинку, вел он Фургон вверх по стволу Великого Древа к заветной цели, изредка пользуясь сквозными дуплами, словно туннелями. На шее у него покачивался волшебный светарь, который и ему, и его спутникам придавал мужества и уверенности. К тому же какая-то добрая душа, пожелавшая остаться незамеченной, подбросила в окно свежесрезанную веточку хриностата, которая в силу своих особых природных качеств и не без помощи Луны, конечно, значительно приумножила эти мужество и уверенность.

III

ВИСЯЧЕЕ ОЗЕРО

Чем круче вверх поднимались путники, тем светлее становилось вокруг. В вышине слабо обозначилась полуразмытая радуга; тут и там вспыхивали зарницы, северные и другие всевозможные сияния.

Странный звук заставил друзей насторожиться. Откуда-то снизу катился, быстро нарастая, глухой гул. Ствол дерева задрожал, загудел, и уже спустя минуту могучая волна музыки накрыла карабкавшийся по нему Фургон и с раскатистым эхом понеслась дальше.

— Слушайте! Слушайте! — восторженно кричал сквозь музыку г-н Архивариус. — Это старик Витрувий шагает по своим тяжелым костяным клавишам!

— Угу-гу-гу-гу-гуууу! — запел г-н Филин, и перья его, встав дыбом, затрепетали на ветру, а манжеты заплескались, как паруса. — Угу-гу-гу-гу-гуууу!..

Подгоняемый мощным потоком музыки Фургон покатился быстрее, и вскоре все кругом озарилось серебристым светом. Путники высунулись из окна Фургона и, посмотрев вверх, ахнули от восхищения.

— Висячее Озеро! — воскликнул растроганный до слез г-н Архивариус. — Столько раз слышал о нем, а вижу впервые!

Висячее Озеро лазоревым кольцом опоясывало ствол дерева и было похоже на светящееся облако. Мириады искр играли и переливались в его глубинах, и мирно паслись рыбы в его радугах.

Приятную особенность Озера составляло то, что в него можно было нырять с любой стороны — сверху, снизу, и даже пронырнуть его насквозь, что после короткого совещания и решено было сделать.

Подготовка к погружению и плаванию длилась недолго. Боксовые дверцы Фургона, которые теперь назывались «люками», плотно замкнули на засовы, окна, которые теперь назывались «иллюминаторами», тщательно задраили, кроме тыльного: кряхтя и постанывая, в него влез Вялый Горбун и разместился таким образом, что вся его задняя часть с лапами оставалась снаружи, а туловище с головой и руками — в салоне Фургона. Волшебный светарь подвесили к потолку, так что никакая качка ему была не страшна.

Намного дольше пришлось повозиться с названием, без которого не может обойтись ни один настоящий корабль. Дело это было не менее ответственное, чем подготовка к плаванию и само плавание, ибо всем известно: как назовешься, так и поплывешь. После горячих и продолжительных прений, в которых Янка участия не принимала, одним голосом «за» г-на Архивариуса против ничего не значащего голоса г-на Филина и при воздержавшемся Вялом Горбуне, корабль, наконец, получил название «Халупша Качума». В знак своего категорического несогласия Фургон сердито хлопнул дверцей, но его никто не спрашивал. А на вопрос Янки: почему в слове «Халупа» два «п», г-н Филин, записавший его в таком виде на своих манжетах, которые он отобрал специально под судовой журнал, глубокомысленно пояснил, что в таком написании название смотрится гораздо убедительнее. Янка не стала спорить, а ученый секретарь с довольным видом обложился навигационными манжетами. Быстро покончив со сложнейшими расчетами, он занес в «судовой журнал» все технические характеристики «корабля», состав команды, выбранный курс и прочие специфические атрибуты, без которых, разумеется, плавание просто не смогло бы осуществиться.

По праву старшинства экспедицию возглавил г-н Архивариус. Величественным жестом он снял с головы свой ученый колпак

и надел широкополую бермудскую треуголку. «Отдать концы! Погружение!» — весело скомандовал он, и при помощи невероятных усилий Вялого Горбуна, который при этом и в самом деле чуть было не отдал концы, «Халуппа Качума» нырнула в пучины Висячего Озера, оставив на его поверхности искрящиеся круги.

Вооруженный своим верным калейдоскопом, «капитан Архи» (так теперь на время плаванья все звали г-на Архивариуса) ловко и непринужденно оперировал футами, милями и кабельтовыми, как и положено настоящему морскому волку. Время от времени он отдавал четкие распоряжения «лоцману Филу» (так теперь все звали г-на Филина) и умело руководил работой «машинного отделения» (так теперь все называли Вялого Горбуна). Это последнее исправно работало ластами, тужилось и пыхтело и даже сверх того — посредством учащенного дыхания подавало в отсеки корабля специальную кислородную массу, от живительного воздействия которой вся внутренняя обшивка «Халуппы Качума» покрылась бурыми водорослями, мелкими ракушками, озерной капустой и еще какими-то странными горбатенькими цветочками.

Полная трудов и однообразия жизнь моряков скрашивалась присутствием единственной пассажирки, каковую должна была себя чувствовать Янка. Тщетно вся команда просила ее празднично проводить время в шезлонге, которого, правда, на борту не оказалось, или со скучающим видом полистать какой-нибудь любовный роман, или постоянно совать свой нос, куда не следует, и всем докучать глупыми вопросами, а еще лучше — дурацкими советами, — иными словами, соответствовать обычному стилю поведения мающего от скуки пассажира. Напротив, Янка никак не желала оставаться в стороне от кипящей работы и маяться бездельем, да к тому же еще и незаслуженным. Она заявила, что ее место на камбузе, и для начала с помощью волшебного светаря, который оказался не хуже любого примуса, сварила отменный кофе с перцем и корицей, затем набила курительную трубку капитана Архи крепкой озерной травой, чтобы тому лучше виделось и слышалось; покончив с трубкой, она подвесила под потолком крошечный сапфировый сосуд с морским ладаном, некогда добытым со дна Киян-моря, который «обладает силой могучей и силе той нет конца». В довершение Янка подмела пол, а по углам зажгла огни Святого Эльма.

— Где мы находимся, лоцман? — мужественно спросил капитан Архи.

— Где-то в районе Ботанического залива, кэп!
— Почему так приблизительно, Фил? Вы прокладывали курс?
— Так точно, кэп, прокладывал!
— С приборами сверяли?
— Сверял, кэп!
— А в каких единицах считали, Фил? В немецких милях или в английских?
— Я считал в манжетах, кэп!
— В манжетах?
— Так точно, в манжетах, кэп!
— Гм... — капитан Архи был явно недоволен; нервно протирая носовым платком перстень с крупным аквамаринном, плотно насаженный на безымянный палец левой руки, он осторожно спросил: — А сколько футов под килем?
— Как всегда, семь, кэп!
— All right! Так держать!
— Угу, кэп, держу...
— Держите, и крепче.
— Крепче и не бывает, кэп!
— Послушайте, Фил, вы меня совсем закидали своими кэпками!

Но лоцман Фил ничего не ответил, он с головой погрузился в навигационные манжеты, и, казалось, даже девятый вал не способен был выбить его оттуда. Махнув на него рукой, капитан Архи любовно погладил калейдоскоп, направленный в один из иллюминаторов, и обратился к прекрасной пассажирке:

— Не желаете ли взглянуть в сей замечательный прибор, княгинюшка?

И капитан с удовольствием запыхтел своей трубкой, окутывая себя сизым дымом. Янка прильнула к окуляру калейдоскопа и увидела, что их корабль держит курс точно по лунной дорожке, которая пронизала Висячее Озеро насквозь. Далеко вверху Луна рассыпалась на озерной поверхности сверкающими осколками.

— Бьюсь об закладку в любом томе Морской Энциклопедии, — продолжал капитан Архи, — никогда и никому еще не доводилось предпринимать такого грандиозного плаванья.

— Да, вы правы, капитан, — соглашалась Янка, не отрываясь от калейдоскопа. — Во всяком случае, я еще не слышала, чтобы кто-нибудь плавал в Фургоне.

— Угу, правильно будет не «плавал», а «ходил», — поправил лоцман Фил.

— Это уж точно, — мечтательно уставившись куда-то в потолок, промолвил капитан Архи. — А ведь на чем только не ходили по морям и океанам. В ванне через Ла-Манш ходили? Ходили. В кровати на понтонах ходили? Ходили...

— Угу, даже в гробу ходили, я сам в газетах читал.

— Во-о-от, и в гробу ходили.

Капитан Архи немного помолчал, а затем подвел итог:

— Но чтобы — в Фургоне, да еще и под водой! Нет, такого еще не бывало.

— Ой, что это? — глядя в калейдоскоп, Янка увидела прямо перед собой, лицом к лицу, пурпурную рыбку с крохотной золотой короной на голове. Плавно пошевеливая розовыми плавниками, рыбка подмигивала и беззвучно шевелила губами, по которым можно было легко прочитать фразу: «Я тебя люблю».

— И я тебя люблю, — тихо отвечала Янка.

— Угу, спасибо, — машинально ответил лоцман Фил, сосредоточенно производя какие-то подсчеты, при этом гремя линейками и циркулем.

Капитан Архи, который курил уже вторую или третью трубку, был спокоен как никогда. Полуприкрыв глаза, он пускал дым упругими кольцами, которые ловко завязывались между собой морскими узлами, благодаря чему лоцману Филу удалось без особых сложностей определить скорость движения «Халуппы Качума». И эта скорость, по его подсчетам, составила столько узлов в час, что еще немного — и движение стало бы слишком узловатым. После такого неутешительного вывода с лоцманом Филом едва не произошло обмиралтейство. По этой причине, а также из боязни, что при таких нечеловеческих перегрузках «машинное отделение» в лице Вялого Горбуна выйдет из строя, пришлось существенно сбавить обороты и напоить оное горячим шоколадом и накормить оное смесью овсяных хлопьев с курагой, изюмом и орехами, после чего оное вытворяло просто чудеса. Таким образом, не прошло и часа, как «корабль» почти достиг противоположной поверхности Висячего Озера. Наступил самый ответственный момент — всплытие, для осуществления которого необходимы были большая осторожность и холодный расчет капитана, и слаженные действия всей команды.

— Всем занять свои места и приготовиться к всплытию! — скомандовал капитан Архи.

Экипаж притих. Лоцман Фил и Янка припали к иллюминаторам, а «машинное отделение» сильно напрягло свою заднюю часть, благодаря чему удалось значительно сбавить скорость, и уже после этого маневра мерно заработали ласты. Водная пелена перед глазами путников разорвалась, в иллюминаторы хлынул яркий лунный свет. Озерная гладь бурно пенилась под ластами Вялого Горбуна. Уже через несколько мгновений «Халуппа Качума» спокойно пришвартовалась к низко склонившимся над водой густым ветвям.

— Свистать всех наверх! — отдал последний свой приказ капитан Архи, снова становясь г-ном Архивариусом.

И все радостно засвистали, кто как умел. Круче всех, в четыре пальца, свистало «машинное отделение» — из него валил густой пар.

IV

САД И ЕГО СТАРЫЙ САДОВНИК

Выбравшись из «корабля», который снова стал прежним Фургоном, путники в первую очередь освободили Вялого Горбуна от механизации личности, а затем общими усилиями вытащили Фургон на сухое место.

Теперь можно было перевести дух и осмотреться. Над головой, насколько хватало взора, простиралась крона дерева, похожая на тропический остров. Без особого желания г-н Архивариус вместе со своими капитанскими обязанностями снял с головы бермудскую треуголку. Восхищенный окружающими красотами, он даже не заметил, что где-то в пучинах этой бермудской треуголки сгинул его роскошный парик с буклями. Отовсюду доносились звуки, — не то разноязычный говор, не то многоголосое пение. Звуки то приближались, то отдалялись, будто их уносило внезапным порывом ветра, и ветер этот оставлял после себя остужающий шум в ушах.

И путники, и всё вокруг было озарено сиянием Луны. Казалось, оно растворило крышу Замка, оставив от нее лишь полупрозрачные контуры, а сама Луна покоилась теперь прямо в густых ветвях кроны.

— Добро пожаловать в наш Сад, — приветливо сказал кто-то.

Путники подняли головы: на покачивающейся ветке, похожий на большую птицу, сидел знаменитый Старый Садовник. Янке он сразу понравился — прежде всего, юношеским задором, которым светились его зеленые глаза, несмотря на почтенный возраст и сложную топографию морщин на его лице, но особенно — благородством и простотой манер. Очевидно, недаром в Замке поговаривали, что будто бы на самом деле Старый Садовник — потомок древних сидонских царей и когда-то даже водил дружбу с самим Филиппычем (так обычно по-приятельски называл Александра Македонского славный Генералиссимус Полковник Феропонтов), каковое обстоятельство, между прочим, вызывало (причем, одновременно) в обоих желудочках великого сердца Генералиссимуса прогрессирующую, но совершенно не стабильную стенокардию. И вообще к садоводству он относился с некоторой предубежденностью, особенно после своего печально известного Гиацинтового похода. Впрочем, Генералиссимус все отрицал и, если и заходил такой разговор, по-армейски прямо заявлял, что знать не знает никакого Садовника и в садах ни бельмеса не понимает. А из всех парков предпочитает свой ружейный парк.

Ну а Старый Садовник на все эти слухи смотрел из-под своих мшистых бровей довольно хмуро и, покачивая головой, иронично молвил: «Э-хе-хе, все это сплетни, байки, трезвон и тра-ля-ля!» Что тут скажешь? Скромность — одно из неотъемлемых качеств натур истинно королевских. И, если честно, уже сам по себе облик Старого Садовника и столь же незаурядный образ его жизни невольно вызывали в памяти такие же незаурядные истории. Например, о садовнике Абдолониме, который, как известно, одинаково хорошо управлялся как с растительным, так и с Сидонским царством, между которыми граница была, очевидно, размыта гораздо в большей степени, чем это кажется сегодня...

Итак, на ветке сидел Старый Садовник. Одет он был в куртку и штаны густого травяного цвета, — особо любимого лесными эльфами и лешими, — искусно расшитые растительным орнаментом; широченная шляпа, украшенная мшаным агатом, покрывала голову. «Шляпа — понятие растяжимое», — любил говаривать Старый Садовник, и то не были пустые слова: частенько в ней ночевали самые настоящие Придуманные Птицы из разряда перелетных. Перелетали они из одного конца Сада в другой, — как правило, с запада на восток, — и обратно. И так — каждые три

дня. И если они перелетали большими стаями, то и Шляпа превращалась, соответственно, из гнезда в целое гнездовье. Тогда уж Старому Садовнику приходилось нелегко. В относительно спокойные времена Шляпа подвешивалась между ветвей, наподобие гамака, и сны в ней снились наиприятнейшие.

А еще она обладала прекрасными мореходными качествами. Бывало, чтобы развеяться, Старый Садовник плавал в ней по верхним водам Всячего Озера вокруг Древа. Отложив весло в сторону, он любил лечь на спину, на самое дно своей Шляпы, которая продолжала плавание самостоятельно, и мог лежать так долго-предолго, устремив зеленые глаза вверх. Медленно проплывали над ним разлапистые ветви, и порхали Придуманные Птицы, которые оставляли свои укрытия, чтобы порезвиться в лунном свете. С неусыпным вниманием следил он за сложными траекториями их полетов и, подобно северному Дедалу, распознавал в них полеты человеческих мыслей. Зоркий глаз его отыскивал затаившиеся в зарослях Придуманные Цветы, а многоопытный нос точно определял значение и смысл того или иного запаха.

И в этом мире свободных полетов и прекрасных ароматов совершенно излишни были все те странные и грубые приспособления, которые придумали люди, дабы, максимально приблизив к себе Природу, приспособить ее для своего удовольствия. Этому Саду неведомы были ни силки, ни сети, ни кольца, не говоря уж о клетках, пускай даже золотых, или о серинетах для нудного обучения птиц пению. В зарослях его странник не обнаружил бы ни садовых ножниц, ни огромных деревянных кадок, ни глиняных вазонов, ни, тем более, хрустальных ваз. Все здесь цвело, летало и пело, как ему вздумается и где заблагорассудится. «Одни разводят свои сады для развлечений, — размышлял Старый Садовник, лежа в плавно дрейфующей Шляпе, — другие для власти над Вселенной, а у моего Сада — иная судьба». Пусть кому-то и покажется странным, но именно Шляпа Старого Садовника не только самым естественным образом вплеталась в картину окружающего его мира, но и существенно дополняла ее.

Однако, как уже было замечено, сейчас Шляпа обрамляла голову своего хозяина, а в широких шляпных полях жила маленькая милая журчалка, которая нежно журчала. На ее проникновенные призывы слетелось еще несколько журчалок, и все вместе они устроили такое журчание, что путников охватила нестер-

пимая жажда: во рту пересохло, лица осунулись, как после долгого путешествия по раскаленной безводной пустыне. Видя такое дело, Старый Садовник заботливо предложил друзьям свою лейку, висевшую у него на поясе, и тут же на них хлынули освежающие потоки эликсира из корня петраркария, настоящего на целебных лауралиях.

— Ну как? — спросил Старый Садовник, убирая лейку. — Вам лучше?

— Великолепно! — воскликнул г-н Архивариус, выкручивая мокрый ученый колпак. — Я помолодел лет этак на двадцать.

— Такое ощущение, — в свой черед сказала Янка, — будто меня облили живой и мертвой водой одновременно.

— Угу, как в сказке, — подтвердил г-н Филин, отряхивая манжеты с расплывшимися записями; мокрые перья облепили его писательское тельце. — Пером не описать...

— Ого! — обрадовался Старый Садовник, заметив ученого секретаря. — Так вы уже придумали свою птицу? И как же она зовется?

— Нет-нет, сударь! — отвечал г-н Архивариус вместо потрясенного г-на Филина, который был так возмущен словами Старого Садовника, что потерял дар человеческой речи. — Увы, это всего лишь наш ученый секретарь господин Филин.

— Угу! Что значат эти ваши «увы» и «всего лишь»? — снова обрел дар человеческой речи г-н Филин.

— Ровным счетом ничего, — огрызнулся г-н Архивариус и сразу продолжал: — А это — Ее Высочество принцесса Янка, которую мы все имеем честь сопровождать.

— Весьма польщен, — шаркнув ножкой, сказал Старый Садовник. — Рад присоединиться.

— А это — Вялый Горбун.

— Если вялый, надо чаще поливать, — не замедлил с дельным советом Старый Садовник. — И удобрять тоже.

— А я — Архивариус, вы, конечно, обо мне слышали...

— Очень рад! Прекрасное птичье имя.

— Угу! — ехидно ухмыльнулся г-н Филин.

— А это что за клетка на колесах? — нахмурился Старый Садовник, и его словно затянуло грозowymi тучами.

— Это не клетка, сударь, — поспешил объяснить г-н Архивариус. — Это наш Фургон. Мы на нем, так сказать, сюда приплыли.

— В Шляпе плавать удобнее, — с важным видом заметил Старый Садовник. — Ну что ж, раз уж вы доплыли — вы мои гости. Слетайтесь, плодитесь, расцветайте... то есть я хотел сказать: располагайтесь, сушитесь, отдыхайте.

Путники не стали дожидаться повторного приглашения: они развесили на ветвях мокрые после эликсирного душа одежды и, закутавшись в дорожные пледы, уселись прямо на пологий ствол Древа.

— И куда же вы держите путь, позвольте узнать? — спросил Старый Садовник.

— Угу, куда глаза глядят.

— В каком-то смысле он прав, — согласился с ученым секретарем г-н Архивариус. — А вообще-то нас ждет герцогиня Эскермонда.

— Вот как!

— А к вам мы пробираемся издалека: от самых корней.

— Ну, это мне уже известно, — хитро захихикал Старый Садовник. — Я тут за вами подглядывал.

— Подглядывали? — Янка с опаской посмотрела вниз — туда, где сверкала в лунном свете гладь Висячего Озера. — Каким же это образом?

— А у меня есть перископ Уоддингтона. Прекрасный экземпляр...

Старый Садовник не успел договорить, из его бороды, как из рассветного леса, выпорхнула какая-то крошечная птичка и, опирав круг, уселась Янке на плечо, у самой щеки.

— Ах!

— Не пугайтесь, дитя мое. Это млеюшка. Существо ласковое и безобидное.

И действительно, млеюшка тихо млела у порозовевшей щечки принцессы, млела самозабвенно, можно сказать даже, фанатично.

— Млей, моя крошка, — шептала Янка. — Млей, сколько душа пожелает.

Пока млеюшка млела, г-н Филин, который приводил в порядок свои отсыревшие манжеты, с изумлением обнаружил, что после эликсирного душа все его записи непостижимым образом оказались мастерски отредактированы и переписаны по всем

правилам каллиграфии, но главное — все они имели вид классических терцин с парно чередующимися мужскими и женскими рифмами. Вот какова была всепроницающая сила корня петраркария!

— Стало быть, вы еще не придумали ни своей птицы, ни своего цветка, — задумчиво произнес Старый Садовник. — Должен заметить, дело это очень ответственное. Уж поверьте моему опыту, у здешних птиц, например, вы не найдете ни одного рудиментарного зуба, о которых мне в свое время все уши прожужжал Сент-Илер.

— Угу! Наверное, какой-нибудь придуманный жук?

— Кто? Сент-Илер?.. Гм... — смутился Старый Садовник. — Ну, возможно, иной раз он и бывал, как говорят в народе, «хитрым жуком», но в целом я всегда знал его как господина, до мозга костей преданного науке. Правда, такая преданность бывает несколько утомительной для других ученых мужей, но тут уж ничего не поделаешь. А что касается дивных пернатых, живущих в нашем саду, то в них вообще не может быть ничего рудиментарного. Разве что считать рудиментом саму способность летать.

— А что вы скажете о полулунной складочке в человеческом глазу? — вопрошал г-н Архивариус, всем своим видом демонстрируя сугубо профессиональную заинтересованность.

— Конечно, сударь! Здесь-то с Сент-Илером я согласен, но только в том, что касается ее существования в принципе. Однако я всегда был против отнесения этой складочки к рудименту так называемой мигательной перепонки... Нет, друзья мои, разумеется, каждый может думать, как ему заблагорассудится. Я же точно знаю, что эта складочка досталась нам в наследство от периодов лунного цикла: либо от восходящей Луны, либо от нисходящей...

— Ой, что это там за домик такой красивый? — спросила Янка, и все посмотрели вверх, где под одной из ветвей слегка покачивался подвешенный к ней на золоченом шнурке маленький домик.

Домик и в самом деле был пригож: высокая остроконечная крыша с множеством оконцев в переплете, веранда, увитая тоненькими цепочками с золотыми ключиками, четыре двери с крыльечками. На дверях и окнах висели золотые замки различных форм и секретов. Сам домик медленно поворачивался на шнурке вокруг своей оси, будто подталкиваемый ветерком.

— Угу! Я бы и сам с удовольствием в таком домике пожил! — кивая ушастой головой, заметил г-н Филин.

Но, как оказалось, в домике том уже обитает одна необычная птица — скважень замковый. Кто именно ее придумал, Старый Садовник не помнит — так давно это было, — но ежели хорошенько покопаться в его «Большом Гортензии», то отыскать ее родословную не составит особого труда. К слову сказать, никто точно не знает, на каком слоге в слове «замковый» следует ставить ударение. По сей день об этом ведутся ученые диспуты, и, по-видимому, они не затихнут уже никогда, — ведь даже в «Большом Гортензии» в слове «замковый» ударение не указано! Зато сам скважень справедливо рассудил, что без замочных скважин ему не прожить и попросил Старого Садовника выстроить для него домик, а на дверях и окнах, и вообще везде, где только можно, повесить побольше замков. И теперь своим длинным заковыристым клювом скважень открывает их и закрывает, открывает и закрывает — и так по сто раз на день, к своему огромному удовольствию.

— Выходит, вы сами построили этот восхитительный домик? — спросила Янка.

— Не совсем, сударыня. Мне помогал мистер Уильям Шейде, мой друг. Он знаменитый архитектор. Может, слышали? Нет?.. Ну, это понятно: ведь мистер Шейде строит исключительно птичьи дома. Мы с ним частенько обмениваемся различными идеями, всякими придумками. Вот, кстати, вчера получил от него письмо...

— Угу? — подхватился явно заинтересованный г-н Филин. — Значит, письма все-таки доходят?

— Правильнее будет сказать, что они *долетают*, а не *доходят*, — сказал Старый Садовник.

Но ученый секретарь пропустил это существенное уточнение мимо ушей и уже принялся гневно обличать нерадивых почтарей с их вечно дырявыми почтаниками и обветшалыми почтоватыми каретами. Однако Старый Садовник его не дослушал.

— Зачем мне ваши почтари? — спросил он. — Обычно я пользуюсь услугами почтовых голубей: они меня полностью устраивают.

— Угу, да что вы говорите! — изумился г-н Филин. — И кто же придумал этих чудесных птиц?

Старый Садовник был откровенно задет за живое этим вопросом, а г-н Архивариус покрутил пальцем у виска.

— Должен заметить, гм-гм... почтовые голуби придуманы очень давно, — медленно начал Старый Садовник. — Так сказать, в незапамятные времена. Ни нашего Сада, ни Замка, ни нас с вами тогда еще...

Будто о чем-то вспомнив, он вытащил из-за пояса рожок и затрубил в него, да так громко, что по Саду пробежала зеленая улыбочка.

— Ну вот! — проворчал он, — опять куда-то запропастился... уникум несчастный.

— Какой еще *умник*? — не расслышал г-н Филин.

— Этому дикарю в лесу дремучем жить, а не в ухоженном Саду!

В ту же минуту Дерево затряслось, Сад закачался, и на ближайшую ветвь, чуть не сломав ее, с шумом взгромоздилась птица Сторож. У нее было сто рож и столько же шей. Самая короткая шея отличалась самой большой толщиной и, наоборот, самая длинная шея была самой тонкой. Другими словами, толщина шеи была обратно пропорциональна ее длине. На первый взгляд — забавно, конечно, но если разобраться, то в этом своеобразном единстве противоположностей не было ничего из ряда вон выходящего: достаточно посмотреть на долговязого г-на Архивариуса и кругленького, упитанного г-на Филина, чтобы обнаружить ту же закономерность: *худое* и *толстое* всегда тяготеют друг к другу. А то, что у этой птицы аж целых сто рож, думала Янка, так и в этом тоже ничего особенного нет. Еще Сказочник Адуляр когда-то рассказывал ей разные занимательные истории о страшной Гидре, у которой было всего-то девять голов, и о чудовище Тифоне с сотней змеиных голов. А еще жил когда-то на земле многоголовый дракон Уранбад и сторукий великан Бриарей. Конечно, все они не были птицами, как эта птица Сторож, однако сути это не меняло.

И все же одно обстоятельство не могло не удивлять: у птицы Сторож все рожи были совершенно разными — и по сути, и по выражению. Да-да, ни много, ни мало — целых сто рож, и — ничего общего, ни капли сходства! И это несмотря на то, что они, можно сказать, являлись ближайшими (ближе просто не бывает!) родственниками.

— Опять ты не на месте! — строго выговаривал Старый Садовник. — Ну нельзя же быть таким рассеянным!

Он повернулся к путникам и как бы извиняющимся тоном сказал:

— Полюбуйтесь, друзья мои! Вот вам пример неадекватной реакции.

Действительно, птица Сторож восприняла слова Старого Садовника весьма необычным образом: все сто рож ее хаотично вертелись в разные стороны и при этом посвистывали, пускали слюни, гудели, хохотали, обиженно поджимали губы, фыркали, кривились, жевали, шурились, техкали, ухмылялись, никли челом, принюхивались, выпучивали зенки, стыдливо краснели, подмигивали, влюблялись в Янку, вежливо раскланивались, погружались в глубокие раздумья, целовались по-братски с Фургоном, мечтали о светлом будущем, складывали и вычитали в уме, вспоминали беззаботное детство, медитировали и творили еще много всякой всячины.

— Эх, чучело ты садовое! — раздосадовался Старый Садовник. — Вот уж погоди. Придет маркиз де Сад — он тебя быстро посадит на место!

— Маркиз де Сад? — переспросил г-н Архивариус. — Я не ослышался?

— Да, он тут у нас иногда занимается поливом, прополкой, скрещиванием, исследует также законы аэродинамики, а потом пишет труды по садизму и птицелогии. И ежели хоть кто-нибудь, — а таковым чаще всего является птица Сторож, — ему мешает и все делает наоборот, маркиз спуску не дает. Не то что я, добренький... Эх, знали бы вы, как это пугало мне досаждают!

— Бестолковщина, — поставил диагноз г-н Филин. — Может, сто рож — это и хорошо, но одна все-таки лучше.

А г-н Архивариус добавил со свойственным ему изящным наукообразием:

— Хаос. Первородный хаос.

— Кстати, о первородстве! — Старый Садовник даже задохнулся от обиды. — Попадись мне только папашка этого первородного хаоса! Пускай бы сам и возился со своим детищем.

— И кто же у нас папашка? — спросил г-н Филин и приготовился запечатлеть ответ на манжете.

— Да, кто отец этого достойного отрока? — подхватил г-н Архивариус.

Старый Садовник обреченно вздохнул.

— Птицу Сторож, — сказал он, — придумал некто Котомыш, отбывающий теперь наказание в каком-то ЖЭКе.

— Ах, так вот чьи это фантазмы! — воскликнул г-н Архивариус. — Ха-ха! Как же, как же! Уж мы-то знаем, на что способен сей субъект.

— Угу, тот еще сюрреалист. В сравнении с Котомышем Сальвадор Дали тает вдали, — добавил г-н Филин.

— Что вы хотите этим сказать, дражайший?

— Угу, я о возможности построения сюрреализма в отдельно взятом ЖЭКе.

Тут друзья заметили, что их тайком подслушивает одна из рож, а другая, с черной повязкой на глазу и в пожеванной соседней рожей пиратской треуголке на макушке, угрожающе поглядывает на г-на Архивариуса, как бы давая понять, что тому не следовало бы так много знать, а тем более говорить. И это в то время, как совсем близко покачивалась рожка, черты которой, казалось, были скопированы прямо с полотен Боттичелли!

— Но как же они, такие разные, существуют вместе? — спросила Янка.

— Обыкновенно, дитя мое, — отвечал Старый Садовник. — Представьте себе, что туловище этой птицы есть как бы изначальное событие, как бы основание, или первопричина. Отсюда следует, что все сто рож — это нечто вроде последствий. И хотя последствия различны, деваться им друг от друга все равно некуда, поскольку первопричина у всех — одна.

Случайно заметив одну рожу с большой соской в зубах и полной прострацией в глазах, Янка обратилась к Старому Садовнику с такими словами:

— Но мне кажется, уважаемый господин Садовник, вы слишком преувеличиваете ваши неприятности. По-моему, эта птица не так уж и плоха.

— Ах, княгинюшка, — сказал г-н Архивариус. — Скорее, она не плоха и не хороша. Насколько я могу судить, в ней отрицательное уравновешивается положительным. Типичные Лаврентьевы штучки!

— Угу! Угу! — закричал г-н Филин. — А где же у нее крылья? Крылья-то где?!

Путники изумленно посмотрели на птицу Сторож, а Вялый Горбун незамедлительно заплакал, но сейчас всем было не до него.

— Угу! Как же оно летает?

— А! — махнул рукой Старый Садовник. — Тут все летают. Вот и Сторож тоже летает, только очень редко и очень низко... И очень недалеко, потому что в разные стороны. Понимаете, слишком уж много рож — всё никак не договорятся между собой.

— Такое амбициозное существо? — изумился г-н Архивариус. — Ну хорошо, а если посмотреть на проблему с философской точки зрения?

— Извольте, можно и с философской. Если бы не общее туловище, наша птица Сторож из-за своей исключительной рассеянности рассеялась бы по всему Саду, поскольку каждая из рож считает свою глупую гримасу абсолютным выражением истины и, следовательно, тянет в свою сторону, так что не только я, но вообще ни один садовник в мире не собрал бы всю эту аморфную пернатую субстанцию в единое целое.

— Угу! — с многозначительным видом подтвердила одна из рож и нагло подмигнула г-ну Филину, чем повергла его в глубокую задумчивость.

— Да, друзья мои! Обо всем этом и о многом другом вы можете как-нибудь на досуге прочитать в моем орнитологическом трактате «Птицы как состояние души».

— Блестящий труд! — обрадовался г-н Архивариус. — Один экземпляр хранится у меня в Архиве. Можете сами убедиться.

С этими словами он извлек из внутреннего кармана своего камзола внушительный том *in folio*¹ и открыл его на титульной странице.

— Прошу вас, господин Садовник, окажите честь, украсьте книгу авторским автографом.

¹ В переводе с латинского буквально — «в лист» — крупный формат бумаги чаще всего старинных изданий в половину бумажного листа, получаемый фальцовкой в один сгиб (*лат.*).

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ СТАРОГО САДОВНИКА

Пока Старый Садовник старательно выводил карандашом большие буквы на слегка позеленевшей, как крыло капустницы, бумаге, г-н Архивариус продолжал воспевать достоинства этого ученейшего трактата. Под конец своей впечатляющей речи он произнес:

— Сказать по чести, я до сих пор не пойму, как же вам все-таки удалось так точно, так логично и аргументировано построить столь стройную классификацию рож, в которых уже изначально все неточно, нелогично и произвольно! Просто уму непостижимо...

— А вы читайте внимательно раздел «О птице Сторож», — ответил Старый Садовник. — Вряд ли я могу еще что-нибудь к этому добавить.

— Ага! Одну минуточку...

Г-н Архивариус принялся поспешно перелистывать страницы, которые отвечали приятным щебетаньем.

— Вот! Нашел!.. О, вы только послушайте, княгинюшка! И вы, господин Филин, оставьте ненадолго ваши перо и манжеты. Слушайте все, ибо это — новое слово в науке, клянусь своим ученым колпаком!

Вся компания расселась поудобней на ветвях, а г-н Филин — на крыше Фургона, и г-н Архивариус начал читать вслух, к немалому удовольствию самого автора:

«РАЗДЕЛ XXVII. О ПТИЦЕ СТОРОЖ

...Однако, невзирая на кажущуюся разобщенность и внешнюю несхожесть вышеозначенных *рож*, все они при более глубоком изучении обнаруживают некие неявно проявленные черты и детали, признаки и качества, совокупное сосуществование коих дает нам возможность и даже научное право говорить о некоей системе.

Система сия, действуя во множестве отклонений и противоречий, постоянно дает о себе знать как на пластическом, так и на психическом плане.

Исходя из сказанного, мы можем выделить три основных вида рож: “якобы лица”, “физиономии” и “собственно рожи”.

К первому виду “якобы лица” относятся:

якобы лицо приятное
якобы лицо притягательное
якобы лицо милое
якобы лицо красивое.

Сюда же, по нашему мнению, относится особый подвид “квази-лики”:

нежный квази-лик
благородный квази-лик
прекрасный квази-лик
печальный квази-лик
скорбный квази-лик.

Второй вид включает в себя так называемые “физиономии”, кои различаются между собой по эмоционально-нравственному, физиологическому, возрастному и цветовому признакам. Надо заметить, что это наиболее многочисленный и распространенный вид, и он составляет как бы фоновую и, одновременно, модальную основу птицы *Сторож*. Итак, “физиономии” различаются:

а) по эмоционально-нравственному признаку:

застенчивая физиономия
смущенная физиономия
веселая физиономия
смешная физиономия
радостная
забавная
простецкая
душевная
мужественная
спокойная
интеллигентная
благообразная

*скрытная
безразличная
непроницаемая физиономия
грустная физиономия
вопросительная физиономия,*

а также физиономии: *гневная, недоуменная и тоскливая;*

б) по физиологическому признаку встречаются:

*физиономия мясистая
физиономия жирная
физиономия толстая
физиономия круглая
физиономия квадратичная
физиономия прыщавая
физиономия анемичная,*

а также сюда можно отнести: *вытянутую, постную, морщинистую, болезненную, холеную, конопатую и бритую физиономии;*

в) по возрастному признаку имеем:

детскую, или младенческую, юную, или пубертатную и старческую, или дряхлую физиономии;

г) по цветовому признаку ряд достаточно скудный:

*физиономия румяная
физиономия бледная
синюшная физиономия
желтушная физиономия
зеленушная физиономия
физиономия красная (также и в смысле красивая)
разукрашенная физиономия (она же универсальная).*

Затем следует третий вид “*собственно рожги*”, в коем выражены с наибольшей яркостью и определенностью особые черты, лишь частично свойственные предыдущим двум видам:

подозрительная рожа
отталкивающая рожа
угрюмая рожа
глупая рожа
идиотская рожа
жуликоватая рожа
заковыристая рожа
сметливая рожа
сопливая рожа
мужицкая рожа
плаксивая рожа
рожа заросшая
рожа упрямая
рожа примитивная
рожа шkodливая
шутовская рожа.

В третьем виде также имеется специфический подвид, называемый “харями”. Их всего три:

воровская харя
глумливая харя
плебейская харя.

Немалые сложности возникают с классификацией тех *рож*, кои остались не охваченными тремя первыми видами, в силу своей ментальности, хотя при этом они отнюдь не являются маргинальными по отношению к мейнстриму. Посему нам пришлось выделить их в две отдельные категории — “морды” и “рыла”.

К так называемым “мордам” относятся: *ужасная морда*, *козья морда*, *кровожадная морда*, *набитая*, *наглая*, *похабная*, *примитивная*, *хамская*, *гламурная*, *кострубатая морда* и *морда кирпичом*, а к категории “рыл”: *недоброжелательное рыло*, *перекошенное рыло*, *волосатое рыло*, *пьяное рыло* и *рыло тупорылое*.

Необходимо уточнить, что в категории “морды” имеются еще два антагонистических ответвления, первое из которых несет достаточно сильный положительный заряд и называется “мордашками”:

милая мордашка и очаровательная мордашка.

Для уяснения второго ответвления необходимо иметь серьезную психологическую подготовку и твердую шкалу нравственных и духовных ценностей, ибо второе ответвление чревато грубой и низменной энергией, способной при известных условиях вывести всякое “я” из себя и, тем самым, нарушить гуманитарное равновесие, к чему, собственно, это второе ответвление постоянно и стремится. Итак, “мордяки”. К ним примыкают:

*гнусная мордяка
отталкивающая мордяка
скверная мордяка
собственно мордяка и гипермордяка...»*

Зачитывая все эти бесконечные списки «рож», г-н Архивариус загибал пальцы сначала одной руки, потом — второй. Затем, сбросив туфли с серебряными пряжками, он загибал пальцы поочередно обеих ног. Он так увлекся, что когда закончились пальцы на ногах, довольно бесцеремонно принялся за пальцы Вялого Горбуна, а когда и тот, в свой черед, разулся, обнажив свои нижние конечности, кривые и натруженные, с корявыми корешками пальцев, на которых поблескивали, как после дорогого педикюра, длиннющие ногти, то от изумления чуть не сбился со счета. Далее в ход пошли коготки г-на Филина, который, не доверяя г-ну Архивариусу, вел свой собственный счет, ставя аккуратные палочки на арифметических манжетах. Вслед за ученым секретарем пришла очередь Старого Садовника, а за ним, проявив уже личную инициативу, в дело включилась и Янка, и это притом, что ни у кого и в мыслях не было сделать ей настолько неподобающее ее сану предложение. Вялый Горбун даже прослезился от умиления, видя маленькие босые ножки монаршей особы. Увы, пальцев все равно не хватало, поэтому г-н Архивариус принялся загибать их по второму кругу...

Закончил он читать и считать вконец обессиленный, словно ему самому пришлось собирать по всему Саду рожки этого невообразимого многорота, многожора, многогляда, и многолѐта и т. п. в единое целое. Публика потрясенно молчала.

— Итого, ровно сто рож, — подвел он итог, утирая ученым колпаком пот со лба.

- Сто одна, — поправил г-н Филин.
- Сто. Тютелька в тютелюку.
- Угу! А я говорю: сто одна!
- Что-то вы совсем распустились, дражайший.
- Пока вы читали, я посчитал все рожи, — пояснил г-н Филин.

лин.

— Эх, молодой человек! — г-н Архивариус с чувством уязвленного достоинства зашвырнул свой ученый колпак куда-то на ветви.

— Угу, опять оскорбляете. Я есть *avis sapiens*¹, а не «молодой человек»!

— Не будем ссориться, друзья мои, — вмешался Старый Садовник. — Вы оба правы. И вот почему: дело в том, что у птицы Сторож одна рожа действительно как бы лишняя. В моей классификации она относится к виду «физиономий» и отличается по первому, эмоционально-нравственному, признаку. Это — «рожа скрытная». Видите ли, она настолько «скрытная», что обычно ее совсем не видно, и чтобы ее обнаружить, нужно запастись изрядным терпением и, как говорится, ловить момент. Так что тут нет никакой ошибки. Не забывайте, ведь птица Сторож — творение Котомыша Лаврентия Печерского, а он именно так все и задумал.

— Да-с, в подобных делах Котомыш непревзойденный мастер, — согласился г-н Архивариус. — *Congnosco stilum!* Узнаю стиль, как говорили классики.

— Кстати, друзья мои, обратите внимание, — продолжал Старый Садовник. — Ведь не случайно же «шутовская рожа» у птицы имеет явное автопортретное сходство с Лаврентием Печерским. Вот эта, крайняя слева, видите?

Рожа, привлекающая к себе всеобщее внимание, была покрыта ключьями рыжей шерсти. Она все время крутилась и вертелась, урчала, попискивала, шевелила усами и подловато подмигивала, явно намекая на что-то циничное.

— Угу! Поразительное сходство!.. Вот поганец!

— Ну, это вы хватили лишнего, господин Филин, — улыбнулся Старый Садовник.

Некоторое время друзья и птица Сторож внимательно изучали друг друга.

— Итак, княгинюшка, что вы теперь думаете об этом экземпляре? — спросил г-н Архивариус.

¹ Птица разумная (*лат.*).

— Я думаю, что каждый найдет в нем то, что ищет.

— Угу! Но все-таки какое сходство, — не унимался ученый секретарь, изучая «шутовскую рожу». — Просто вылитый Котомыш!

— Сходство? — словно очнулся от своих мыслей Старый Садовник. — Кстати, о сходстве. Не желаете ли сходить в глубь Сада?

Предложение было встречено с энтузиазмом, тем более что Вялый Горбун уже нетерпеливо, но медленно, постукивал по стволу своим длинным башмаком. В ту же минуту, словно подтверждая заявление Старого Садовника о том, что здесь все летают, на голову г-на Архивариуса прилетел его ученый колпак.

— Но есть одно условие, — предупреждая поднял руку Старый Садовник.

— Какое же? — осведомился г-н Архивариус, с удивлением надувая на голове свой колпак.

— Прежде чем выступить в дорогу, я все-таки должен вас испытать. Уж не взыщите, но таков здесь давний обычай, и все мы обязаны его чтить.

— И что же это за испытание?

— О, совсем не сложное! И времени много не займет... Я дам вам парочку вопросов, на которые нужно отвечать не задумываясь, и если ответы будут правильными, мой Сад к вашим услугам.

— Что ж, спрашивайте, господин Садовник.

Сняв Шляпу и почесав затылок, Старый Садовник приступил к испытанию:

— Итак, что есть пузырное дерево?

— А, понятно! — обрадовалась Янка. — Когда-то в детстве я играла в эту игру с тетушкой Клер и бабой Маней. Это очень просто: пузырное дерево — это такое дерево, которое цветет пузырями. Само дерево очень тонкое и теплолюбивое, но если его перенести в зимние условия, то пузыри, обычно цветущие на нем круглый год, превращаются в ледяные шарики и красиво звенят на ветру. Если пузырное дерево зимой поливать фруктовым сиропом, то шарики превращаются в настоящие леденцы. Даже лучше... А в летнее время пузыри достигают размеров яблок и, таким образом, созрев, отрываются от веток, улетают вместе с ветром, отражая на своих поверхностях небо и землю. Но только не подумайте, что эти пузыри — мыльные. Вовсе они не мыльные!

— Гм-гм... Хорошо, — вынужден был согласиться Старый Садовник. — А что такое палинология?

— Я знаю! — воскликнул г-н Архивариус, нетерпеливо вытянув руку, будто школьник. — Это раздел ботаники, изучающий споры и тяжбы между растениями и особенно причины их возникновения. Вы же знаете, как они любят выяснять между собой, кто из них красивее и ароматнее, у кого тоньше стебель...

— Ну, в общем... гм, м-да... А что такое...

— Э нет, дорогой господин Садовник! — запротестовал г-н Архивариус. — Вы говорили только о «парочке вопросов», а это будет уже третий.

— Угу, я свидетель! — подтвердил г-н Филин.

Старый Садовник надел Шляпу и развел руками.

— Прошу в Сад! — сказал он.

VI

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САДУ

Произведя короткий профилактический осмотр и удостоверившись, что после всплытия из глубин Висячего Озера кессонная болезнь Фургону не угрожает, отряд, освещаемый Луной и вдохновляемый надеждой, двинулся в путь, легко перебираясь по ажурным подвесным мостам с одной ветки на другую.

О, никогда еще ни одно путешествие не было столь увлекательным! Вокруг в изобилии колосились великолепные колоссалии, словно в готическом порыве, устремленные ввысь, и их верхушки искрились в лунном свете. В глубоких трещинах, образовавшихся под действием времени в старых могучих ветвях, цвели семизвоны; каждый их цветок имел по семь звонких лепестков разных оттенков и разной длительности звучания. В их хрустальном дожде звуков, резвилось какое-то маленькое птицеобразное существо.

— Юркий врунок, — пояснил Старый Садовник.

— Вот так птичка! — рассмеялась Янка и обратилась к врунку с вопросом: — Это правда, что ты все врешь?

— Да-да! Да-да! — отвечала птичка.

— Вот видите, дитя мое, — сказал Старый Садовник. — Опять соврал. Что ни спросишь — обязательно соврет. Ну, на то он и врунок. Но вы не волнуйтесь, где-то здесь еще и правдун порхает...

— Угу, и где же он?

— Да, что-то не видать... Должно быть, улетел в поисках правды, — предположил Старый Садовник. — Он часто так делает.

— Угу, вот так всегда! — обличительно изрек г-н Филин. — Пока наши правдуны где-нибудь в дальних краях занимаются правдоискательством, их место занимают юркие и пронырливые врунки.

— Вот-вот! Вот-вот! — лукаво отозвался врунок.

— Эх! — хлопнул себя по коленям Старый Садовник. — Опять соврал. Вот неутомонный!

Поднявшись выше, путники наткнулись на ароматные цитаделии, которые протянули свои бесконечности во все стороны и никого не хотели пропускать сквозь свои густые заросли. Пришлось идти в обход, и путь теперь пролегал в приятном окружении воздушных шепталисов, они чуть слышно нашептывали о радостях безмятежного детства, о нежности, любви и милосердии, и о том, что каждый из нас хоть однажды бывает счастлив. И словно в подтверждение этому, под сенью шепталисов щедро лучились счастьем шень-шебуршень и лапушон препушистый...

Спутники не уставали диву даваться необыкновенной флоре и фауне Сада и поминутно охали да ахали под восторженные восклицания Старого Садовника: «Смотрите! Любуйтесь! Наслаждайтесь!» Затем он произнес пространную речь — одну из тех, которые сам называл «истинно ботаническими»:

— О, сколь счастливы эти чудные цветы, эти живые и совершенные вымыслы! И счастье их состоит в том, что по сути своей они не укладываются в известные нам представления о ботанике. Поверьте, друзья мои, вы не найдете здесь ни пестиков, ни тычинок, которые у обычных цветов прячутся за пышным флером и запахом. Вы никогда не пораните свои руки острыми шипами или ядовитыми колючками, потому что в нашем Саду тому, кто цветет и пахнет, некого остерегаться и не от кого защищаться: сюда не проникает ни злоба, ни зависть, здесь нет места сорнякам и паразитам, ибо ни одно из растений не живет за счет другого. И тайнобрачие или явнобрачие в этом мире является плодом свободного выбора, так что смысл этих ботанических понятий совсем не тот, какой вкладывает в них традиционная наука. И дождь здесь хотя и проливается, но это вовсе не тот дождь, о котором вы все знаете с детства, да и свет сияет отнюдь не для хлорофилла. В этом Саду хлорофилл так же неуместен, как качели и американ-

ские горки. Другими словами, если вы вздумаете обратиться за пояснениями к доктору Цезальпину и от корки до корки прочитывать его наивное сочинение под названием «De Plantis»¹, вы совершите очень большую ошибку и неминуемо будете введены в полное заблуждение, ибо нет и не может быть в традиционной науке ни одной известной или неизвестной классификации растений, которая хоть что-нибудь смогла бы прояснить в природе существования нашего Сада. Более того! О том, что и как в нем произрастает, бесполезно искать даже у светочей иного рода, например, у Седира в его книге «Магические растения».

— Хорошо, господин Садовник, а если покопаться в сочинениях уважаемого Плиния, или того же Альберта Великого?.. — выразил слабую надежду г-н Архивариус.

— Бесполезно! Напрасная трата времени, друг мой. Да что там! Сам Левенгук не без смущения признал, что его превосходный микроскоп здесь слеп как курица, а многократные попытки найти некие известные различия в строении однодольных и двудольных растений — просто-таки досадная нелепость и абсурд. Согласитесь, друзья мои: как можно рассматривать в микроскоп надежду или радость? Из каких микрочастиц состоит печаль или желание?.. Кстати, некоторые из известнейших деятелей науки — лауреаты и академики, — однажды побывав здесь, пытались тоже придумать свои «экземпляры». Но, увы и ах! Чаще всего у них либо вообще ничего не получалось, либо получалось ужасно скучно и даже, извините, глупо. Вот если бы в Замке существовал еще и Сад Надуманных Птиц и Цветов, то, клянусь своей Шляпой и всем тем, чем она может быть, Сад этот был бы просто переполнен их ученой продукцией. Ну, скажите-ка мне на милость, что это еще за птица такая: *нобелевка?*.. Или цветок *опосред всеядный?* А как вам понравится *узкоглядка водянистая* или *гормонарь обыкновенный?* А?! Ну, уж нет! Уж лучше маяться с этим нашим пугалом, птицей Сторож, чем с каким-то *клювастым протубераном!*

Так рассуждал Старый Садовник, и, казалось, рассуждениям его не будет конца. Впрочем, друзья настолько увлеклись окружающими их чудесами, что, признаться честно, не очень-то утруджали свой слух этими околону научными излияниями. Увиденное и услышанное в Саду было и ярче, и убедительнее всяких слов.

¹ «О растениях» (лат.).

Так, однажды отряд наткнулся на несколько первосортных эйфориний. Скрываясь от посторонних глаз в молодой поросли перистого щекотульника, эйфоринии цвели без цвета, без запаха и без формы, но зато — с каким настроением! Хотелось смеяться и плакать от счастья...

Не менее восхитительными оказались и махровые солнцевики, погруженные, словно в дрему, в свой антицвет. Держались они небольшой, но дружной колонией, и отличались некоторой напыщенностью. Но зато и на запаха не скупилась. А пахли они жарким пламенем. Старый Садовник без труда различал все тончайшие оттенки запаха и обращал на это внимание своих спутников: вот у этого солнцевика аромат багряный, а у того — оранжевый, а у тех, что подальше — пурпурный, желтый и даже золотистый, да все их и не перечесать!

Продвигаясь все глубже в дебри Сада по широкой, утопающей в цвету, ветви, друзья заметили какого-то человека с воздетой над головой рукой, ладонью кверху. В другой руке он держал раскрытую клетку. Глаза его были устремлены к Луне, и на расстроганном лице сияла улыбка.

— Кто это? — спросила Янка.

— Это Леонардо, великий мастер, — ответил Старый Садовник, почтительно приподнимая свою Шляпу в знак приветствия. — Точнее, не он сам, а событие из его жизни... Даже не событие, а отражение этого события, спроецированное в наш Сад... Ну, что-то вроде голограммы. Вот уже несколько веков свет этого события отражается здесь в определенные дни и часы — иногда тускло, иногда ярко, — в зависимости от способностей воспринимающего. Раньше оно как бы никому не принадлежало и находилось в свободном полете сквозь бесконечные пространства, пока, в конце концов, не очутилось здесь, а затем и в других местах.

— А почему у него в руке птичья клетка? — спросила Янка.

— Ну как же, моя госпожа! Всем известно, что мастер Леонардо любил прогуливаться по рынку и покупать у торговцев птиц, чтобы затем выпускать их из клетки на волю. В такие минуты он был самым счастливым человеком на Земле, ибо, можно сказать, таким образом постигал небо. И он хорошо знал, что нет ничего более сладостного, чем дарить кому-нибудь свободу.

— Угу, а где же сами птицы? — осведомился г-н Филин, сопровождая взглядом движение руки мастера Леонардо.

— Так ведь они уже улетели! — и Старый Садовник также устремил свой взор вверх, и в глазах его отразился мягкий свет Луны.

Среди прочих чудес, пожалуй, больше всего путников поразила пара пышных светозарников.

— О, это совершенно особые цветы! — остановился Старый Садовник. — Очень большая редкость. Их придумала и посадила в Саду наша добрая герцогиня Эсклермонда, дай ей Бог долгих и счастливых лет правления, ибо мы почитаем его за благо.

— Ах, какая роскошь! — восхищался г-н Архивариус. — Какая культура! Какой вкус!

— А какая правда! — соглашался Старый Садовник. — Между прочим, способ их размножения, как известно, привел в полное замешательство самого профессора Камерариуса. И немудрено: в Тюбингенском саду ему никогда ничего подобного не встречалось.

Перед потрясенными путниками и в самом деле предстало диво дивное: оба цветка излучали один лишь чистый ослепительный свет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что они, тем не менее, отличаются друг от друга: один светозарник был струящимся, а второй — пульсирующим. Нежнейшие стебли оберонусов обвивали их, оберегая от шумных и беспокойных горлоресов и свистодонтов и волнуя весь окружающий эфемер красивейшими обертонами.

Вдоволь насладившись видом светозарников, путники собирались уже двинуться дальше, но тут случилось нечто совершенно необъяснимое: Сад исчез!.. Старый Садовник тоже!.. Следом погасла Луна — и всё погрузилось в непроницаемую тьму.

Стоя на месте, Янка осторожно пошарила руками вокруг... Казалось, вместе с Садам, Садовником и Луной исчезли и ее верные спутники. В глазах, словно ускользающее в прошлое сновидение, слабо пульсировали и струились два светозарника, но через минуту и они растворились во мраке.

— Ну, что вы теперь видите? — откуда-то долетел голос Старого Садовника.

— Ничего! — ответили голоса, и Янка поняла, что, слава Богу, ее друзья где-то неподалеку.

Скрипнул Фургон. Будто эхо, прокатилось унылое «Угу!.. Угу!..»

— Сейчас на вас воздействует магическая сила светозарника. Чистый свет его освобождает ваш внутренний взор из плена, который зовется зрением и к которому вы привыкли, как привыкают к болезни...

Голос Старого Садовника становился все более могущественным и певучим, воплощаясь затем в размытые, зыбкие формы и цвета.

— Смотрите же вперед и будьте внимательны!

Янка была само внимание, изо всех сил стараясь понять, где тут «вперед», а где «назад».

— С этой минуты вы входите в Соцветие Лунодорма. Его можно увидеть лишь в полнолуние и лишь в состоянии сна, который отличается от не-сна тем же, чем отличается предвиденье от воспоминания, или круг от поверхности круга, или музыка от музыкального инструмента, или любовь от слов любви. Смело идите на мой голос, который вы все хорошо слышите и даже видите...

Янка сделала несколько неуверенных шагов прямо перед собой — туда, где тускло светилось и переливалось тело голоса Старого Садовника.

— Сейчас я посчитаю до трех, и после счета «три» не забудьте сразу уснуть.

— Угу, задачка не из легких! — послышался дрожащий голос г-на Филина.

— Раз!

— Угу...

— Два!

Стало тихо, как под водой.

— Три!

В ту же минуту Янка увидела перед собой тропинку. Множество тихих голосов смеялись вокруг и нашептывали ей в уши:

«Вот она, тропинка золотая,
вьется меж стволов,
звонит как струна, тронутая ветром,
и весь этот древесный мир —
по левую руку Солнце,
по правую руку Луна, —
резонируя, гудит и трепещет.

Пойди-по-тропинке-пойди-по-тропинке-пойди...

Еще не развеялся, не растворился в воздухе
нежный аромат камалы,
еще слышно доносящееся из желтой чащи
далекое монотонное пение камеры —
пернатой спутницы Кандарпы,
еще не остыли сверкающие следы бога любви
на тропинке, ведущей к сердцу Храма.

Пойди-по-тропинке-пойди-по-тропинке-пойди....

Не потому ли радуются деревья при виде деревьев,
птицы — при виде птиц,
звери — при виде зверей?
И весь этот Лес,
похрустывая,
постукивая,
поскрипывая и звеня,
бродит между Солнцем и Луной,
иногда вовлекая в свои дебри
одиноких людей,
чтобы и они
возрадовались друг другу.

Пойди-по-тропинке-пойди-по-тропинке-пойди...»

...И Янка пошла... Но только она ступила на эту золотистую тропинку, как сразу же оказалась в самом центре Соцветия Луно-дорма, а в следующее мгновение почувствовала, как уже летит в его серебристую бесконечность навстречу светящейся точке...

— Перед вами цветок-оракул! — будто из какого-то иного мира прорвался голос Старого Садовника; он звучал все тише и тише, далеко позади: «Цветок-оракул!.. оракул!.. оракул!..»

Стуток яркого света стремительно приближался и уже перед самым лицом Янки внезапно широко распахнулся сияющим объемом огромной залы, в центре которой на круглом мраморном столе восседал Красный Лев, увенчанный золотой короной. В короне лучилась аметистовая роза. Лев улыбнулся и, соскочив со стола, сделал мягкий бесшумный шаг навстречу летящей Янке. На его грациозно выставленной вперед лапе мерцала прекрасная звезда Альдиран.

И такая радость охватила Янку!

«Я жду тебя!» — услышала она, и эти слова вместе с Красным Львом и сияющим объемом залы вытянулись долгой нитью да-

леко вперед; нить вибрировала и звенела как струна, и звон ее перелился в глухое бормотание... в какое-то невнятное бу-бу-бу, цы-цы-цы, ду-ду-ду, в какие-то отрывистые слова... *которые теряют свой смысл при приближении к цветку-оракулу, ибо связь с ним, дорогие друзья, осуществляется только через искреннее и глубокое чувство, и я надеюсь, что каждый из вас получил исчерпывающий ответ на свой сокровеннейший вопрос и, более того, услышал то, что надеялся услышать. А теперь можете проснуться и открыть глаза!*

Перед путниками стоял, усмехаясь и поглаживая буйно зеленоющую бороду, Старый Садовник в своей неизменной Шляпе, а вокруг во всем прежнем блеске раскачивался и шумел Сад Придуманных Птиц и Цветов.

VI

ЛЮБИНИЯ, РУКОВОДЯТЕЛ И ДРУГИЕ...

— А это что еще за растение такое изнеженное? — спросил г-н Архивариус, заметив какой-то цветок, весь в поцелуях.

— Угу, какой-нибудь поцелуйник обильный, — высказал предположение ученый секретарь.

— Это любоцветит любиния, — пояснил Старый Садовник. — Великолепный цветок сей придуман самим Гениальным Кондратием, когда он окончательно впал в полный любазм. По его тонкому замыслу любиния обязана увековечить аромат личности Божественной Пульхерии...

— Знаем-знаем! Точно такая же цель и у его бесконечной поэмы, — заметил г-н Архивариус и тут же принялся декламировать по памяти стихи из «Любогонии» Гениального Кондратия:

Любясь, взлюбись, люботный Люблин!
Люблелюбивый любень люберей!
Любонник ты или любешник любый —
в любышку разлюбись!..

— Угу, угу! — захолопал манжетами г-н Филин. — Как всегда, гениально! Только почему-то у меня эти стихи не записаны... Как же это я проухал такую поэзию?

— Все очень просто, — заявил г-н Архивариус. — Эти стихи Гениальный Кондратий сочинил уже после того, как мы побывали у него в келье.

— Угу, а откуда же они вам известны, позвольте узнать?

Но г-н Архивариус не успел ответить: над самым его ухом кто-то неожиданно и громко скомандовал:

— Равняйся! Смирно!

— О Господи...

— Не бойтесь, друзья мои, это всего-навсего руководитель прилетел поруководить немного.

— Угу, оно и понятно: надо же кому-то руководить, — справедливо рассудил г-н Филин. — А то у нас все только поют...

— Эй ты, чудо в перьях! Отставить бухтеть! — перебил его руководитель. — Стоять и слушать мой приказ приказов!

— Ну и ну, — только и произнес г-н Архивариус.

— Да, чем бы дитя ни тешилось, — усмехнулся Старый Садовник и понизил голос почти до шепота: — Хорошо, что он сидит слева от нас. Не шевелитесь, пускай уж там и сидит.

— А это имеет какое-то принципиальное значение? — любопытствовал г-н Архивариус.

— Еще как имеет! Философ Агриппа предупреждал: для того чтобы птицы принесли счастье, их должно быть четное количество, то есть минимум две, и сидеть они должны от вас справа. Понимаете? Минимум — две. И — справа от вас. Это тоже важно.

— Угу! — вмешался г-н Филин. — В таком случае, мне очень жаль, господин Садовник, но вынужден вас огорчить.

— Меня?

— Угу, вас. Ну, и всех остальных тоже. По логике вещей, мы сейчас имеем нечто противоположное тому, что вы утверждали: руководитель составляет как раз число нечетное и сидит от нас слева. Стало быть, все это к несчастью.

— Да ничего подобного! — запротестовал г-н Архивариус. — Вы роковым образом заблуждаетесь, дражайший.

— Я заблуждаюсь?!

— Конечно! Собственно, уже заблудились. Да-да!.. Напрасно озираетесь, это вам не поможет. Вы не в Саду заблудились, а в дебрях ваших собственных ложных посылок и выводов. Другими словами, все ваши дедуктивные построения громоздятся на весьма зыбком фундаменте, чтобы не сказать, что его и во все нет. Ха-ха! Колосс на глиняных лапках! Ха-ха-ха!

— У-гу-гу! — сердито передразнил его ученый секретарь. — Я вас не понимаю. Извольте выражаться яснее.

— Еще яснее? Пожалуйста! В вашем возрасте пора бы знать, что число «один» не является ни четным, ни нечетным. «Один» — и есть «один». А из этого следует, что сидящий слева руководитель — абсолютно безопасен, *quod erat demonstrandum*, то есть, что и требовалось доказать.

— Тогда — доказательств! — вскричал уязвленный г-н Финлин. — Я требую доказательств!

— Нет ничего проще, дражайший коллега. Если вам вздумается разделить двух, трех, пятерых руководителей, то такое арифметическое действие может привести в худшем случае к конфликту между ними и вами: вас обвинят в несправедливости, в протекционизме, в произволе и даже макиавеллизме. Но объективно — такое деление, при всей своей полезности или бесполезности, имеет право на существование, а следовательно, и на математическое, философское или политическое обоснование. Но если вам, извините, сдуру, взбредет в голову делить одногоединственного руководителя, то тогда вам придется разрывать его на части, или «разделявать», как выражаются профессиональные мясники: голову — туда, крылышки — сюда, лапки и хвостик — снова туда, я уж не говорю о перьях. Короче, принять «единицу» за нечетное число означает: прийти к убийству. Зарубите себе это на клюве.

— Какой ужас! — покачивая головой, сказала Янка.

— Угу! Но у меня и в мыслях не было!

— А когда у вас в мыслях было? — снисходительно соглашась, спросил г-н Архивариус.

С безразличным видом выслушав все эти дебаты, руководитель снова, как ни в чем не бывало, продолжил свое руководство:

— Приказываю немедленно покинуть территорию и передислоцироваться в квадрат квадратов!

— Что он сказал? — спросила Янка.

— Должно быть, он имеет в виду вон ту манизоловую ветвь, — предположил Старый Садовник.

Недоуменно пожимая плечами и крыльями, вся компания погрузилась в Фургон, и Вялый Горбун, который успел уже порядком застояться и наплакаться, покати́л его вверх — туда, где в голубоватой дымке простиралась манизоловая ветвь и Луна была

еще ярче и серебристей. А пока ехали, Старый Садовник объяснил, что птица-руководитель является собой результат лирического отступления Полковника Ферапонтова.

— Но, позвольте, — изумился г-н Архивариус. — Всем известно, что Генералиссимус никогда не отступает.

— Видите ли, друзья мои, речь идет о лирическом отступлении от его военной доктрины. Таким образом, Полковник Ферапонтов почтил память об Альбигойских войнах, в которых сам принимал героическое участие и, между прочим, заработал себе хронический катар легких, желудка и, кажется, еще чего-то... Впрочем, как всегда, наш Генералиссимус делает вид, что к садоводству не имеет никакого отношения. А вообще на этого пернатого фельдфебеля, — и Старый Садовник указал на летящего впереди руководятла, — не стоит обижаться. Иногда и польза от него бывает.

— Как-то с трудом в это верится, — сказал г-н Архивариус.

— Вот видите, никто не верит! Однако именно под его руководством был уничтожен злой паук-птицеед, которого сюда коварно запустили наши враги.

— Угу, и кто же осмелился его запустить? Уж не Альгакобилла ли?

— Он самый. Вместе с Альдровандой Дрозерацей.

— Так они и сюда добрались? — воскликнул г-н Архивариус. — Не думал я, что мы были на краю пропасти.

— Да, друзья, на самом краю! Но, к счастью, у злодеев ничего не вышло. Две-три отменные команды руководятла, и паука-птицееда благополучно уничтожила птица Сторож. Высушенное чучело мы отправили в Замковую Кунсткамеру...

Фургон остановился. Путники сошли на гладкую золотистую поверхность манизоловой ветви.

И тут у самых ног своих они увидели крошечный, величиной с булавку, ослепительной белизны цветик. Янка присела на корточки, чтобы лучше его рассмотреть. Какой-то странный зудящий звук заставил ее поднять голову и посмотреть вверх. Прямо над ней чертила в воздухе некие таинственные знаки птичка, размером с ноготок. Птичка напевала старинную провансальскую канцону, и тоненький голосок ее напоминал записанный на граммофонную пластинку и воспроизведенный с повышенной скоростью героический тенорок. «Ах, лили... Ах, лили!» — только и можно было разобрать. В ответ на эту песнь крошка цветик то складывал свои лепестки в бутон, то раскрывал их, трепеща.

— Угу, ну и парочка...

— Какая прелесть! — Янка прихлопывала в ладоши в такт песенке.

Покряхтывая, Старый Садовник присел на подножку Фургона и, обмахиваясь Шляпой, сказал:

— Перед вами, друзья мои, одна из самых романтических пар на всем белом свете: лилечек и альбигойн — цветок и птица. История их появления в Саду драматична и, вместе с тем, поучительна.

— Угу, могу ли я ее записать?

— Сделайте одолжение, дорогой господин Филин. Итак, история эта корнями своими уходит в очень далекое прошлое, а цветущей кроной — в неопределенное будущее. Слушайте же!

Все расселись по ветвям, г-н Филин разложил перед собой несколько чистых манжет и пополнил чернильницу до краев, а Вялому Горбуну подставили ведро для слез.

VIII

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕГО ТРУБАДУРА

— Когда звонкую и напевную, как альпийские ручьи, а иногда суровую, как мистраль, поэзию заглушили стенания мучеников и трескотня боевых тамбуринов, а нежные звуки лютен и флейт потонули в оглушительном звоне окровавленных мечей, когда мирная и изобильная жизнь растаяла, словно Пампаригусто во мгле, и на месте сказочной страны воцарилась холодная каменистая пустыня, поросшая колючим кустарником и населенная страшными бамбарушами, мармалями и румеками, когда под натиском человеческой злобы и жадности пал заоблачный Монсегюр — лишь немногим было даровано увидеть, как с высокой стены его невесомо и печально взмыла в ночное небо прекрасная владычица и, взяв курс на Восток, где восходила полная Луна, унесла с собой великую тайну. Но о тайне той мы умолчим, ибо что же это тогда за тайна, если о ней все рассказать?.. Ну так вот, друзья мои, волею судьбы, в ту последнюю, озаренную пожаром страшную ночь, удалось бежать одному-единственному человеку. Страдая от ран, но еще сильнее — от скорби, он пробирался по тайному подземному ходу, о существовании которого знали только избранные, и так, никем не замеченный, вскоре выбрался на

поверхность и оказался в сумрачном лесу — среди вековых елей, неприступных скал и водопадов. Там, на горных стремнинах, в одиночестве, он горько оплакивал печальную участь еще вчера процветавшей страны, поминал своих друзей — Фигейру, и Рюделя, и Гираута де Борне, с которыми еще вчера соревновался в славном искусстве музыки и поэзии, а сегодня даже не знал, живы ли они или сложили свои прекрасные головы в жестоком бою. Но когда перед его внутренним взором возник образ той, что вдохновляла его на героические подвиги и амурные песни, той, с кем его разлучила война, он понял, что пора отправляться в путь.

Так, утоляя голод грибами и дикими ягодами в лесах, продвигаясь ночью по звездам и отдыхая днем в укромных пещерах или на ветвях деревьев, он спустился в цветущую долину. Затем, обойдя стороной Тарн, Альби и Тулузу, он покинул бедную разоренную родину и двинулся дальше, куда глаза глядят...

— Но кто, кто этот человек? — в нетерпении спросила Янка.

— Угу, желательно бы записать его ФИО, — добавил г-н Филин каким-то канцелярским тоном.

— Ну, это несложно! — сказал г-н Архивариус. — Я знаю имя этого человека. И история его мне хорошо известна.

— Угу, и как давно вы от меня ее скрываете? — обиделся ученый секретарь.

— Ничего я не скрываю!

— Так расскажите же, наконец! — попросила Янка.

— С удовольствием, княгинюшка, если господин Садовник не имеет ничего против.

— Нисколько, — отвечал тот. — Вы Архивариус, вам и карты в руки.

Г-н Архивариус мечтательно посмотрел на Луну и начал свой рассказ:

— Имя человека, судьба которого вас так взволновала, Майонез Провансальский, и он, последний из трубадуров, все еще пребывает в пути, да ниспошлет ему Провидение удачу и счастливое возвращение! Господин Садовник любезно рассказал нам о том, как началось знаменитое странствие великого певца любви. Но что проку пересказывать бесчисленные анекдоты о приключениях трубадура, не лучше ли прямо обратиться к дивным цветам его вдохновения? Только с их ароматом мы сможем вдохнуть всю правду жизни и отправиться к истине самой короткой дорогой, ибо стопы поэта, быть может, и идут к ней зигзагами, а иной раз

даже бродят по замкнутому кругу, но зато душа его летит по прямой, как луч, не знающий преград. И чтобы удостовериться в правоте моих слов, вот, взгляните сами!

С этими словами г-н Архивариус извлек из-за пазухи, одну за другой, восемьдесят восемь книг в инкрустированных переплетах.

— Это «Хвалебник» — великое творение Майонеза Провансальского, — говорил он, торжественно раскладывая книги у своих ног. — Кладезь истинной поэзии и мудрости!.. Между прочим, господин Филин, вы опять забыли протереть обложки. Посмотрите, сколько на них пыли!

И г-н Архивариус принялся демонстративно чихать, кашлять и отплеиваться, как бы укоряя ученого секретаря в нерадивости.

— Угу! Вы, конечно, извините, господин Архивариус, но мне трудно производить обеспыливание фондов у вас за пазухой.

— Во-первых, не за пазухой, а за пазухарием — сколько раз можно повторять! А во-вторых, у вас имеется свой пазухарий, — резонно заметил г-н Архивариус.

— Но за моим пазухарием нет и никогда не было никаких «Хвалебников»! — не унимался г-н Филин, видимо, больно задетый за живое. — Даже простые «Рутальники» с «Хулильниками» — и те начисто отсутствуют.

— Но свои манжеты вы же как-то содержите в относительной чистоте? — оскорбленным тоном вопрошал г-н Архивариус.

— Угу, а как же! Манжеты я сдаю в *прячечную* Кокозею, и он всё прячет их, и прячет, а мне выдает новые. Точнее, старые... Правда, не регулярно.

Г-н Архивариус махнул рукой, давая понять, что ему надоели эти бесполезные препирательства, и обратился уже ко всему обществу:

— Только представьте, совсем недавно у себя в пазухарии я поймал Грызуновича Младшего — как раз в тот самый момент, когда он начал подгрызать восемьдесят восьмую страницу восемьдесят восьмого тома «Хвалебника». — «Ты что же это вытворяешь, негодный вредитель? — говорю ему. — Мало тебе изъеденного магазина «Сяйво» и Библиотеки Вернадского, так ты и до моих архивов добрался?!» А этот пакостник в ответ клянется всем древним родом Грызуновичей, что будто бы заскочил в мой пазухарий из чисто познавательных соображений, — дескать, стремление к знаниям испокон веков является родовым признаком всех Грызуновичей. Ха-ха! Знаем мы этот их родовой признак! В

свое время Грызунович Старший тоже сновал у меня в пазухарию, чуть ли не как у себя дома, пока, мерзавец, не укусил-таки Глобус Киева, после чего на месте укуса, словно нарыв, образовался ЖЭК №30/3. И нарыв этот до сих пор гниет. Сам же Грызунович Старший поспешно бежал, убоявшись гнева Магнуса Брюзги, который уже обещал при первой же встрече превратить его в древесного клопа. А сейчас будущий клоп осел где-то в городе и, говорят, поменял фамилию на Грizzly и стал литературным критиком при каком-то издательстве. Могу себе представить!.. М-да, что-то я стал много жаловаться, — произнес г-н Архивариус после непродолжительной паузы. — Это обычно приводит меня к горестным мыслям и затяжным мигреням.

И он схватился руками за голову.

— Сейчас же перестаньте болеть, — сказала Янка. — Это вам совершенно не идет.

— Вы правы, княгинюшка. Мне уже значительно лучше.

— Дорогой друг! — горячо воскликнул Старый Садовник. — Я вас легко вылечу от всякой мигрени. Вы даже забудете, что у вас есть голова!

— Ну, это уж слишком, — растерялся г-н Архивариус.

— Вовсе нет! Стоит вам отведать крепкой настойки смехунацей...

— Нет-нет! Я уже вполне выздоровел без всякой смехунацей.

— Вот и хорошо. В таком случае покажите нам обещанный «Хвалебник», а то мы все прямо-таки сгораем от нетерпения.

— Ах, да! Я совсем забыл...

— Угу, я же говорил: старость — не радость.

— Не беспокойтесь, господин Архивариус, — сказал Старый Садовник, многозначительно подмигивая. — У меня для вас имеется прекраснейшее гомеопатическое средство: вытяжка из листьев склеротина, выращенного в нашем Саду гетманом Забудько.

— Не надо, я уже все вспомнил! И до мельчайших подробностей. Итак, «Хвалебник»! Последний из трубадуров Майонез Провансальский, как известно, сочинял его во время долгих и трудных скитаний по свету и адресовал его своей возлюбленной Лилии, с которой находился в бесконечной разлуке. Взгляните на эти книги. Как видите, каждая из них помечена двумя лемнискатами, символом удвоенной бесконечности...

— Угу, а разве бесконечность можно удвоить?

— Закройте клюв, господин Филин. Берем любой том. К примеру, восемьдесят восьмой. Открываем в любом месте... Ага, страница восемьдесят восьмая...

— Простите, а можно начать с первого тома? — спросила Янка.

— В принципе, можно. Но только он тоже будет восемьдесят восьмым, потому что в «Хвалебнике» все тома, от первого и до последнего, — восемьдесят восьмые, сколько их ни есть...

— Угу, стало быть, господин Архивариус, вы сами свои Архивы едите, а на Грызуновичей сваливаете!

— Эх, молодой человек! Постыдились бы так бессовестно клюветать!

Но тут уже все общество настоятельно потребовало прекратить эти глупые споры и, в конце концов, вернуться к «Хвалебнику».

IX

«ХВАЛЕБНИК»

МАЙОНЕЗА ПРОВАНСАЛЬСКОГО

Тогда г-н Архивариус откашлялся и прочитал следующее:

«...Есть имена, Любовью рожденные и выражающие ее во сто крат точнее и правдивее, чем само имя *Любовь*, кое несет в себе лишь малую толику сей чудесной живительной субстанции.

И толика сия покоится в нежном *лю*, тогда как в остальной части имени — *бовь* — нет и намек на ее субстанциональное существование.

Когда же я жажду произнести или выразить тебе *Любовь*, о Прекрасная Дама, я произношу или выражаю: *Лилия*. Ибо это и есть ее изначальное и идеальное имя...»

— Угу!

— Вот именно! А вот — том восемьдесят восьмой. Открываем... Страница восемьдесят восьмая... Читаем:

«Нет ничего совершенного в брэнном мире, за исключением того, с каким совершенством вечно сосуществуют всевозможные несовершенства.

И вот сие совершенство — или закон сосуществования — отбрасывает свои отблески на все несовершенства, втягивая каждое из них в свой круг и приближая к своему центру. Отблески — се есть печати света, излучаемого Совершенством, — иными словами, — Знак Любви.

Но поскольку всякий предмет есть результат Света, но не сам Свет, постольку ему присущ и объем, погруженный в окружающий вечный Мрак, тогда как всего лишь одна или несколько граней его сверкают и переливаются.

А тени, отбрасываемые предметами, случается, обретают образы и подобию кошмарных монстров, и сие, видимо, часто так и есть.

Истинно говорят: дабы не отбрасывать Тень, надобно излучать Свет.

Все мы, живые и неживые, обращаем очи свои к Всеблагому Свету, к Вечной Любви, и в очах наших появляются чудесные отблески.

И кажется нам, долгожданная гармония достигнута, и уже летим к Центру, ликами вперед, будто птицы или стрелы, тогда как существа наши, напротив, погружаются в еще большую слепоту, в еще более крошечный Мрак, порождая страх и производя злобу и смуту отчаянную.

И тогда эти обратные стороны душ наших в своем темном, хаотическом полете сталкиваются и крушат друг друга во Мраке. И все это вершится именем Любви?..

О Господи! Не отсюда ли пришла гибель моему самому музыкальному, самому поэтичному, самому рыцарскому народу в мире?..»

— Угу!

— Да-с... Ну, далее следует обилие совершенно замечательных страниц о счастливом времени, из которых читатель узнает о куртуазной любви последнего из трубадуров к его прекрасной Лилии, о его поэтических подвигах и ее сердечной благосклонности. С бесконечной нежностью и грустью вспоминает он о своей прежней «*лиловой жизни*», которая, казалось, «*лилась* вечно из ниоткуда в никуда» и в которой он «*был взлит* в непорочности, мире и чистоте»... Но все это, пожалуй, слишком личное, для того чтобы зачитывать вслух. Мы же пойдем дальше и откроем для себя ряд потрясающих по глубине и точности философских

обобщений, сделанных Майонезом Провансальским. Вот, к примеру, в восемьдесят восьмом томе... на восемьдесят восьмой странице... читаем:

«...И тогда, о *Лилия*, волею мистических ухищрений, магических заклинаний, силою демиургических руковзмахов и любвеобильного шепотения, я отслою от божественного имени твоего вторичный признак, заключенный в брэнной флексии “-я”.

И в тот же миг имя твое обретет Бессмертие, которое воистину есть первичный признак Любви, ибо нет и не может быть у Любви никакого окончания, ни, тем более, — суффикса или префикса, а есть лишь непрерывный полет Света, обнажающего красоту, Звука, рождающего тишину, и Тепла, что вовлекает в свой полет и согревает всех — от сырых и убогих до великих мира сего.

...ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли...

Так поют птицы повсюду — от берегов Нила, чьи воды напоены ароматом сузинона, до чудесных Афинских садов Фрины, где имя твое славит сама Флора.

...ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли...

Так поют авлосы и лиры, флейты и лютни, поют повсюду — от Королевства Лилий, где все “л” мягкие, все короли — Луи, и все музыканнты — Люлли, до сказочных Суз, столицы дворцов и водоемов.

Да будет известна тебе, о тайная хранительница судьбы моей, вся герметика открытых мною и проникнутых мною пяти стихий — *Ля, Лю, Ле, Лё и Ли*, последняя из которых — *Ли* — есть незамутненная и животворящая любовная субстанция...»

— Угу!

— Да не угавайте вы, пожалуйста, раньше времени. Лучше послушайте дальше:

«...*Ли* — тоньше и нежнее красивого, но обуянного гордыней *ля*, ложное величие коего идет прахом при многократном самоповторении: *ля-ля-ля, ля-ля-ля*.

Не найти во всем Провансе с Лангедоком ни единого трубадура, взявшегося бы воспеть без ущерба для своей поэтической славы сие пастушеское *ля-ля-ля*.

Ли — везде и во все времена возвышеннее и духовнее инфантильного *лю*, что само собою и так понятно. Ибо инфантильность *лю* становится абсолютно невыносимой уже при двукратном повторении: *лю-лю*. А при многократном — *лю-лю-лю, лю-лю-лю* — вызывает великое недоумение.

Ли — устойчивее и гармоничнее, нежели популярное *ле*, кое, пребывая в одиночестве, несколько простовато и порождает беспокойство в окружающем его Божественном Универсуме, а при многократном самовоспроизведении — *ле-ле-ле*, — хотя и несколько приятно для слуха, однако же не поднимается до неприступных высот идеального *ли-ли-ли*, и в конечном итоге требует себе неминуемого завершения (например, *ле-бедь*), либо начального вступления (например, *фи-ле*), либо того и другого вместе (*у-ле-тать*).

Следовательно, многократное *ле* не может быть бесконечным.

И, наконец, *ли* кощунственно даже упоминать рядом с *лё*, коим и рыночный шут не воспользуется для увеселения бедноты. Частое же повторение *лё-лё-лё* либо приводит к беспамятству и безумию, либо само уже является их плодом.

Однако, придерживаясь высшего закона справедливости и гармонии, надо согласиться, что даже вымученный плод сей находится в неизмеримо большей близости к идеальному *ли-ли-ли*, чем, скажем, демоническое *та-та-та* или *ча-ча-ча...*»

— Что-то не слышно вашего «угу!», господин Филин, — удивился г-н Архивариус и, подумав, добавил: — Вам не приходило в голову тоже как-то его классифицировать?

Ученый секретарь угрюмо молчал.

— Ведь вы же серьезный ученый! — настаивал г-н Архивариус.

Но ученый секретарь молча угрюмился.

— Ну, не хотите — не надо. Тогда, снова возьмем том восемьдесят восьмой и откроем его... на странице восемьдесят восемь:

«...И все же я рад, что этот тонкий, прозрачный, полный чистоты и нежности, словом, идеальный звук обитает среди всевозможных звукоподобий несовершенных, как бы понуждая эти звукоподобия восстремиться к идеалу, коим он является сам по себе, по праву рождения, и одним только этим понуждением уже оказывает благотворнейшее влияние на их неказистое существование, сообщая ему смысл и оправдание.

Не так ли в руке алхимика всякие металлы мечтают стать золотом?

Не так ли в волшебной линзе астролога отражается вечное движение больших планет и малых, но одно лишь Солнце восходит к *primum mobile*?¹

И какое же *та-та-та* или *ча-ча-ча* не жаждет превратиться в божественное *ли-ли-ли*? Но именно не столько возможность или невозможность подобных трансмутаций, сколько глубокая вера в них определяет высочайшую ценность идеала.

О красота моя недостижимая и неизреченная! Нищий и отверженный, ныне брожу босый по земле голой, лишенный родины и дома, с клеймом “темного человека”, вынужденный зверем затравленным таиться в лесных берлогах от всевидящего ока жестокого врага, — я, бедный, но не сломленный поэт.

Я — последний трубадур в этом злосчастном мире! В очах моих — вся бездна скорби и печали, кои не утолить никогда, как никогда не вернуть к жизни несправедно убиенное доблестное рыцарство.

Но я не умер! Я свободен!

Горьки и безотрадны были бы слезы мои, когда бы за спиной не лютия, а в сердце не горела бы любовь к тебе.

Тебе, мой ангел-хранитель, слагаю я свой “Хвалебник”, и книга сия да будет гимном всем, кто любит и кто любим!..»

— Вот, — сказал г-н Архивариус и смахнул со щеки слезу. — На этих страницах еще много, очень много чего есть. И все-таки как хорошо, что этот «Хвалебник» можно листать и перелистывать, — г-н Архивариус послунил палец, — читать и перечитывать! — И, вперившись в открытую книгу, он уже машинально, быстро затухающим голосом, произнес: — На то он и «Хвалебник»...

¹ Источник жизни, перводвигатель (*лат.*).

— Погодите! — воскликнула Янка, утирая платочком мокрые от слез глаза. — А что же с ними было потом? С влюбленными.

— Угу? — присоединился г-н Филин.

Янка погладила по плечу увлекшегося чтением г-на Архивариуса:

— Они так и не встретились? Неужели возлюбленная Майонеза Провансальского так и не прочитала ни единого слова из написанной для нее книги? Что же вы не отвечаете, господин Архивариус?

Тут вперед выступил Старый Садовник.

— Нет причин беспокоиться, дитя мое, — сказал он, посмеиваясь в густую зелень бороды. — Мы находимся как раз на месте будущей встречи героев этой истории.

— А откуда это известно? — спросила Янка.

— Дело в том, моя госпожа, что это место помечено магическим знаком.

— Угу, каким знаком?

— Цветочек-лилёчек и птичка-альбигойн — вот этот магический знак! — Старый Садовник почтительно снял с головы свою Шляпу. — Радуйтесь, друзья мои! Сама Природа распорядилась по справедливости, на которую так уповал последний из трубадуров Майонез Провансальский, сочиняя свою книгу. И, свято веря в прародство всех женских душ и в закон их всемирной взаимосвязи, великий певец, странствуя по странам и континентам и распевая свой «Хвалебник» направо и налево всем девам, каких только встречал по пути, был уверен, что эхо его проникновенных песен, в конце концов, достигнет и той единственной, которой они всегда предназначались.

Старый Садовник обвел присутствующих торжествующим взглядом. Все пребывали в напряженном ожидании. Даже г-н Архивариус оторвался от чтения, его глаза ярко светились в лунных лучах. Видимо, повинувшись воздействию этого свечения и общей торжественности момента, Старый Садовник, понизив голос, сказал:

— И лишь тогда «Хвалебник» станет по-настоящему бесконечной книгой, когда последние слова его будут пропеты нашим трубадуром своей возлюбленной Лилии в счастливую минуту неизбежной их встречи в этом Саду, на этом самом месте, где мы сейчас с вами находимся.

— О, это совершеннейшая правда! — радостно подхватил г-н Архивариус. — И возвестит об этом славном событии волшебное слияние обеих лемнискат на восьмидесяти восьми книгах «Хвалебника» в форме креста.

И пальцем в воздухе он нарисовал этот знак:



— Да будет так! — закончил Старый Садовник под общие аплодисменты и обратил свой взор к Луне.

— Угу, и когда же это будет? — приготовился записать г-н Филин, но никто ему не ответил...

ГЛОБУС КИЕВА

*Написано цветными фломастерами
на школьном глобусе Земли*

I

— Ой! — воскликнула Янка. — Что это?

— Все в порядке, княгинюшка, — откликнулся г-н Архивариус и хладнокровно всыпал себе в рот целую пригоршню таблеток экстракта валерианы. — Просто мы едем по потолку.

— По потолку? Вниз головой? Тогда почему мы не падаем?

— Ха-ха! — г-н Архивариус напустил на себя игривый вид. — А вот и угадайте, почему мы не падаем!

— Угу! Как же тут *угудать*?

— А вас никто и не просит, дражайший господин Филин. Ваша задача не угадывать, а записывать.

— Угу, опять мне клюв закрывают! Эх, никто, никто меня не любит...

— Ну что вы, господин Филин, — попыталась успокоить ученого секретаря Янка. — Мы все вас любим.

— Никто не ценит...

— Мы очень вас ценим. Напрасно вы так сокрушаетесь.

— Не обращайтесь внимания, княгинюшка, — саркастично ухмыляясь, сказал г-н Архивариус. — Это он цену себе набивает.

— Угу, никому-никомушеньки я не нужен!

Тут послышались жалобные всхлипывания Вялого Горбуна, и Фургон, который все это время он тащил по потолку, начало изрядно трясти вместе с его всхлипываниями и путниками.

— Так! — строго сказал г-н Архивариус. — Сейчас же прекратите давить на жалость, дражайший г-н Филин, не то наш вялый двигатель захлебнется и выйдет из строя. Вы же знаете, какой он чувствительный.

— Подумаешь! Я тоже чувствительный, — запальчиво заявил г-н Филин. — Только кроме Вялого Горбуна этого почему-то никто не чувствует. И что такого плохого я сделал? Что плохого сказал?

Тут уж Вялый Горбун окончательно дал волю чувствам: он громко разрыдался, отчего весь Фургон затрясся еще сильнее.

— Вы были неучтивы по отношению к Ее Высочеству, — продолжал г-н Архивариус, голос его мелко дрожал от ужасной тряски.

— Угу? Я не учтив?

— Да, именно вы.

— Этого не может быть! Я всегда учтив!

— Вы беспардонно влезли в наш разговор и ничтоже сумняшеся заявили, будто невозможно угадать, почему мы передвигаемся по потолку и не падаем.

— Угу, — невозмутимо подтвердил г-н Филин. — Угудать невозможно. Что угу, то угу.

— Ну, вот видите? Я же в свой черед дал вам понять, что моя загадка относится вовсе не к вам, а к Ее Высочеству, то есть к нашей дорогой княгинюшке...

— Послушайте, — сказала Янка. — Послушайте, друзья мои, перестаньте препираться и лучше объясните мне, что здесь происходит. А то я ничего не понимаю: что это за потолок такой странный, и как мы на нем оказались?

В предвкушении триумфа г-н Архивариус потирал ручки. Казалось, он уже позабыл о ссоре с этим невыносимым, с этим дошным, с этим нудным и плохо воспитанным ученым секретарем. Отдернув шторку, он сказал с подчеркнутой небрежностью:

— Весь фокус в том, княгинюшка, что Киев — город шарообразный. Да-да, совершенно круглый. Со всех сторон.

— И что же?

— Видите ли, княгинюшка, он не только кругл и шарообразен. Он еще и вращается! Так что, насколько я могу судить, в настоящее время он повернулся ровно на сто восемьдесят градусов, только и всего.

— Угу, хорошенькое дельце, — проворчал г-н Филин и уже хотел дальше развивать свое ворчание, но был остановлен повелительным жестом Янки.

— Господин Архивариус, вы хотите сказать, что и мы тоже повернулись вместе с этим...

Она не договорила, удивившись собственной догадке.

— Совершенно верно, княгинюшка! Вы исключительно проницательны, в отличие от некоторых, — и г-н Архивариус красноречиво покосился на ученого секретаря, который уже быстро строчил пером по манжете. — Сей незатейливый фокус заключается в том, что мы находимся в Замке, который, в свой черед, покоится на самом округлом месте шарообразного города, и если бы, не приведи Господи, наш Замок со всеми его башнями, бастionsами и лестницами не пожелал перемещаться вместе с городской поверхностью, то страшно даже подумать... Он неминуемо развалился бы на мелкие кусочки! Рассыпался бы в прах!

— Угу! — ужаснулся г-н Филин и стал строчить еще быстрее, как бы стараясь опередить надвигающуюся катастрофу.

— И вот в этом круглом, шарообразном городе все округляется и закруляется: улицы, бульвары, площади, углы домов, вершины храмов. Даже жители его — и те какие-то округленно-закругленные, крученые-верченые, со всевозможными вывертами и завихрениями в своих шишкастых головах. Ну да что зря говорить! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — и г-н Архивариус осторожно извлек из-за пазухи большущий шар, отлитый из серебра и филигранно инкрустированный алмазами, от которых во все стороны сыпались брызги света.

— Какое чудо! — Янка восторженно захлопала в ладоши.

Г-н Архивариус купался в блаженстве и брызгах света. Он уже и сам весь сверкал: ведь не часто доводится производить на царственных особ столь сильное впечатление. Он элегантно раскланивался, словно иллюзионист на арене цирка после только что успешно сотворенной феерии; он гордо выпячивал грудь и победоносно вращал глазами, а то вдруг начинал мяться, краснеть и расшаркиваться, скромно опуская глаза, будто сам и был этой прекрасной феерией и теперь испытывал некоторую неловкость от столь очевидного своего величия. В общем, г-н Архивариус так увивался, извивался и выкаблучивался, что ноги его, в конце концов, перепутались между собой, и он чуть не растянулся на полу.

— Это же какое чудо! — не переставала восхищаться Янка.

— Еще бы, Ваше Высочество! Перед вами Глобус Киева. Или, если выражаться научно, его точная метафизическая копия... Я бы даже сказал: трансцендентальный эквивалент, представляющий собой абсолютно идентичный аналог...

— ... трансэквивалентный тавтолог... — сосредоточенно бубнил г-н Филин, низко склонившись над манжетой.

— Разве не удивительно, друзья мои? Всякий раз, выходя из дому, вы можете совершить пусть и маленькое, но зато кругосветное путешествие. И тот, с кем вы едва успели проститься, глядишь, уже идет вам навстречу с распростертыми объятиями, ибо, как вы понимаете, всякое движение на Глобусе Киева имеет замкнутую траекторию!

— ... зам-ко-ву-ю траек-то-ри-ю... — пытался повторить ученый секретарь и с подозрением уставился на неподвижно стоявший перед ним шар.

— Вот оно что, — задумчиво произнесла Янка. — Значит, все дело в Глобусе. Жаль, что я раньше об этом ничего не знала... Иногда тебе кажется, что ты ходишь кругами бесцельно, ни о чем не думаешь, а раз ни о чем не думаешь, то и не можешь понять, какая сила тебя ведет... туда или сюда... Вот так ходишь-бродишь вокруг да около, а смысла никакого. Правда, иной раз я что-то такое чувствовала, что-то необычное. И тогда сердце в груди замирало, как будто падаешь в пропасть или, наоборот, летишь в небо... Наверное, я говорю глупости, да?

— О нет! Это вовсе не глупости! — с энтузиазмом подхватил г-н Архивариус. — Нужно доверять своему внутреннему голосу, тем более живя на глобусе Киева! Вот что я вам скажу, княгинюшка: всегда найдутся умники, которые попытаются уверить вас, что город наш зиждется на трех китах или покоится на трех слонах, или, что еще несусветнее, на некоем безмозглом гранитно-базальтово-глинистом плато. Все это наглый поклеп. Смело расмейтесь профанам в лицо! Ибо великий круглоград сей не только не зиждется и не покоится, но даже не стоит и не лежит. Сколько его помню, он всегда пребывал исключительно в подвешенном состоянии.

— ... под-ме-шан-ном сос-то-я-ни-и... Угу! — дописал г-н Филин и с хрустом расправил затекшие крылья.

Невольно подчиняясь этому крылатому жесту, Фургон остановился. На мгновение Янке почудилось, будто она и вправду на-

ходится в подвешенном состоянии. Г-н Архивариус приоткрыл дверцу Фургона и, сам оставаясь внутри, любезно предложил Янке милостивейше соизволить выйти.

— Куда выйти? — растерялась Янка.

— На потолок, Ваше Высочество!

— Хорошо, я попробую.

Очень осторожно, страшась упасть *вверх*, который теперь был *низом*, Янка носочком коснулась белой поверхности потолка и уже в следующее мгновение поняла, что твердо стоит на нем обеими ногами, бережно поддерживаемая под локоть г-ном Архивариусом. Вокруг, на потолке, было голо и пусто, если не считать торчавшей в самом его центре хрустальной люстры, — она сейчас напоминала какое-то дерево, переливающееся мириадами огней. Зато с пола угрожающе свисала громоздкая мебель.

— Но позвольте, господин Архивариус! Если мы и в самом деле находимся на потолке, то почему же тогда мебель не падает нам на голову? Она что, вся приклеена?

— Вовсе нет, княгинюшка. Просто, не являясь предметом одушевленным, мебель, как и остальные сугубо функциональные вещи, находится там, где ей и положено находиться, то есть на полу. Природа стремится к рациональности, а что может быть нерациональнее, чем потолок, изуродованный комодами или кушетками? Согласитесь, такие передвижения были бы абсурдными и к тому же повлекли бы за собой неисчислимые разрушения. Иное дело — человек! Он, так сказать, предмет одухотворенный, а потому — волен перемещаться сам и перемещать вместе с собой...

Г-н Архивариус запнулся, потому что в эту минуту, кряхтя и обливаясь потом, г-н Филин выволакивал из скрипящего Фургона драгоценный Глобус Киева. Вялый Горбун обхватил голову руками и втянул ее в плечи, страшась даже взглянуть на этот чреватый катастрофой Филинов труд.

— Эй, эй! Господин Филин! Это вам не склянка с чернилами! Известно ли вам, каким кошмаром может закончиться любое ваше неосторожное движение? — Г-н Архивариус умолк и тревожным взглядом провожал тяжелый шар, за которым ученого секретаря почти не было видно. — Осторожно... не споткнитесь!

— Угу-угу... — г-н Филин натужно тарачил глаза.

— Так... хорошо... хорошо... Теперь — левее! Ага... Стоп! Теперь подхватывайте снизу! Снизу! Где у вас низ, дражайший? Так-

так, вот... сюда. Ставьте сюда! Я сказал: ставьте! Нет-нет! Держите-держите, теперь уже держите! Подоприте коленом. Я сказал: коленом!..

— Угу... у меня... нет колена!

— Ах, у него нет колена! — всплеснул руками г-н Архивариус. — Так зачем вы взялись не за свое дело? Попробуйте только уронить! Господи милосердный! Держитесь, я сейчас... Ну что за беда с вами! Постойте, не шевелитесь, я сейчас помогу!

— Угу!

— Вот... Сюда... так... Очень хорошо. А теперь отойдите от Глобуса, и подальше: так всем будет спокойнее.

Г-н Архивариус повернулся к Янке и, тяжело переводя дух, спросил:

— На чем мы остановились?

— На потолке, — едва слышно отозвался г-н Филин из своего далека.

— Гм... пожалуй, вы правы, любезный мой секретарь. И нынешнее наше положение нуждается в более пространным пояснении, дабы вы, княгинюшка, как можно глубже прониклись герметической сущностью великих Городских Вибраций и никогда впредь не смущались умом и сердцем.

— Ну что ж, я готова выслушать вас, г-н Архивариус.

— Эй, господин Филин! Что это вас трясет как мышь летучую?

— У-гу, ды-дрожат кы-кы-кы-крылья. Кы-крипатура. Не-не могу запи-писывать.

— Ну, тогда просто слушайте.

Г-н Архивариус покачал головой, как бы говоря: «Вот помощничек мне достался!», но тут же преобразился, как это свойственно настоящему рассказчику.

— Итак, — начал он, — воистину неизъяснимо великое *corpus naturale*, то есть «тело природы», как любили говорить древние мудрецы, и неисповедимы его телодвижения! Судите сами, друзья мои: как часто, ни с того ни с сего, без какого-либо принуждения, шарообразный наш город начинает крутиться и вертеться в самых разных направлениях, что вызывает у наиболее чувствительной части горожан большие или малые головокружения. Вы спросите: что же с этим делать и как с этим бороться? Ответ будет таков: ничего не делать и никак не бороться. Надо просто кружиться вместе с головокружением. В противном случае вы рис-

куете быть сорванными центростремительной силой, будто прекрасные розы ураганным ветром со своей обжитой клумбы. И где тогда прикажете эти розы искать? К тому же, если центростремительная сила воздействует на физические тела, каковыми являемся и мы с вами, и те же злополучные розы, то другая сила, центробежная, абсолютно равная ей по величине и воздействующая не на тела, но на связи, унесет с собою ваш разум. Из всего этого можно заключить, что не человек сходит с ума, а ум сходит с человека, подобно тому, как океан покидает берег во время отлива. Иными словами, вас сметет с лица города!..

С видом человека, внезапно вспомнившего что-то очень важное, г-н Архивариус достал из кармана какой-то янтарного цвета флакончик, накапал прямо в рот несколько капель и продолжал:

— Ох уж эти медики! С каким напыщенным самодовольством рассуждают они о гипертонических кризах, о вегетососудистой дистонии, о злоупотреблении алкоголем и курением, как будто все это, вместе взятое, может заставить целую городскую массу вертеться вокруг своей оси! Вот так таинства Космоса подменяются проблемами персонального здоровья. Невдомек этим убеленным сединами и отягощенным наградами подагрикам, в чем суть высокого супранатурализма, — с этими словами г-н Архивариус снял с головы свой ученый колпак, видимо, в знак нижайшей почтительности перед непостижимыми высотами супранатурализма. — А бывает, что город ни с того, ни с сего повернется всей своей улично-площадной громадиной этак сразу градусов на сто восемьдесят! Вот как сейчас. И замрет, притаится... И что тогда мы с вами видим?

— Угу, и что же вы видите? — насторожился г-н Филин.

— Кстати, княгинюшка, вероятно, вы не раз замечали, что при резком смещении городских полюсов шагать вверх по Андреевскому спуску гораздо легче, нежели вниз.

Янка неуверенно кивнула.

— А город не шелохнется, не вздрогнет, словно неживой. И так он может висеть себе и висеть — день, другой, третий...

— ... четвертый, пятый... — со знанием дела свернул ученый секретарь, заметно приблизившись к Глобусу Киева.

— Всю природу проникает так называемый «космический желатин»: пространство и время быстро сгущаются и наступает пора Семи Пятниц. О, как описать это всепожирающее состояние

кататонического ступора, когда даже самые легковесные из поэтов охвачены романтической ипохондрией и мировой хандрой, которую некий горестный селекционер Цветов Зла называл коротким и емким словом *ennui*¹ Увы! Поэты больше не желают впадать в а *fine excess*, то есть в «чудесные крайности», столь свойственные истинному искусству. Они даже не пытаются хоть чуть-чуть напрячься и вспомнить изначальный райский язык, отблеском какового, как учат суфии, является человеческая поэзия. Вместо этого они забросили в пыльный угол подарок великого Гермеса — волшебную лиру — и теперь угрюмо цедают подкрашенное под цвет жизни дешевое вино. И отравленная река катит свои волны на мельницу их уныния...

— ... увы-ни-я... — старательно записывал г-н Филин.

— Что говорить, если даже философы (чей разум должен всегда бодрствовать) в такие дни, подобно Эпимениду, плавно погружаются в глубокий пещерный сон, и вот они уже больше похожи не на философов, а на спящих красавиц, или на неподвижные личинки в своих хрупких кризалидах, из которых, хочется надеяться, быть может, когда-нибудь и выпорхнут на свет Божий дивные бабочки... О, это странное, это непостижимое состояние, когда мужчины и женщины напоминают так называемые «мертвые письма», написанные и отправленные неизвестно кем, да так и не попавшие к адресату. И куда ни пойдешь, повсюду едва тлеющие чахлые светильники жизни. Молчит душа человеческая — молчат великие маги, ибо больше не могут они приводить ее угасшие вибрации в гармоническое соответствие с вибрациями Космоса, который — о, ужас! — кажется, тоже умолк навеки... Никто! Никто не беседует с Ангелами, никто не занят Великим Деланием! Вообразите только, драконы с горящими карбункулами на голове, и те, вместо того чтобы зорко стеречь сокровища древних замков, уподобляются дряхлым пенсионерам, дремлющим на потрескавшихся лавочках. Одна лишь охлократия, как ни в чем не бывало, ест, пьет себе и веселится, подбадриваемая хитрым Приапом, в то время как даже их дома схожи с опустевшими и погасшими кальянами.

— И что тогда? — не выдержав нагнетания безысходности, спросила Янка.

¹ Тоска (*франц.*).

— И вот тогда-то, — подхватил г-н Архивариус, — в такие вот окаменевшие дни, даже моя всем известная нечеловеческая трудоспособность...

— ... труд-но-спо-соб-ность... — не отставал ученый секретарь.

— ... растворяется в атмосфере всеобщей изнуряющей лени, и я, оставляя в покое бумагу, чернила и все эти свои бесконечные архивные поиски, предаюсь научному созерцанию в поте лица моего. Да, друзья мои... На этом можно было бы и остановиться, но увы и ах!..

— ... угу и ух!.. — откликнулся ученый секретарь.

— ...ибо я уже никак не могу остановиться, — внезапно меняясь в лице, продолжал г-н Архивариус загробным голосом, — поскольку относительно всего вышесказанного в науке существует и другая, более радикальная интерпретация. Например, Корнелий Пертурбат, который, как известно, разработал теорию глобальных исторических отвислостей, поверив ее метафизикой геоконечностей, коченеющих на ветрах эволюции, в своей книге «Адамово яблоко Киева» утверждает, что будто бы город наш не то чтобы подвешен, о чем я уже говорил ранее, а еще хуже — повешен... Город-висельник, с вашего позволения.

— Какой ужас! — воскликнула Янка.

— Ужас? А вы когда-нибудь слышали, княгинюшка, как по ночам скрипят двери домов на своих петлях или стволы деревьев?

— Конечно, слышала. Ну и что?

— А как стынет кровь в жилах, когда пугливыми шажками продвигаешься по темной-претемной улице, — г-н Архивариус, войдя в образ, наращивал голос, — и в ледящем душу страхе шарахаешься от этих ужасающих поскрипываний. А если еще и филин какой-нибудь заушает во тьме свое злое «угу!»...

Г-н Архивариус так и не закончил свою мысль.

— Однако, г-н Филин, будьте столь любезны, подайте нашему перводвигателю нюхательной соли: похоже, у него обморок.

Ученый секретарь бросился на помощь Вялому Горбуну, который лежал кверху носом и источал бледность. Но, увы, нюхательная соль не помогла. Испробовав по очереди нюхательные табак, сахар, корицу и даже перец — и все безуспешно! — г-н Филин принялся что было мочи хлестать бездыханного Вялого Горбуна крыльями по щекам и хлестал до тех пор, пока тот не очнулся. Уже через несколько минут страдалец очухался окончательно и даже смог держаться на ногах без посторонней помощи. Он за-

стенчиво улыбался, утирая платочком обильные слезы облегчения, вздыхал, подрагивая конечностями, и снова застенчиво улыбался. Удостоверившись, что Вялому Горбуну больше ничто не угрожает, Янка взяла под руку г-на Архивариуса и, отведя его в сторонку, спросила:

— Послушайте, неужели все, что вы сейчас нам рассказывали, может иметь столь мрачное толкование? Ну подумаешь, дверь скрипнула — что тут такого страшного? По-моему, вы только зря напугали Горбушу.

— Увы, княгинюшка, — печально молвил г-н Архивариус. — Обморок Вялого Горбуна — это вопрос веры. А если верить знаменитому Корнелию Пертурбату, жизнь висельника, каковым он считает наш шарообразный город, сродни жизни оборотня: то, что еще вчера нам представлялось невинным скрипом дверей и деревьев, сегодня уже — скрип виселицы и веревки.

— Угу, а завтра? — спросил г-н Филин и с опаской посмотрел на Глобус Киева.

— А завтра — это уже музыка бубна и флейты! Таковы Пертурбатовы метаморфозы: от Природы в ее бесконечном целом — к частному трагикомическому бытию, подвешенному между жизнью и смертью, и, наконец, к искусству развешивания фонариков, звезд, регалий, клюквы, лапши и еще многого другого. Вы это записали, господин Филин?

— Угу, natürlich! — и ученый секретарь с видом ущемленного самолюбия продемонстрировал усеянную каракулями накрахмаленную манжету. — Вот только перо затупилось.

— Так поспешите заострить его, коллега, иначе вы не запишете самого главного.

Г-н Архивариус присел на подножку Фургона, неторопливо извлек из-за пазухи курительную трубку, набил ее душистым табаком и, чиркнув спичкой о край ученого колпака, высек огонь и прикурил. Сейчас у него был вид человека, который на долгом и трудном жизненном поприще достиг высших свершений и теперь с блаженством наслаждается заслуженным отдохновением. Вероятно, иного мнения был Вялый Горбун: он вставил в уши беруши и прилег поспать.

¹ Естественно! (нем.).

— Случилось это много лет назад, — начал свою очередную историю г-н Архивариус, смешивая слова с ароматным дымом. — Милостивым повелением герцогини Эсклермонды я был назначен на свою нынешнюю должность и со свойственной мне энергией тотчас принялся за дело. Уже тогда, наводя порядок в порядке запущенном Большом Замковом Архиве, я обратил самое пристальное внимание на этот странный топоним КИЕВ, который то тут, то там с таинственным постоянством попадался мне на глаза, будто хотел сказать о чем-то важном. «Что бы он мог значить? — думал я. — Какая *enigma* сокрыта в этом древнем иероглифе?» Надо вам сказать, что я сразу отмел всяческие школярские рассказы и о трех братьях, и о татарском следе с его жуткой «куявой». Подобные измышления напоминают мне известные в ботанике «эфемерные цветы»... Знаете, это такие цветы, которые уже после нескольких часов цветения увядают. Не следует также доверять и так называемой «бильярдной концепции» происхождения топонима КИЕВ некоего Опанаса Козобасиса. Речь идет о поисках «сокровенной небесной лузы». А найдена она будет якобы в конце всех времен. И вот тогда, утверждает Опанас, из неба высунется «гигантский кий», сверкающий в огненных сполохах солнца и в «облаках звездного талька». И высунется он для того, чтобы одним точным ударом вогнать наш многострадальный шарообразный город в «небесную лузу». Вот откуда и одно из его названий — Киев-шар. А весь этот апокалипсис именуется Конечным Шарогоном. Очень обидно, господа, что подобная ересь, как ни странно, получила довольно широкое распространение! Но я-то знаю точно, что Опанас Козобасис состряпал свою, с позволения сказать, теорию вместе с Полковником Ферапонтовым...

— С Генералиссимусом? — переспросила Янка. — Не могу в это поверить!

— Видите ли, княгинюшка, в ту ночь они гоняли на бильярде шары в офицерском клубе и изрядно подогрелись вином и азартом. В таком состоянии они и нагородили всякой чуши про Последний Шарогон. Наутро Полковник Ферапонтов совершенно ничего не помнил. А вот амбициозный и более трезвый Опанас Козобасис помнил все и принялся доказывать Генералиссимусу, что будто бы исконными племенами, населявшими Киев-шар, были миролюбивые шарманы и воинственные шаровары, между

которыми разница примерно такая же, как между афинянами и спартанцами, и что именно они и заложили основу будущей цивилизации. Не то огорченный тяжелым похмельем, не то оскорбленный словом «цивилизация», Полковник Ферапонтов потребовал незамедлительного удовлетворения.

— Угу! И он его получил?

— Нет. Козобасис тут же представил Генералиссимусу справку о том, что у него острое респираторное заболевание после принятия им душа Шарко и, кашляя и сморкаясь, быстренько покинул клуб... Но, кажется, мы отвлеклись. Итак, возглавив Большой Замковый Архив, я взялся за самостоятельное расследование, и если бы не трагическая пропажа Волшебного Изумруда, то без особого труда докопался бы до истины. Но делать было нечего, пришлось пойти старым, но верным, хотя и весьма изнурительным путем. Начал я с того, что начертил слово КИЕВ на стене нашего скриптория и в течение долгих месяцев каждый день брал у него этимологические анализы. Можете мне поверить, никогда еще мир науки не знал большей скрупулезности. Кроме того, используя некоторые древние восточные техники, подсказанные мне совершенномуудрым По, я погружался в глубокую медитацию, в то время как По сопровождал ее самой изощренной игрой на бронзовом чу-гуне эпохи Тан. Дух мудрости и красоты царствовал над нашими бдениями. Я чувствовал, что близок к цели, но все же чего-то не хватало, для ее окончательного достижения... Тогда с помощью моего друга, великого мага Магора, я вошел в переписку с самыми выдающимися умами Востока и Запада и получил доступ к самым богатым библиотекам и архивам мира, в особенности к тем, что давно погибли в пожарах или были просто разрушены, за что знаменитый Страбон назвал меня Божественным Пылеглотом. Попутно я написал множество научных трудов, так или иначе касавшихся моей темы. Самые значительные — это, пожалуй, вступительная монография «Мистерия Орфоэпического Коловорота», в которой я излагаю основы Теории округлости и общие пути и направления моих изысканий, а также три капитальных труда: «Потайная география Глобуса Киева», «Катакомбы смысла» и «Эзотерика киевских топонимов». Но вот настал счастливый день, и я держал в дрожащих от волнения руках драгоценные манускрипты из некогда утерянной библиотеки Гомелесов. Эти тексты, попавшие ко мне благодаря любезности князя Потоцкого, неопровержимо свидетельствовали о том, что слово КИЕВ есть не что

иное, как фонетически искаженное древнеарабское КЕЙФ!.. Вскоре я получил от почтенного Аль Хидра авторитетное подтверждение того, что сам по себе «кейф» действительно всегда круглый и его энергетика вихреобразна и носит циклический характер. Так что, как видите, все это прекрасно укладывалось в мою Теорию округлости. Тогда, оставив на время «застывший» КИЕВ, я, во вооружении новой теории, принялся смело препарировать постоянно изменяющуюся линию КЕЙФА и вскоре пришел к интереснейшему выводу, а именно: в слове КЕЙФ, особенно в просторечии, гласный звук [э], стремясь к своему завершению, то есть к округлению, постепенно трансформировался в звук [а], то есть в промежуточный на пути к абсолютному [о], откуда мы получили слово КАЙФ. Вот почему, понял я, все обитатели нашего города — либо «кайфоманы», блаженно попивающие «кайфе-кофе» в многочисленных «кайфейнях-кофейнях», либо вредные «кайфоломы», которые и сами не живут, и другим не дают наслаждаться жизнью. Если же учесть, что в слове КИЕВ срединное звукосочетание гласных [ie] подвержено постоянному инверсионному чередованию [ie]-[ei], — поскольку этимологически оба они восходят к КЕЙФУ, то, начертав зеркальную форму ВЕЙК или ВИЕК, и, заменив на письме дифтонг [ie] на «ять», мы, как и следовало ожидать, получим слово ВЕК¹. И это принципиально, ибо дает нам полное научное право говорить не просто о КАЙФЕ, а о ВЕЧНОМ КАЙФЕ. И если РОМА² — это AMOR³, то КИЕВ — это ВЕЙК, он же ВИЕК, а стало быть, ВЕК...

Г-н Архивариус снова подкурил погасшую трубку и продолжал:

— Если же допустить, что в слове КИЕВ нежданно-негаданно, как в ожившем вулкане, начнутся и пойдут необратимые процессы, то на будущее можно с большой степенью вероятности предположить следующий результат: КИЕВ сначала превратится в просторечное КАЙВ, затем в КАВУ, или КОЙВ, или КОФ... Гм, я не слишком утомил вас, княгинюшка?

— Нет-нет, что вы! Все это так интересно, господин Архивариус... Но, если честно, меня больше устраивает застывшая форма. Я знаю ее с детства. Я привыкла к ней, привязалась...

¹ В оригинальном тексте рукописи слово «ВЕК» было написано через Ъ («яТЬ»), т. е. «ВЪК». — *Примечание Издателя.*

² Рим (*итал.*).

³ Любовь (*итал.*).

— Ох, как я вас понимаю, княгинюшка! Но что поделаешь? *Tempora sphaerantur!* Времена округляются, как люблю я говорить. И все остальное здесь тоже стремится к округлению.

— Ого! — в изумлении воскликнул г-н Филин вместо своего традиционного «Угу!».

Янка так и прыснула со смеху, а г-н Архивариус, подболевшись, грозно обратился к ученому секретарю, уже наполовину округлившемуся:

— Отодвиньтесь от Глобуса! Сколько раз повторять вам?

— Угу! — обиделся г-н Филин. — Но я же аккуратен. Я же...

— Знаем мы ваше «аккуратно», — проворчал г-н Архивариус. — Если бы не моя своевременная помощь, то весь мир уже летел бы кувырком. И все по вашей милости. А хуже всего то, что, отираясь рядом с Глобусом Киева, вы своей личностью затеняете его теллурические линии.

— Чего? — не понял ученый секретарь, но г-н Архивариус не удостоил его объяснением того, что такое теллурические линии, а вместо этого начал вдохновенно излагать невероятную историю серебряного Глобуса Киева. Вкратце она сводилась к следующему.

III

Никто не знал точно, кем и когда был сработан этот замечательный шар. Поговаривали, будто он — дело рук преподобного Роджера Бэкона, справедливо прозванного *doctor mirabilis*¹. Утверждали, будто бы в этом Глобусе сей выдающийся муж воплотил все свои великие познания в астрономии, математике и оптике. Как всегда, нашлись и злопыхатели, стряпавшие лживые доносы, в которых обвиняли славного оксфордского профессора и его верного ученика Бунгея в том, что якобы по ночам они вдвоем изготавливают какую-то металлическую голову, чтобы с помощью мерзкого колдовства оживить ее и заставить вещать и пророчить. Говорящие головы в те времена были в большой моде в Европе, так что не удивительно: чуть только завидев что-нибудь *in forma sphaerica*², невежды сразу делали однозначные выводы. Мы же можем с удовлетворением отметить, что все эти суеверия давно канули в вечность, а доказательств того, что Глобус Киева сотво-

¹ Доктор удивительный (*лат.*).

² В округлой форме, в форме круга (*лат.*).

рен Бэконом и его учеником, как не было, так и нет. И в этом нет ничего необычного, ибо по скромности своей и во избежание неприятностей истинный творец следует мудрому совету Фомы Кемпийского: «*Ama nesciri*», что означает: «Люби пребывать в безвестности».

В дальнейшем многие века и многие гении оставили свой след на поверхности Глобуса Киева. Здесь трудились лучшие лудильщики, гранильщики, граверы, чеканщики, мастера по дереву и кости и прочие, не говоря уж об археологах, геодезистах, историках, астрономах и географах. Работа специалистов здесь никогда не прекращается: два раза в год — в сентябре и феврале — серебряный шар со всеми почестями устанавливается в Зеленой Мастерской (которая, между прочим, имеет идеально круглую форму) и под торжественное пение хора на его поверхности воспроизводятся все необходимые поправки, дополнения, а также реставрационные работы. План действий обдумывается заранее для того, чтобы весь процесс длился не больше часа.

— А к чему такая спешка? — спросила Янка.

— Видите ли, княгинюшка, Глобус Киева необходимо хранить в темном и сухом месте. На свету он начинает быстро расширяться, и если невзначай зазеваешься, то потом очень непросто запахнуть его сначала в Фургон, а затем — ко мне за пазуху. В общем, это вам не какой-нибудь игрушечный Мадуродам, — пояснил г-н Архивариус. — Если представится подходящий случай, я покажу вам знаменитые карты Микробиуса — карты, составленные столь тщательно и подробно, что на них указано даже то или иное количество этажей и лестничных переходов в каждом из городских зданий и даже внутреннее расположение квартир и учреждений.

— Да что вы говорите? — не то восхищенно, не то изумленно воскликнула Янка.

— Клянусь своим колпаком! Именно эти карты Микробиуса и легли в основу ежегодных сентябрьских и февральских мистерий, посвященных Глобусу Киева, о чем я уже вам рассказывал. Кстати, нашим мастерам приходится постоянно отображать на его поверхности все новые и новые строительства, перестройки, разрушения и ремонты, отчего и карты все время меняются...

— Эх! — воскликнул г-н Архивариус после короткой паузы. — Как много интересного и поучительного я мог бы открыть вам — стоит только ткнуть наугад пальцем, — и он ткнул пальцем наугад

в Глобус Киева. — Да вот хотя бы Оболонь! Клянусь стоптанными штиблетами Вялого Горбуна, вы себе и представить не можете, сколько необыкновенных историй связано с этим топонимом и с самой местностью. Одно из давних названий ее — Авалон. В представлениях древних переселенцев-кельтов она превратилась в остров блаженных, или остров яблок, со стеклянной башней в центре, уходящей под самые облака; а в башне той жили жизнью беспечальной прекрасные и вечно юные девы, стерегущие яблоки бессмертия. Именно туда великая фея Моргана перенесла смертельно раненного короля Артура, о чем мы можем узнать из сочинения Гальфрида Монмутского «Vita Merlini»¹. Как и следовало ожидать, после такого вольного обхождения с топонимами вместо научной ясности возникла антинаучная путаница: с одной стороны, в географическом местоположении искомой Оболони, а с другой — в этимологическом происхождении самого названия. В результате на смену *insulla Avallonis*², который Гальфрид употреблял в качестве валлийского эквивалента латинского *insula romogum*³, в науку внедряется совершенно нелепое понятие *insula vitrea*⁴ Гиральда Камбрейского. Этот популярный в двенадцатом веке хронист пытался нас уверить, что Авалон находится на территории Гластонберийского аббатства, поскольку место захоронения короля Артура на языке бриттов означает «Стеклоанный Остров», из которого позднее обосновавшиеся здесь саксы составили свое «Гластонбери», то есть «Стеклоанную крепость». Ну чем не анекдот?.. Как видите, друзья, одна нелепость неизбежно порождает другую, и в итоге на свет рождается то, что принято называть «научным спором». Увы, в муках рождается он, в муках и умрет. Я же, дорогие мои, ни с кем не спорю. Я просто и ясно доказываю, что Авалон — это и есть наша Оболонь, до которой, между прочим, с Подола — двадцать минут езды на обыкновеннейшем трамвае. А лингвистически оный «Авалон» — всего лишь аномальное отклонение от своего первоисточника, каковым и является «Оболонь», — отклонение, произошедшее в силу грандиозных этнических смещений и столкновений. Но сегодня мы видим, что «поврежденная» информация с Божьей помощью вновь

¹ «Жизнь Мерлина» (лат.).

² Остров Авалон (лат.) от валлийского *afal* («яблоко»).

³ Яблочный остров (лат.).

⁴ Стеклянный остров (лат.).

восстановлена, и все вернулось на круги своя, а причиной тому послужило природное стремление исконно шарообразного Киева к сохранению закругляемости всякой субстанции, теплящейся на его территории. Стало быть, как теперь не трудно заметить, в слове «Авалон» все звуки [a] с новой силой трансформировались в абсолютное [o], а согласный звук [v] стал значительно более обтекаемым [b], в результате чего мы и получили искомую [obolon']¹, о чем я повествую в третьей части своей «Эзотерики киевских топонимов».

Пока г-н Архивариус переводил дыхание, а Янка пыталась разобраться во всех этих лингво-детективных хитросплетениях, г-н Филин незаметно подобрался вплотную к Глобусу Киева. Он долго пялил на него свои круглые очи, а потом не удержался и наугад клюнул клювом.

— Угу, а это что?

— Ах, это, — устало молвил г-н Архивариус, почесывая затылок под своим ученым колпаком. — Это Куренёвка... Так... ничего особенного.

— Угу! — рассердился г-н Филин. — Как вы пальчиком ткнете, так целые трактаты. А если я клювом клюнул, то ничего особенного!

— Ладно, будет вам, дружище. Извольте, могу рассказать.

— Угу, только не надо делать нам одолжение, — гордо возразил ученый секретарь, беря под руку Янку.

— Ну как хотите...

— Нет-нет! Пожалуйста, расскажите про Куренёвку. Мы с бабой Маней всегда проезжали ее, когда отправлялись в Пущу-Водицу.

— В Пущу-Водицу? На охоту? Вы любите охоту, княгинюшка?

— Вовсе нет. При чем тут охота? Мы с бабой Маней собирали там грибы: маслята, лисички, опята... А что вас так удивляет, господин Архивариус?

— Да как вам сказать... Гм... Просто мне очень трудно представить себе вашу так называемую «бабу Маню», с лукошком в руках. А тем более в местах большой княжеской охоты. Олени, кабаны и медведи, призывные сигналы рожков и гулкий топот копыт... Да, все это теперь уже далекое прошлое.

¹ Оболонь — транскрипция. Так в оригинальном тексте рукописи. — *Примечание Издателя.*

Г-н Архивариус с любопытством посмотрел на Янку и спросил:

— А что, баба Маня ничего вам такого не рассказывала?

— Нет. А что вы имеете в виду?

— Ну, всякие там охотничьи истории с привираниями.

— Что вы, что вы, господин Архивариус! Какие уж тут охотничьи истории! Она и в грибах-то ничего не понимает. И сколько я ее ни учила — все без толку: заглянешь в ее лукошко, а там, как всегда, одни поганки да мухоморы.

— Ясное дело! — весело похохатывая, согласился г-н Архивариус.

— Пойдите, вы обещали рассказать про Куренёвку, — напомнила Янка. — Пожалуйста, не отлынивайте. И если можно, вы будете рассказывать, а я буду смотреть на Глобус Киева, и представлять себе всё как наяву.

Решив больше не испытывать терпения княгинюшки, г-н Архивариус тут же приступил к повествованию. Современная Куренёвка в эпоху Каролингского Возрождения была одной из резиденций Карла Великого и носила название *Cour-Neuve*, что означает «Новый Двор». Далее г-н Архивариус весьма красочно описал самого императора, его доблестных пэров с их острыми *gabers*, то есть шутивными пикировками, в которых невозможно было отдать кому-либо предпочтение, — столько остроумия и находчивости являл каждый из рыцарей. Перед внутренним взором Янки галопом проносились блистательные кавалькады, громыхали громоздкие, похожие на огромные кованые сундуки, кареты с многочисленными дамами сердца внутри, и в этих неуклюжих деревянных «сундуках на колесах», в этих обтянутых грубой кожей и мехом чревах маленькие *feminae magnate*¹ сверкали еще ослепительнее, будто изваянные из алмазов. Янке представлялись просторные, увенчанные гербами и украшенные сотнями стягов и выпелов ристалища, горластые герольды, их бесконечные *joutes de jactance*² и стремглав несущиеся навстречу друг другу всадники с тяжелыми тупыми копьями наперевес. И вот, наконец, все эти громогласные поединки в хуле, все это головокружительное хватство, вся эта «тяжба мужей», разрешающаяся мощным аккордом преломленных копий, с детской непосредственностью —

¹ Знатные дамы (*лат.*).

² Состязания в похвальбе (*старофранц.*).

sub specie ludi¹ — завершается веселым пиршеством, которое длится три дня и три ночи и которым управляет великая триада развлечения — сон, вино и музыка. И только премудрый Алкуин бродит в стороне от этой триады. При свете чадающих факелов он обдумывает главные принципы своих «Капитуляриев о поместьях», изредка прислушиваясь к шуму ночного ветра в листве таких же старых, как и он сам, дубов и к отдаленным звукам рожков и тамбуринов...

— К сожалению, теперь на месте этого Двора трамвайный парк имени Красина, — закончил свой рассказ г-н Архивариус.

Янка была совершенно очарована и рассказом г-на Архивариуса, и чудесным Глобусом Киева с его сверкающей географией. Вот Золотые Ворота с надвратной церковкой — в окружении кривых домиков горит золотой наперсток ее купола. Ах, какое же оно все маленькое! А вот и Рейтарская, и Стрелецкая... Дальше — Большая Житомирская. За ее излучиной — древние холмы, урочища... А это уже Андреевский спуск... и Замок! Вот он, испещренный множеством дырочек-окон, серебристо-серый кубик с одинокой башенкой, и на ней — шпиль тоньше иглы, с крохотным флюгерком. В глубине Замка горит изумрудное пятнышко...

— Светлячок, — шепчет Янка.

— О нет, княгинюшка, — шепчет в ответ г-н Архивариус; с величайшей осторожностью он извлекает этот чудесный источник зеленого света из глобусного Замка и заключает его в старинную серебряную оправу: получается необычный моноколь. — Это Великое и Необъяснимое. Сон Изумруда.

Затем протягивает моноколь Янке.

— Великое и Необъяснимое... — как во сне повторяет Янка, медленно поднося моноколь к своему лицу; и едва «сон Изумруда» коснулся глаза княгинюшки, все меняется: она видит саму себя, совсем крошечную — из какой-то миниатюрной жизни, — склонившуюся над Глобусом Киева, над которым, в свою очередь, повторяется в точности такая же живая картинка с Янкой над Глобусом, а в этой картинке — следующая, а в следующей — следующая за ней, — все меньше и меньше, и так, вероятно, до бесконечности...

¹ Под знаком игры (лат.).

Она трогает рукой шар, и тот медленно поворачивается вокруг своей оси, отбрасывая на лица путников ослепительные блики.

— Осторожно, княгинюшка! — испуганно кричит г-н Архивариус. — Заклинаю вас, не делайте этого!

Янка переводит изумленный взгляд вместе с изумрудным моноклем на г-на Архивариуса. Но вместо одного г-на Архивариуса она видит уходящий веером в зеленую мглу и бесконечный ряд Архивариусов. «Только не крутите Глобус! — множеством голосов зывают они к Янке. Вспомните: всякое малое связано со своим большим, и все повторяет друг друга!.. Ну вот... слышите?»

Все трое, за исключением Вялого Горбуна, который безмятежно спит, застывают на месте, будто на них напал столбняк... И действительно, где-то далеко-далеко внизу, под ногами, словно рокочет гроза, ее раскатистый гул быстро нарастает, вызывая в пятках легкий зуд... И вот уже дрожат огни, дребезжат стекла Фургона... Голова у Янки идет кругом, но все же она успевает заметить, как на Глобусе Киева удивительнейшим образом каролингская Куренёвка и грибная Пуща-Водица соединились с Печерском, Северная Троещина — с Южными Осокорками, а Левый Берег непременно соединился бы с Правым, если бы по всей округности их не рассекал Днепр, который впадал в Днепр...

ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ КОТОМЫША ЛАВРЕНТИЯ ПЕЧЕРСКОГО

...К счастью, скоро Глобус Киева перестал вертеться. Он обрел прежний покой и теперь призрачно поблескивал в лунном свете.

— Фух! Кажется, на этот раз обошлось! — Г-н Архивариус все еще боялся пошевелиться.

— Не сердитесь на меня, господин Архивариус, — сказала Янка. — Честное слово, я не хотела его крутить, это получилось случайно.

— Ну, уж нет! Это вы меня простите, старого растяпу! Я просто обязан был предупредить вас заранее, а вместо этого истории рассказывал...

— Угу, пути склероза неисповедимы, — не замедлил едко съязвить г-н Филин. — Старость — не радость.

— Можете злорадствовать сколько угодно, дражайший господин Филин, — возразил г-н Архивариус, задетый за живое. — Обижаться на вас — дело пустое.

— Угу, — согласился ученый секретарь, — молодости от этого все равно не прибавится.

— Жалкий комедиант! — коротко ответил г-н Архивариус.

— Угу, дряхлый склеротик.

— Шут гороховый!

— Старый пустобай.

— Сова ушастая!..

Когда все эпитеты с обеих сторон были исчерпаны и путники уже собирались продолжить свое путешествие, приключилась еще одна неприятная неожиданность: за это время Глобус Киева так разбух, что теперь никакими стараниями невозможно было водворить его на прежнее место, то есть во внутренний карман камзола г-на Архивариуса. В конце концов, после долгих стараний, с величайшими предосторожностями разбухший шар погрузили в Фургон, а самим пришлось сильно потесниться.

— Ничего страшного, княгинюшка! — успокаивал Янку г-н Архивариус. — С Глобусом иногда такое случается: то худеет, то толстеет. Глубинные процессы, знаете ли.

— Угу, проблемы с обменом веществ? — предположил г-н Филин.

— Нет, все это из-за меня, из-за моей неосторожности, — огорчилась Янка.

— Исключено, княгинюшка! — поспешил заверить ее г-н Архивариус. — Нормальная пульсация. Она свойственна всем космическим телам. Обычное дело.

— А разве Глобус Киева — космическое тело?

— А как же! Любое тело так или иначе космическое: и Глобус Киева, и вы, и я, и даже этот вредный господин Филин, — г-н Архивариус нескрываемым презрением посмотрел на ученого секретаря и добавил: — С некоторыми оговорками, конечно.

— В таком случае, господин Архивариус, — решительно заявила Янка, — при соприкосновении меня, как космического тела, с космическим телом Глобуса Киева произошло расширение объема последнего.

— Интересная гипотеза, — озадаченно протянул г-н Архивариус. — А знаете, княгинюшка, что произошло, когда однажды

наш Глобус Киева столкнулся с Котомышем Лаврентием Печерским? Не знаете? Так я вам скажу. Дерзкий Котомыш укусил его, отчего в городе стряслось землетрясение!

— Угу! А я слышал, что это гномы под городом подкоп сделали.

— Ха-ха-ха! — нервно рассмеялся г-н Архивариус. — Вы еще скажите, что Глобус Киева налетел на небесную ось!

— А вот и скажу, раз уж вы настаиваете. Глобус Киева налетел...

— Еще раз объясняю: тут все дело в укусе! — прервал ученого секретаря г-н Архивариус.

— Да что вы говорите? — удивилась Янка, уже раз сто дававшая себе слово ничему не удивляться.

— Самый настоящий укус, — продолжал г-н Архивариус, стараясь сохранять спокойствие, что явно давалось ему с трудом, ибо при одном только упоминании имени Котомыша Лаврентия Печерского его бросало в нервный озноб. — Помнится, в тот памятный день на Флоровской горе хоронили Великого Кутищева Убиенного, но в действительности, как потом выяснилось, не Убиенного, а Восставшего-Из-Праха. Так вот, большинство горожан хорошо помнят, как на следующее утро все газеты и радиостанции наперебой сообщали об этом злополучном землетрясении. Эпицентр его будто бы находился где-то в Трансильвании. Однако уже в вечерних газетах было опубликовано авторитетное опровержение, подписанное членом-корреспондентом Академии Наук неким доктором К.-М.Л. Печерским, — тут г-н Архивариус многозначительно посмотрел на Янку. — И знаете, что заявил в своем опровержении сей ученый муж?

Янка пожала плечами.

— Ах, да! В то время вы же были совсем еще ребенком и газет не читали, — вспомнил г-н Архивариус.

— Признаться честно, я и землетрясения не помню, — застенчиво добавила Янка.

— И слава Богу! Уж поверьте, княгинюшка, штука эта пренеприятнейшая. А когда о ней пишут такие деятели, как К.-М.Л. Печерский, она становится и вовсе невыносимой!

— А что же он написал?

— Как что написал? Разве я не говорил?

Г-н Филин уже открыл свой клюв, чтобы сказать какую-нибудь очередную колкость, но был остановлен строгим взглядом Янки.

— Мы ждем, господин Архивариус, что вы расскажете, — сказала она.

— Да-да, конечно! Ну, так вот, княгинюшка, этот так называемый член-корреспондент в своем опровержении имел наглость сообщить правду о том, что в действительности эпицентр землетрясения находился вовсе не в Трансильвании, в чем вся общественность была уверена еще утром, а в районе спящего вулкана, каковым является старая Флоровская гора вместе с заброшенным кладбищем и секретным пеленгатором на нем.

— А зачем на кладбище пеленгатор? — осторожно поинтересовалась Янка.

Г-н Архивариус недоуменно развел руками.

— А в конце статьи, — продолжал он, — этот распоясавшийся самозванец имел наглость солгать, что якобы истинная причина бедствия крылась не в тектонических подвижках подземных пластов после коварного укуса, а в похоронах некоего «безответственного», как он выразился, спецкора Кутищева. После этого провокационного заявления в городе началась страшная неразбериха, а затем — настоящий террор. По улицам сновали черные как ночь администробусы с большими и малыми администраторами, повсюду рыскали толпы блюстителей порядка, и особенно пошли в рост зловещие тени из Серого Терема. Говорят, пострадали многие: одни за то, что вовремя не предвидели похороны, другие — за то, что не сумели предотвратить землетрясение, третьи — за разглашение государственной тайны (правда, что именно подразумевалось под «государственной тайной» — похороны «безответственного» спецкора Кутищева, наличие в самом центре города проснувшегося вулкана или секретный пеленгатор на его вершине, — так и осталось непонятным), ну, а четвертые пострадали за все сразу, и, надо сказать, таких оказалось большинство. Когда же в процессе Административного Расследования выяснилось, что ни о каком таком члене-корреспонденте докторе К.-М. Л. Печерском в Академии наук и слыхом не слыхивали (да и в Сельскохозяйственной академии тоже!), события начали разворачиваться в обратную сторону, что, кстати, немедленно отразилось и на нашем Глобусе Киева... В общем, там, — и г-н Архивариус махнул рукой куда-то вдаль, — все закончилось изумлением и досадой.

— Послушайте, — сказала Янка, не зная, смеяться ей или плакать, — вот вы все время ругаете этого Котомыша Лаврентия

Печерского и, наверное, справедливо ругаете, но только я не совсем понимаю, кто же он на самом деле. Если не член-корреспондент, не доктор, то кто?

— Шпион и мошенник! — отрезал г-н Архивариус.

— Угу, хулиган и проныра, — дополнил г-н Филин.

И тут, перебивая друг друга, оба ученых мужа начали составлять в подборе ниточнейших и наиправдивейших эпитетов для нелюбимого Котомыша Лаврентия Печерского.

— Интриган! — кричал г-н Архивариус, открывая этим «интриганом» уже второй десяток эпитетов.

— Заговорщик! — ухал в ответ г-н Филин.

— А я сказал: бесстыдник и прохвост! — настаивал г-н Архивариус.

— А я сказал: сквалыга и прощельга! — не отставал г-н Филин.

— Ворюга, говорю вам!

— А я вам говорю, ярыга и барыга!

— Мне?! — задохнулся от возмущения г-н Архивариус. — Вы это говорите мне?! Прохиндей!

— Угу, сам бестия!..

— Ну, хватит же! — резко остановила Янка распоясавшихся ученых мужей. — Достаточно! Надоело!

Ученый секретарь молниеносно ушел с головой в свои манжеты, а г-н Архивариус заявил, что, скорее иссякнет человеческий язык, нежели найдется исчерпывающее определение для Котомыша Лаврентия Печерского.

— Да, княгинюшка! — воскликнул он, читая недоверие в глазах Янки. — А дела его и того ужасней! Судите сами, ведь это именно пресловутый Котомыш, высланный герцогиней Эсклермондой и Магнусом Брюзгой из нашего Замка в ЖЭК №30/3, бесконечно усугубил у Начальника этого ЖЭКа манию величия, и теперь Начальник этот мнит себя вершителем судеб. И, что самое ужасное, — иногда их вершит! А многие предполагают, что это именно Котомыш незаметно выковырял из Глобуса Киева Волшебный Изумруд, а потом проиграл его в преферанс царю паразитов, повелителю вирусов, злomu гению мимикрии и мутации и нашему заклятому врагу Альгакобилле, которому только того и надо было. Кстати, тот Изумруд, в который вы только что смотрите, — совсем не тот Изумруд...

— Не тот?

— Вот именно, совсем не тот. Это Сон того самого Изумруда, который похитил Котомыш и который теперь томится в плену у Альгакобиллы. Но это так, кстати. А что до Котомыша, то, говорят, что это именно он расцарапал левую щеку Великому Кутищеву Убиенному — тому самому, который на самом деле Восставший-Из-Праха... Да что вы знаете! — все более взвинчивался г-н Архивариус. — Да ведь это мурло еще и книгу пишет!

— Угу! — откликнулся невзначай г-н Филин, который почему-то почувствовал себя несколько неуютно.

— Книгу? — недоверчиво протянула Янка.

— Вы представляете, княгинюшка? — застонал г-н Архивариус, словно испытывал нестерпимые муки — душевные и телесные.

— И что же это за книга?

— Книга?! Ах, прошу вас, не называйте эту галиматью «книгой»!

— Ну, хорошо, пусть будет «галиматья», — согласилась Янка. — Но она ведь имеет какое-то название?

— Галиматья? — недоуменно переспросил г-н Архивариус. — Ах да! Название имеет. Но его даже противно произнести вслух.

— И все же, — настаивала Янка.

— Нет-нет, княгинюшка, и не просите. Это невозможно. Это невозможно выговорить... Это... в конце концов, совсем не безопасно.

— Угу, просим-просим! — захлопал крыльями г-н Филин.

— А вас, молодой человек, прямо так и тянет на всякую, извините, «чернуху»! — огрызнулся г-н Архивариус на ученого секретаря. — Такое впечатление, что все противное сердцу и разуму человеческому доставляет вам удовольствие.

— Ну господинчик Архивариусик! Ну пожалуйста! — как можно ласковее попросила Янка. — Скажите, как называется галиматья Котомыша Лаврентия Печерского, а?

— Ах, княгинюшка, только ради вас, — нехотя сдался г-н Архивариус и, набрав в легкие воздуха, выдохнул: — А может, не надо? Может, все-таки в другой раз? Как-нибудь за чашечкой кофе, у камина...

— Ну же! — подбодрила его Янка. — Наберитесь мужества!

— Угу! И перестаньте мямлить!

— Хорошо, — простонал г-н Архивариус. — Видит Бог, я этого не хотел.

Он снова сделал глубокий вдох и, крепко зажмурившись, быстро выпалил:

— «Заветные чаяния величайшего Котомыша» — вот как называется эта галиматья.

Янка весело рассмеялась:

— Только и всего?

— Угу? — подхватил г-н Филин. — Всего и только?.. И вот из-за такого пустяка вы, господин Архивариус, опять обозвали меня «молодым человеком», чего, как вам хорошо известно, я органически не переношу, изобличали меня в любви к «чернухе» и недвусмысленно намекали на мой птичий разум, которому якобы приятно все, что противно...

— Да вы что! — в праведном возмущении перебил его г-н Архивариус и дальше продолжал уже в праведном изумлении: — Да вы хоть понимаете, какой опасности подвергаетесь? Да знаете ли вы, что написано в этой кошмарной галиматье? — Это было произнесено таким зверским голосом, что г-н Филин и Янка в испуге дружно замотали головами. — Вам не терпится отклонуть от запретного плода, господин Филин? Ну что ж, извольте!

С этими словами г-н Архивариус достал из-за пазухи пухлый томик, изрядно потрепанный от частого перечитывания.

— Сейчас! Сейчас вы сам все услышите... Только сначала заткните уши покрепче, потому что слышать это нельзя!

И Янка, и г-н Филин беспрекословно повиновались и заткнули уши, а г-н Архивариус принялся перелистывать потрепанный томик, при этом костеря Котомыша на чем свет стоит. Замусоленные страницы в некоторых местах так слиплись, что приходилось часто слюнявить пальцы.

— Угу, а вы не боитесь отравиться? — полюбопытствовал г-н Филин. — Вдруг страницы приправлены ядом?

— Что вы кричите, будто вас режут? — зашипел на него г-н Архивариус, отрываясь от кошмарного сочинения Котомыша. — Ах, да! У вас же уши заткнуты...

— Что вы сказали? — спросил г-н Филин, еще крепче прижимая крылья к ушам.

Но вместо ответа г-н Архивариус яростно зашептал:

— Нет, вы только послушайте, о чем пишет этот мракобес!

И он прочитал следующее:

«... Эх, если бы в один прекрасный день все поголовье населения Глобуса Киева — от мала до велика, включая грудных младенцев, немощных стариков и прикованных к постелям больных, — на счет «три!» подпрыгнуло разом, то, очевидно, Глобус Киева рассыпался бы в прах. Вот было бы интересно увидеть это с высоты птичьего полета!

Вывод: пора обзавестись крыльями, как у ангелов».

— А?! Каково?! — гневно воскликнул г-н Архивариус. — А вот другая дикость из этой же дикой книги, то есть галиматъи. Закрыйте уши и слушайте:

«... Эх, вот если бы в один прекрасный день со всех дверей на всем Глобусе Киева одним махом были сорваны все дверные ручки — как внутри, так и снаружи!..»

— Здесь Котомыш не делает никаких выводов, как, впрочем, и в следующем параграфе, где он мечтает, чтобы «ровно в полдень любого дня любого года» всё так называемое «поголовье населения Глобуса, включая коренных жителей, а также вставных и искусственных, единогласно чихнуло», а затем проследить, «доживет ли эхо чиха до полуночи или угаснет раньше?..» И поверьте, все остальное — в том же духе! Как подумаешь, что подобные бредни печатаются в издательстве «Веселка»...

— Угу! — встрепенулся г-н Филин. — Чему детишек-то учит, изверг!

— Ах, если бы только детишек! Сей злостный автор, который, представьте, собирается стать букеровским лауреатом, и взрослых не обходит вниманием. А уж если к кому прилипнет, так покуда не доведет до полного умопомрачения, не успокоится.

— Как это? — ужаснулась Янка.

Без лишних слов г-н Архивариус вышвырнул в окно Фургона «Заветные Чайяния Котомыша» и принялся сосредоточенно хлопать руками себя по бокам. Наконец, выбрав из множества карманов своего камзола один, он вытащил из него толстенную книговину цвета жухлой травы.

— Что это? — осторожно осведомилась Янка.

— Это? — переспросил г-н Архивариус. — О, это результат роковой встречи бывшего профессора философии Беневольского с Котомышем Лаврентием Печерским, которая произошла на лест-

ничной клетке возле мусоропровода: самое подходящее место для столкновения воинствующего атеизма с параноидальным идеализмом! В итоге — полное преобразование профессора-атеиста и, как следствие, его полная изоляция от утех брэнного мира.

— Угу, он что, помер? — осведомился г-н Филин.

— Вовсе нет, — возразил г-н Архивариус. — Во всяком случае, в прямом смысле....

— Угу, значит, ушел в кочегары или дворники, — предположил ученый секретарь. — В дворники, как Магнус Брюзга... Угу, какие уж у дворника утехи?!

— Да нет же, не уходил он в дворники. И поостерегитесь, дражайший господин Филин, проводить подобные параллели с Магнусом Брюзгой. К чему вам лишние неприятности?

— Так куда все-таки ушел профессор? — спросила с нетерпением Янка.

— Видите ли, княгинюшка, профессор не то чтобы ушел, он *удалился*. Он удалился, — с возвышенной скорбью в голосе продолжал г-н Архивариус, — в некую, не слишком афишируемую для широкой общественности казенную обитель, где и пребывает уже многие годы под неусыпным наблюдением и опекой тамошних братьев и сестер, и где он теперь познает нематериалистическую суть диалектики во всей ее целокупности.

— Угу! *Ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus*¹, — сухо отчеканил г-н Филин.

— Гм... Недурно сказано, господин ученый секретарь. Но цинично.

— А что он сказал? — поинтересовалась Янка, не зная латыни.

— Да так... — замялся г-н Архивариус. — Ничего утешительного: нашим профессором вплотную занялись врачи-психиатры. Но суть дела даже не в этом, поскольку, так или иначе, любое живое существо может представлять интерес для психиатрии. Важнее то, что именно там, как любил выражаться великий Данте, в *citta dolente*², то есть в скорбной обители...

— Кажется, вы называли ее казенной, — поправила г-на Архивариуса Янка.

¹ Где кончается философ, там начинается врач (*лат.*).

² Скорбная обитель (*итал.*) — обычно о месте, где страдает и мучается человек. Выражение принадлежит Данте (*Божественная Комедия, III, 1*).

— Ах, княгинюшка, это все равно, как мы назовем сию обитель, главное, что именно там, в минуты короткого отдохновения между инъекциями и процедурами, профессор Беневольский превратился в законченного визионера и под именем «Интеллигатор Белый» принялся за сочинительство вот этого философско-исторического трактата под названием «Три ипостаси Мирового Котостасиса»¹. Насколько мне известно, сочиняет он его и по сей день. У меня же в руках, княгинюшка, единственный экземпляр уже законченного произведения.

Г-н Архивариус раскрыл книговину — со скрипом, словно дверь отворил, — и то ли от ее страниц, то ли от ее содержания повеяло крепким больничным духом.

— Вот тут, — сообщил он, вода пальцем по странице, — в многословном Введении, профессор Беневольский предуведомляет читателя о том, что будто бы его посетило дивное прозрение и ему, далее цитирую, «подобно преподобному отцу Якобу Бёме и достославному Сведенборгу, было позволено коснуться тайная тайных нашего разветвленного Мироздания, в корневище коего царственно гнездится Мировой Котостасис в трех его универсальных ипостасях. Имя им: Котовасия, Котоклизма и Котарсис». В общем и целом, — с жаром продолжал г-н Архивариус, — космогония Интеллигатора Белого чрезмерно сложна и требует специальной философской подготовки, поэтому, дабы вас излишне не утомлять, скажу только одно: вышеупомянутое Триединство пребывает как бы в перманентном «продвижении-в-себя».

— И что это значит? — зевая, спросила Янка.

— О, это значит, что — далее цитирую, — «как только перезревшей Котовасии становится совсем уж неважно, она, силой заложенного в ней природного механизма, незамедлительно подвергается глубинной Котоклизме, реакцией на которую, естественным образом, становится длительный и яркий Котарсис...» А далее автор утверждает, что в результате Котарсиса на свет появляется Философская Котохреза — некая герметическая сущность, которая, между прочим, в своде прелестных рыцарских романов, принадлежащих перу Пафнутия Нехилого, получила благородное имя Мурмилот Узорный. К несчастью, труд сей, как известно, до наших дней не сохранился, кроме нескольких великолепных, но ни о чем не говорящих фрагментов. Зато о приключениях добле-

¹ Именно так, «Котостасис» через две буквы «о». — *Примечание Издателя.*

стного рыцаря сэра Мурмила Узорного мы можем прочитать в «Котологе Глории» — другом бесподобном произведении Пафнутия Нехилого. Вот, кстати, один из них.

Г-н Архивариус снова порылся в своих карманах и извлек несколько пожелтевших от времени манускриптов. Текст был написан красно-бурыми чернилами и довольно крупными буквами. Г-н Архивариус снял с головы ученый колпак и, торжественно прокашлявшись, начал читать вслух в какой-то заунывной, — должно быть, старинной, — манере:

«...И когда доблестный сэр Мурмилот Узорный — законный повелитель магического котолома и вседержитель чудоашеркота — вышел из сумрачных недр горы Поскотины, его охватила могучая и всепроницающая икота.

И тогда поднялся он на вышесказанную гору и на вершине ее облачился в бронированный коттон и надел котурны, и стальной котетер, и волшебный котел, в коем еще в незапамятные времена великий старец Магор варил из тысячи трав эликсир Вдохновения и Знаний.

И вот уже мчится-несется он верхом на боевом котофалке, запряженном Огнедышащей Скотиной, по широким дворам и дремучим задворкам, топча под собою мякоть и слякоть и посылая всем встречным звонкие икотины.

И в таковых скотаниях многотрудных проходит сто дней и ночей, и еще сто месяцев и сто лет. Но ни при полуденном светиле, ни в ночных котьмах, ни в бурю снежную, ни в иссушающий зной не ведает усталости сэр Мурмилот, рыцарь доблестный и приятный. И, воистину, ни за какие коврижки и квадрижки всего мира не променял бы он свои волькотные скотания на пышный диван, сушеную котлету и вечный покой в придачу к вышесказанным коврижкам и квадрижкам.

Но однажды, когда солнце уже котилось к закату, под высокою стеною Заколдованной Котельной, в одиночестве поглощая холодный антрекот, в честном бою отвоеванный у местного барона, сэра Адвакота Свирепого, сэр Мурмилот Узорный узрел своим золотистым зраком красавицу Мышанину.

Как обычно, в тот предзакотный час, повинувшись древнему закону предков, красавица оная Мышанина промышляла в здешних камышах под неусыпным присмотром своего престарелого дядюшки, седовласого сэра Мышьяка, рыцаря храброго и во всех

отношениях возмышенного. Но сегодня сей мышесказанный сэрумышленно похрапывал на мышистой земле, а рядом, невинно играя мышцами, резвились малолетние наследники — несмышленные подмышки. Красавица Мышанина, совсем одна, уходила все дальше и дальше в дремучие камыши.

Весь мир обкотал на своем котофалке доблестный рыцарь сэрумурмилот, многих кокоток пригожих встречая на своем пути, но никогда еще не лицезрел он столь величественной осанки и такого мышиностроения! Взял он в руки свой котомаран и ударил по его серебряным струнам, и запел прелестную котильону. А когда закончил сэрумурмилот Узорный, сорвал он со своей головы волшебный котел, и воскликнул он так: “О, дева юная, воистину прекрасен образ твой!”

И отвечала красавица Мышанина в величайшем смятении. И отвечала она так: “О, не мышай же мне, доблестный рыцарь сэрумурмилот! Разве не видишь ты, что я предаюсь всепоглощающей мышлени?”

И славному рыцарю сэрумурмилоту Узорному — да восславят его имя в веках благодарные котомки! — закотелось плакоть от счастья и вечно ласкотать возлюбленную красавицу Мышанину, деву юную и праведную.

И тогда бросает он прочь свой чудо-апперкот, и магический котолом, и бронированный коттон, и стальной котетер, и предстает пред девины очи как есть во всей своей красе и силе и в котурнах. И говорит он так: “О дева, ты окотила меня своею дивною мышленью. Так знай же, о прекрасная Мышанина, отныне и навеки я твой, а ты моя, ибо чистая и светлая мурмышель крепко связала наши сердца!”

И, таким образом высказав в сиих мышеловких словах всю свою любовь, сэрумурмилот Узорный страстно обнимает красавицу Мышанину и любезно приглашает сию сказанную деву тотчас, пока не пробудился седовласый сэрумышьяк, умышленно присоединиться к его всепроницающей икоте и вместе прокотиться на его свадебном котофалке в Вечность — до Гробовой Доски, ибо Огнедышащая Скотина уж давно оскотинилась на одном месте и бьет нетерпеливым копытом, громы и молнии высекая.

И вот уже свадебный котофалк мчитя-несетя под раскотистые звуки прелестной котильоны, и над ним развиваетя на ветру ослепительно-богатая мышура...

И в положенный срок у счастливых супругов рождается младенец Котомыш. И нарекают сего Котомыша славным именем Лаврентий Печерский, ибо великолепное зачатие его свершилось на старом Печерском мосту, откуда хорошо видны купола святой Лавры в часы первого ночлега на пути в Вечность — до Гробовой Доски...»¹

Г-н Архивариус умолк, вид у него был утомленный, отсутствующий; казалось, он все еще пребывал под немеркнущим впечатлением от только что прочитанной истории. Фургон давно уже никуда не ехал, а Вялый Горбун стоял в стороне и, уткнувшись зашпанным лицом в носовой платок, тихо плакал.

— Неужели все так и было? — срывающимся от переизбытка чувств голосом спросила Янка; она вспомнила своего рыжего кота Мурмилота, ей и в голову не могло прийти, что подремывающий на сундуке в прихожей рыжий кот — доблестный рыцарь и отец Котомыша Лаврентия Печерского: когда она родилась, он уже был такой древний, что древнее и не бывает. — Неужели это правда?

— Святая правда, — хрипло отозвался г-н Архивариус, утирая мокрые от слез глаза своим ученым колпаком.

Из больших круглых очей г-на Филина тоже капали слезы, и записи на манжетах акварелево расплывались, превращаясь в подобие туманных пейзажей.

— Если все это правда, то зачем же мы все плачем? Почему не радуемся? Ведь подумать только: какая любовь! Это же прекрасно! И профессор ваш тоже не такой уж сумасшедший.

— Ах, княгинюшка, вы как всегда правы, — согласился г-н Архивариус, выкручивая мокрый от слез ученый колпак.

— А Котомыш Лаврентий Печерский, — горячо продолжала Янка, — не такой уж и зверь, коль зачали его в любви и согласии.

При этих словах Вялый Горбун разрыдался во все горло. Г-н Филин ласково поглаживал крылом его бугристую голову.

— Да разве ж я против? — вздохнул г-н Архивариус, врожденная совестливость его взяла над ним верх: — Положа руку на сердце, я всегда готов первый признать, что хоть Лаврентий та еще штучка, но и ему иногда свойственны прекрасные порывы.

¹ Этот фрагмент «Котолога Глории» Пафнутия Нехилого был обнаружен в Мышеловке — исторической местности, расположенной за Демиевкой. — *Примечание Издателя.*

Затем он попытался в качестве примера рассказать о каком-нибудь прекрасном порыве «зачатого в любви и согласии» Котомыша, но как назло так и не смог вспомнить ничего подходящего. Только после того как Янка вежливо намекнула, что подозревает его в предвзятости, г-н Архивариус радостно хлопнул себя ладошкой по лбу и поведал совсем еще свежую историю, которая произошла, если ему не изменяет память, в сентябре 1974 года в музее Карла Линнея в Упсале. Именно этот музей и обокрал Котомыш Лаврентий Печерский.

— Обокрал? — изумилась Янка, совершенно не понимая, какое отношение к прекрасному порыву может иметь кража.

— Да, но по настоятельной просьбе самого Линнея! — сообщил г-н Архивариус.

Далее выяснилось, что в музее Линнея хранились личные вещи самого Линнея, которые ему были жизненно необходимы. Но поскольку сам г-н Линней стеснялся зайти в свой собственный музей, — что по-человечески понятно, — то вот он и попросил Котомыша о маленьком одолжении. Как известно, Лаврентий не слишком разборчив, да и не брезглив: ему что в мусоропровод, что в музей — всё едино. Короче говоря, вскоре знаменитый ученый получил свои любимые вещи: две пары золотых часов, несколько колец, пряжки с бриллиантами и оловянную посуду, из которой еще при жизни господин Линней привык завтракать, обедать и ужинать.

— Угу! Все равно: вор — он и есть вор, — жестко прокомментировал эту историю г-н Филин. — А вор должен сидеть в тюрьме!

— Но позвольте! — воскликнул г-н Архивариус, уязвленный такой неожиданной реакцией ученого секретаря. — Зачем же вы плакали, когда я читал историю о зачатии Котомыша?

— Угу, плакал, — согласился тот. — Но я плакал потому, что видел, как плачет Вялый Горбун, а это зрелище мне всегда берет душу.

— Ну, хорошо, а почему тогда плакал Вялый Горбун?

— А Вялый Горбун плакал оттого, что случайно увидел, как плачете вы, господин Архивариус.

— Я?! — вскричал г-н Архивариус. — А какого же лешего плакал я, позвольте вас спросить?

Г-н Филин недоуменно развел крыльями:

— Угу, вот и я никак не пойму.

— Скажите, пожалуйста, любезный господин Архивариус, — вмешалась Янка, — а не могли бы мы как-нибудь при случае известить доблестного рыцаря Мурмилота Узорного и его супругу, красавицу Мышанину? Мне бы хотелось задать им пару вопросов, особенно сэру Мурмилоту.

— Увы, мне известно совсем немного, княгинюшка. Я только знаю, что после великого множества чудесных приключений, кишевших подвигами, сэр Мурмилот удалился от мира. Говорят, он отправился котироваться в Дальние Котокомбы, а верная супруга его, красавица Мышанина, благополучно разрешилась дочуркой, которую в память о первой незабвенной встрече в камышах нарекли Мурмышелью, и сейчас обе они живут у своего дальнего родственника, господина Мышлаевского, артиллерийского капитана в отставке. Слышал я также, что сия великолепная супружеская чета регулярно сообщается посредством длинных писем, к чему каждого из них побуждает то самое «любовое письмо», о котором часто упоминает в своей «Любогонии» Гениальный Кондратий.

Успокоенные таким развитием сластолюбивых и любострастных событий, путники расселись по своим местам. К этому времени Глобус Киева заметно похудел, так что внутри Фургона стало намного просторнее.

— Горбуша, мы готовы! — прокричал г-н Архивариус, высушившись в оконце.

И Вялый Горбун потащил Фургон дальше. Путешествие продолжалось...

КНИГА СТРАНСТВИЙ

НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

I

КЛАССИК

...И снова тебе слышится этот таинственный звон. Особый, едва уловимый, проникновенный и всепроникающий, он никогда не прекращается. Так, насыщая воздух золотом и серебром, звенит тот, иной, по-ту-сторону-Город, невидимый и вечный. Это похоже на зов. Следуя за ним, ты продолжаешь свое странное паломничество. Как в тех старинных легендах: отыщи то, сам не знаю что. И даже этот, по-сию-сторону-город, тысячи раз исхоженный вдоль и поперек, кажется шарообразным, и благодаря округлости своей — бесконечным. И бесконечно непостижимым.

Ты больше не ведешь счета времени и сам уже не знаешь, куда и во имя чего держишь путь. Не путник владеет путем, а путь владеет путником. Какая могущественная сила влечет тебя, не позволяя остановиться, чтобы пустить корни или немного отдохнуть. Что это? Легкомысленная игра, слишком затянувшаяся и незаметно развившаяся в дромоманию? Или все же поиски выхода из магического леса, который может быть одновременно и колыбелью и могилой?

Ты уже ни счастлив, ни несчастен. Скорее, совершенно и даже излишне свободен. Но не это главное. Странствие — вот что сейчас важнее всего. Странствуя, ты чувствуешь, как день за днем изменяешься ты сам, и изменяется все вокруг. И только теперь, свободный от первых страстных порывов, обычно свойственных тем, кто стремится из своей жизни непременно сотворить миф, ты можешь с полным правом, вслед за вещим Вакенродером, сравнить себя с тихой рекой, в которую с удовольствием глядятся и деревья, и скалы, и пробегающие по небу облака, и звезды — в отличие от бурно кипящего моря, в котором ничто не отражается. У тебя не осталось ни имени, ни биографии, ни

образования, ни даже паспорта — ничего, что могло бы превратить тихую реку в бурное море, ничего такого, о чем, оказывается, так легко и радостно можно забыть. В дом твой, куда ты и так навещался крайне редко, теперь и вовсе дорога закрыта, поскольку уже не раз у подъезда ты замечал серые силуэты, замершие в выжидательных позах, и слышал за своей спиной торпливые шаги, звук которых преследовал тебя до тех пор, пока не удавалось скрыться в каком-нибудь темном и малоприметном закоулке. Городская Администрация давно упразднила любые виды странствий и, разумеется, не позволила бы «тихо текущей реке» беспрепятственно продолжать свой путь, окажись, так сказать, ее фарватер слишком загрязненным. «Реку» эту тут же направили бы вспять, как это делали великаны древности, — другими словами, загнали бы ее в ближайшее отделение Министерства Соблюдения Внутреннего Порядка. Однако, заботясь о своей безопасности, ты хорошо изучил местонахождение почти всех дежурных постов милиции и так называемых «опорных пунктов дружины» — и, надо заметить, «дружина» эта спустя века не имеет ничего общего со славным воинством великого стольного князя, как, впрочем, и Золотые Ворота, у подножия которых ты так любишь сживать в ранние утренние часы, уже не те Золотые Ворота, которые рубил своей саблей Боняк Шелудивый.

В общем, вероятнее всего, дома у тебя больше нет. Остается лишь сам по себе день. Но зато это день в чистом виде!.. Нельзя сказать, что ты спешишь жить. Ты любишь каждый новый день под новым небом. Ты стал ловцом дней, и наиболее удачные из них, или красивые, по примеру антиков отмечаешь белыми камешками, которые оставляешь в дуплах деревьев, на оконных карнизах, на крышах, — как бы поближе к небу, — а иногда, невинно забавляясь, незаметно подбрасываешь прохожему зевাকে в карман. И ты больше не подбираешь с земли то, что обронил случайно, но, подобно японским паломникам, поднимающимся на священную гору, идешь, не оглядываясь, дальше. И как у Ибн аль-Фарида, в твоём исхудалом теле просвечивают все твои тайны, и даже в прозрачных костях твоих обнаруживается внутренний смысл.

Снова к тебе возвращаются прежние ощущения далекого детства, когда по металлической ограде Старого Ботанического сада носились крылатые белки, и ты кормил их с руки золотыми орешками; когда летними вечерами ежики поджидали тебя на

пороге твоего дома, чтобы рассказать последние новости из Подземного Царства и получить за это в награду сушеную грушу, сорванную когда-то с волшебного дерева; когда деревянные штакетины заборов превращались в булатные мечи, а сам ты был юным кентавром, совмещая в себе одновременно и всадника и коня...

Теперь, как некогда святой Брендан северные моря с чудесными землями, ты исследовал все дворы и задворки, все подъезды и проходные дворы, подвалы и чердаки, узнал, где короче путь, где теплее батареи, где гуще тень бузины, где пышнее цветет сирень и где благоухание акаций и лип пьянит крепче любого зелья.

Странствуя по закручивающемуся внутрь себя городу, ты удивляешься тому, как феерично, даже карнавально, смешались и перепутались времена и герои этих времен. Глазам словно бы открывается некий *codex rescriptus*¹, на окаменелой поверхности которого проступают блеклые контуры прошлого, полуистлевшие цветы судеб, неразборчивые обрывки слов, останки былых деяний, непрерывно пополняемые каждой только что ушедшей минутой и только что совершённым жестом. Бывает, стоит закрыть глаза, и город видится совсем иным — сверкающим мегалитическим лабиринтом, неким урбанистическим вымыслом, в котором, что называется здесь и сейчас, легко уживаются любые эпохи и любые персонажи. Нередко на склоне дня, когда солнце удаляется в далекую и таинственную Густрату, ты останавливаешься у края Владимирской горки в ожидании ночи. Ты садишься на парковую скамейку и терпеливо ждешь. Но вот зажигаются первые звезды, и над темными верхушками деревьев начинают проступать исполинские силуэты, в которых узнаются Архистратиг Михаил с целой ратью ангелов в золотых шлемах. «Он здесь, — говоришь себе ты, любуясь призрачным абрисом некогда взорванного храма. — Он все еще здесь...» В соседних домах горят окна, и по интенсивности их свечения, по примесям цвета в нем — от голубовато-белого и бледно-зеленого до беззаботно-желтого, празднично-оранжевого и оживленно-красного — ты будто бы распознаешь образы людей, обитающих там, и проникаешься их ощущением жизни.

¹ Рукопись, написанная по выскобленному первоначальному тексту (*лат.*).

Но и при свете дня, в обычные будни тоже есть, на что посмотреть и чему подивиться. И ты отдаешься этому с наслаждением, которое тем глубже и ярче, чем острее предчувствие ожидающей тебя где-то впереди Битвы с неведомым зверем, безликим чудовищем — Битвы за обладание Королевством, на поиски которого ты однажды отправился в путь. Оно уже близко — ближе, чем ты думаешь. И дыхание зверя уже опалает твое лицо. Кошмарный и жестокий, он каждый день и каждую ночь высасывает из поэтов мозг и отравляет их кровь...

А пока Битва не разразилась, еще можно безмятежно проستاивать, например, в какой-нибудь галантерейной лавке на углу Михайловской улицы и Святополк-Михайловского переулка, подолгу любясь причудливым микрокосмом булавок и шпилек, замысловатых пуговиц и звездчатого бисера среди лиан из галстуков и ремешков. Во всем этом блеске и разноцветье суетится тройца услужливых продавцов, столь похожих друг на друга, что посетители лавки окрестили их «тремя мушкетерами». И как когда-то знаменитые герои Дюма, сумевшие наперекор обстоятельствам и интригам Красного Герцога добыть для королевы подвески с алмазами, так и эти галантерейные «мушкетеры», вопреки послевоенной разрухе, могут осчастливить любую домохозяйку тончайшими, как паутина кружевными перчатками, способными даже поросычье копыто превратить в объект восхищения и романтического почитания. «Ах, вы желаете демисезонное манто от Кардена? Pas des problèmes!¹ Милости просим на следующей неделе!.. Туфельки? От Гуччи? Не извольте беспокоиться, будут вам туфельки... И костюм на выход? Прекрасно! Прекрасно! Вам какую строчку? А цвет? Хотите «серый джентльменский» или «цвет вулканического пепла»? Можно и «жемчужный», и «винный», и «персиковый», и даже «попугайный» или «цвет лесных эльфов»... Подвески? Нет ничего невозможного, и наши алмазы от настоящих не отличите, мадам!..» Частенько захаживает сюда и некая гражданка Вассерман в скрывающихся под длинной юбкой печально знаменитых оранжевых трико от фабрики имени Розы Люксембург — тех самых, которые Симона Синьоре выставила на публичное обозрение в Париже в 1956 году. Этим оранжевым трико рукоплескала вся Douce France², и, прослышав об этом великом триумфе, «три

¹ Нет проблем! (*франц.*).

² Милая Франция (*франц.*).

мушкетера» из галантерейного райка однажды сказали гражданке Вассерман: «Ну да, мадам, это вам не какие-то там подвески для Анны Австрийской. Это — потрясает и будоражит воображение!»

Неподалеку, на углу Малой Житомирской и Святополк-Михайловского переулка, в одном из старых дореволюционных домов, каковых здесь все еще большинство, помещается молочный магазинчик, которым заведует пышногрудая Адель. А через дорогу, напротив, — еще один магазинчик, там полноправно царствует любимец живущих по соседству женщин, директор Перчук — за глаза просто Перчик. «У Адели — молоко, а у Перчика — яйца», — любят говаривать обитатели квартала. И действительно, у Адели ты иногда покупаешь молоко, а у Перчика — свежайшие яйца.

Еще ты знаешь в лицо и по именам почти всех городских модниц. И самую непревзойденную из них — Нелли Килерог. Ты единственный, кто расшифровал инверсию ее имени — *Килерог*, и один из немногих, кому известна печальная тайна ее жизни. В смутные времена «великих перемен» отца ее расстреляли, а мать сослали в лагерь, где несчастная женщина, не выдержав обрушившихся на нее страданий, повредила умом. Едва успев повзрослеть, независимая, своенравная и гордая Нелька Горелик превратилась в восхитительную модницу Нелли Килерог, и эта инверсия, вместе с унаследованной от матери красотой, была тем немногим, что она, как женщина, могла противопоставить лживому и жестокому миру мужчин. Ее страсть — шляпки, их она меняет чаще, чем иные франты свои носовые платки. Надо видеть, как этот прекрасный фрегат женственности, этот блистательный либидоносец, каждое утро под всеми парусами покидает свою гавань на улице Саксаганского и отправляется бороздить городские просторы, иногда бросая якорь где-нибудь в устье Крещатика или в Подольских фиордах. «Ой-ой-ой! Вы только посмотрите: Нелька с Шиксаганского пошла!» — скрипят, завидев ее, старые трухлявые лохани, приписанные к той же гавани и давным-давно не покидавшие ее пределов, — видимо, намекая на известное в идише нецензурное словечко «шикса». Но, увлекаемая ветром любви, воздушная и молодая, Нелли легко воспаряет над местечковым злопахательством. Она несется вперед, не оборачиваясь, окатывая прохожих сладостной волной французских духов, и ее прекрасная голова увенчана элегантно шляпкой фасона «Ева Браун», случайно занесенной к ней ка-

ким-то штормом из послевоенной Варшавы. Чудо-убор сей сотворен из плотного фетра цвета пьяной вишни и отделан соломкой того же колера. Особый шарм шляпке придает слегка зауженная тулья и особенно — чуть опущенное на глаза поле с дымчатой вуалькой, сквозь которую таинственным блеском мерцают алмазы Неллиных глаз. Одна из конкурирующих модниц, снедаемая черной завистью, немедля заказала своей шляпнице нечто еще более ультрамодное. Охваченная творческим зудом и жаждой утереть нос Европе, мастерица создала это самое нечто под названием «турецкая феска», однако, надо сказать, изрядно переусердствовала, отчего шляпка получилась высокой до неприличия, так что в ней уже не оставалось не только ничего турецкого, но и вообще человеческого. «В эту шляпку можно плакать, в эту шляпку можно какать!» — утверждали злые языки, и, если уж честно, то с ними трудно было не согласиться. Замуж Нелли вышла за весельчака, кутилу и шумилу Давыдова, который лет на двадцать ее старше. Сын знаменитого композитора и безвестной поэтессы, он обладал несомненным литературным талантом, блестяще играл на фортепьяно джаз, водил дружбу с музыкантами, футболистами и циркачами (кстати, научившись у последних карточным фокусам, он частенько величал себя «престиджижигатором») и вдобавок ко всем этим достоинствам был отчаянно храбр и, что не менее важно, очень хорош собой, несмотря даже на то, что рано облысел, — волосы перестали расти после того, как в Сырецком концлагере (из которого ему в числе немногих счастливых удалось бежать) зверю люди штурмбанфюрера СС Радомски били его дубинками по голове. Его старшая сестра, великолепная Эльга Аренс, прославилась прекрасным исполнением цыганских и русских романсов. Иногда Давыдов вместе с красавицей женой Нелли навещают ее на улице Малой Житомирской, в доме, где она проживает прямо над магазинчиком Перчика. Сидя за столом, Эльга курит сигарету, вставленную в длинный янтарный мундштук, и в такие минуты на увядающем лице ее проступает улыбка Иисиды, словно ей известен какой-то особый секрет, нечто значительно больше того, что положено знать обычному человеку во все времена, при всех государственных устройствах и религиях — для его же безопасности. Вот почему каждый раз странно видеть ее все еще живой и здоровой, слышать ее прокуренный голос, когда она говорит или смеется, будто гренадер в трубу, и удивляться божественной перемене в этом голосе, как только она начина-

ет петь под аккомпанемент рояля или семиструнной цыганской гитары. Нежно погладив брата по лысине и поцеловав Нелли мимо обеих щек, Эльга усаживает супругов за стол, сама же, без спешки и суеты, по всем правилам древнего искусства заваривает крупнолистный китайский чай и своей рукой разливает его в чашки из китайского фарфора с эротическими, а то и откровенно порнографическими сюжетами, — этот жанр преимущественно преобладает в ее богатой коллекции фарфора и, похоже, намекает на ее истинную страсть. Уж не в этой ли страсти и кроется тот самый секрет, что просвечивает в ее улыбке?..

Обычно известных городских модниц ты наблюдаешь в популярном парфюмерном салоне напротив Золотых Ворот, с вывеской, на которой изображены две таинственные буквы «ТЖ», наложенные друг на друга, куда все они слетаются стаями к резному столику из красного дерева, за которым, сверкая красотой и очками в роговой оправе, председательствует маникюрша Мария Васильевна. Дамы, как те сороки, падкие на все блестящее, рассаживаются вокруг нее на стульях с высокими спинками и мягкими атласными сиденьями и, едва успев приземлиться на них, тут же принимают грациозные позы. В гармоническом сочетании лепного декора, голубых атласных шпалер и барочной мебели, в окружении флакончиков с лаками, переливающимися самыми невозможными оттенками цветов, да под чашечку черного кофе с корицей и перцем, даже если воображение от рождения хромает на обе ноги, *сплетничается* с особой фантазией, душевностью и, что самое главное, в удовольствие, доходящее до истомы.

Совершенно очарованный, ты отправляешься дальше, чтобы полюбоваться красотой уже совсем иного рода. Неспешно пересекаешь вымощенную сверкающей на солнце брусчаткой Владимирскую улицу и, отворив стеклянную дверь,ходишь в угловую кондитерскую. Несмотря на вечную пустоту в карманах, ты всегдаходишь сюда с видом человека состоятельного, то есть способного купить все что угодно, но озабоченного поисками *чего-то такого особенного*, чего здесь, конечно же, нет и быть не может... А на самом деле — чего здесь только нет! Грильяж в квадратных коробочках с изображением лесного ореха в обрамлении зеленой листвы на белой откидной крышке или коробки с шоколадными конфетами «Ассорти», наподобие книги с золотым обрезаем, — отроешь такую «книгу» с вытиснен-

ными на ее коричневого цвета «обложке» тремя чайными розами, да так и ахнешь от восхищения: среди стройных шоколадных рядов, словно неподражаемая «Нелька с Шиксаганского» среди остальных красавиц, сияет в одеянии из фольги главная, так сказать, «королевская» конфета, а сбоку, в отдельном углублении, посверкивают настоящие серебряные щипчики. Но это еще далеко не все. Вокруг, куда ни кинь взгляд, коробки и коробочки всевозможных размеров и форм — круглые и овальные, прямоугольные и квадратные, узкие и длинные, — в этих последних, между прочим, хранятся и шоколадные «язычки» с водкой. А пьяная вишня! А пьяная слива! — не говоря уж о разнообразных карамелях, посыпанных сахаром, о слоеном мармеладе, об арахисе в шоколадной и фруктовой глазури, о золотистой — в коричневую полоску — «Эсмеральде» и о конфетах «Рокс», на каждой из которых посерединке — рельефный рисунок с виноградинами и цветами. Ах, как все это благоухает ванилью, какао, корицей! Голова идет кругом... Восхитительные в своей архитектурной величественности мраморные прилавки соперничают с огромными витринами из толстого хрусталя с фасетками по краям — свет, преломляясь в их гранях, искрится радужными вспышками, — а с лепного потолка свисают тяжелые хрустальные люстры, празднично освещая весь этот кондитерский дворец по вечерам. И когда на город наползают осенние сумерки и ветер срывает с деревьев последние листья или неистовствует снежная метель, — о, как хочется улизнуть в это теплое, яркое и ароматное сверкание и жить в нем, словно падишах, до самого утра вгрызаясь в толщи необъятных тортов, пастилы, шербетов, зефиров и пышного суфле!..

Одурманенный кондитерскими испарениями и, разумеется, ничего так и не купив, ты выбираешься на свежий воздух и продолжаешь свои странствия.

О, чего только не увидел и не узнал ты за это время! Вот ты привольно шагаешь в лучах утреннего солнца по Владимирской улице к Софии, мимо ресторана «Театральный», где владычествует Лёва Безрукий, под прицелом ястребиного ока которого клиенту подносят закуски на серебряных блюдах с серебряными столовыми приборами. Далее — мимо Серого Терема, зловещего монолита с плотно зашторенными окнами и глубокими подвалами, из которых, говорят, во все концы города тянутся подземные туннели. Некогда наивные пролетарии строили его как Дворец Труда, а теперь, по извечной иронии судьбы, где-то за

толщей его мощных стен, в самых потаенных его кабинетах, не покладая рук, трудится некто Укром Укромыч и многие другие, подобные ему Охран Охранычи, Ликвид Ликвидычи и Захват Захватычи — сероголовые, неприметные, что, впрочем, диктуется понятными особенностями их службы. «Наш главный враг — Беспокойство, — не устает наставлять своих подчиненных Укром Укромыч. — Зарубите себе это на носу. Беспокойство, над которым мы с вами работаем, товарищи, бывает двух видов: Здоровое и Нездоровое. Здоровое Беспокойство ведет к Покою, к которому мы все с вами и стремимся, а Нездоровое Беспокойство ведет к Покою, который правильней было бы назвать Упокоем. Вопросы есть, товарищи? Нет? Тогда за работу». Здание это из своих недр выделяет столь вредные испарения и вибрации, что птицы, случайно пролетающие над его жестяной кровлей, падают замертво. Трупики голубей, ворон, воробьев и синиц у его подножья и во внутреннем дворе являют собой привычное зрелище. Небо над Серым Теремом всегда мертвое, и потому пути перелетных птиц пролегают далеко в стороне.

Однажды тебе довелось стать невольным свидетелем весьма загадочного случая. Лето, гулкая полночь, в бледном свете ночных фонарей Серый Терем подобен гигантскому мертвому термитнику. Обычно наглухо запертые двери парадного входа, у которого еще в совсем недалеком прошлом постовые с винтовками за плечом каждому, кто проходил мимо, тихо, сквозь зубы приказывали не останавливаться и следовать дальше, — эти высоченные двери с начищенными до блеска бронзовыми ручками непривычно раскрыты настежь, и изнутри на улицу проливаются потоки изумительно яркого света. Во всех окнах также свет, и вообще какая-то небывалая, даже противоестественная для этого заведения, праздничность царит во всем здании. Но вот в дверях появляются четверо сантехников в комбинезонах со сверкающими белизной унитазами в руках. Торжественно, не обронив ни единого слова, они садятся в поджидавший их «воронок», и вместе с унитазами, словно фантастические рыцари с чашами Грааля, уносятся в неизвестном направлении... О, сантехники — святые техники — вы нужны всем, вы всюду вхожи, и нет для вас преград!..

...Ты продолжаешь свой путь. За спиной остается «Дом Востока» — старое трехэтажное здание на углу Владимирской и круто спускающейся к Крещатику Софийской улицы, населенное ассирийцами — чистильщиками обуви. Вместо восточной

пышности и несметных богатств затерянной где-то в веках великой Ниневии здесь царят беспросветная бедность и удушливая теснота, и новый Тиглатпаласар все никак не явится, дабы возглавить и повести свой народ на завоевание счастливых земель. Бедные чистильщики обуви пронзают тебя грустью обсидиановых очей своих, но ты не Тиглатпаласар, ты — Король иного Королевства, еще не явленного истории. А пока этого не произошло, старенький китаец в белых шелковых штанах и балахоне предлагает тебе один из своих цветных фонариков. На плече у него морщинистая обезьянка. Дергая за седую худосочную косицу своего хозяина, она что-то выкрикивает и высвистывает, будто птичка. Величайшие драгоценности Поднебесной таскает китаец в своем двухколесном рундучке по всему городу: веера из папиросной бумаги и подпрыгивающие до самых облаков мячики на резинках, которые он за копейки продает восторженным детям. Для взрослых тоже кое-что имеется: ожерелья из слёз человекоподобной рыбы или нефритовая паста для кормления птицы чунмин, которая охотится на оборотней и злых духов. Но тебе достался всего лишь цветной бумажный фонарик. Интересно, что бы это могло значить?..

В одном из четырех Троицких скверов, ближе к Михайловской площади, возле так называемой «каменюки» — большой гранитной глыбы, покоящейся на голой земле, — ты утоляешь жажду холодной сельтерской водой, которой в летний зной прямо с тележки на колесиках торгует дородная баба в белой косынке. Такие же баба и тележка — возле пожарной каланчи, под часами. Время от времени к ним по очереди подкатывает грузовик и выгружает рядом с тележками огромные глыбы льда, обсыпанные опилками... Увы, больше не пробегает по Владимирской и не вкушает прозрачно-ледяную сельтерскую воду великий часовщик и гравер дядя Миша Туркин, так похожий внешностью и юмором своим на диккенсовского мистера Пиквика. Десять дней назад поехал он хоронить умершего родственника и, не доверяя никому, со свойственной своей профессии дотошностью самолично подбирал гроб для покойного, а подобрав пришедшийся по душе, сам залез в него и улегся, даже не сняв с носа очки с толстенными линзами: хотел проверить, подойдет ли домовина по росту и удобно ли будет покойному в ней лежать — так, словно речь шла о тончайшей подгонке какого-нибудь колесика к часовому механизму. А неделей позже и сам неожиданно преставился. Откровенно говоря, столь пессими-

стического кунштюка от такого любителя «пожить» как дядя Миша никто не ожидал — он казался вечным. Должно быть, он и сам не ожидал, судя по выражению искреннего удивления, так и застывшему на его посмертном лице. Поговаривали, что будто бы с десятка отремонтированных часов, лежавших на его рабочем столе в ожидании заказчиков, в тот же день разом остановились. Магазин «Лён», в котором он работал, — тот самый, где в промежутках между окнами первого этажа большие овальные выпуклые зеркала округляли в себе всю Владимирскую улицу с ее по-прежнему кипевшей жизнью, — тоже начал быстро приходить в упадок.

Вон в окружении «недобитых» толстовцев шествует сапожник Булатов. Его видно за версту. Среди всех этих сопровождающих его седых старцев-бородачей он — самый седой, самый бородатый, самый старый и авторитетный. Ему девяносто восемь лет, но он так и не стал «зеркалом русской революции». И, учитывая столь почтенный возраст, уже никогда им не станет. Да и не хочет он, потому что все эти революции — сплошной обман, и зеркала у них кривые. Профессорша-ортопед с бывшей Бульварно-Кудрявской улицы постоянно выписывает ему рецепты на изготовление обуви «на-латин», как ее называют в просторечье. Вообще же, всем желающим он справляет войлочные сапожки-«бурочки», все одного фасона, которые величает не иначе как «генеральскими». Зимой чуть ли не каждый день, в одной толстовке и в любимых «генеральских бурочках», он пешком отправляется на динамовский каток и там самозабвенно кружится на коньках «снегурочках», и длинная его толстовская борода развеивается на студеном ветру. Вот Булатов поравнялся с тобой, и ты приветствуешь его, как если бы это был сам Зевс, спустившийся с Олимпа в сонме остальных богов. И он отвечает тебе едва заметным кивком.

А дальше, впереди, маячит сутулая спина Бедного Лёлика, юродивого сугубо районного значения. Его непомерно большая голова брита наголо. Какие безграничные вселенные таятся в такой большой голове — одному Богу известно, что вполне объяснимо, ибо один только Бог и печется о юродивых. Во всякое время года, босой, в грязном махровом халате, надетом прямо на голое тело и туго подпоясанном пеньковой веревкой, Бедный Лёлик с рассеянным видом, как в замедленном кино кружит по Подолу, откуда его изредка выносит то на Крещатик, то к Сенному рынку, а то и на первую платформу Центрального желез-

нодорожного вокзала. И ни один блюститель порядка в упор не замечает его, словно он заговоренный. Милостыню Бедный Лёлик обычно просит на паперти Андреевской церкви и никогда ни с кем не разговаривает. Даже с тобой. Только смотрит и смотрит в одну точку под ногами — словно вынутый из петли. Говорят, в юности, где-то в Феофании, он случайно набрел на источник с немой водой и по неосторожности утолил жажду. С тех пор обрил голову и замолчал...

Прямая противоположность Бедному Лёлику — Скороход Гриня. Правда, он тоже немотствующий городской бродяга, но, в отличие от Бедного Лёлика (которого кормит и одевает, то есть полностью курирует сам Господь Бог), одет с иголочки и, несмотря на свой малый рост, выглядит даже элегантно, особенно когда попивает кофе под гастрономом на углу Владимирской и Большой Житомирской, или, проще говоря, на Пьяном углу. Но стоит ему начать движение, как он тут же превращается в подобие воробья, прыгающего в поисках хлебных крошек и часто-часто мигающего серыми глазами. Вся солидность, разумеется, мгновенно исчезает без следа. В далеком, очень далеком прошлом Скороход Гриня закончил пять институтов и успел даже поработать кинорежиссером, но совсем недолго. Потом с ним что-то случилось — что-то такое, перед чем благоговевает любая богобоязненная старушка — «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — и от чего не застрахован ни один из сильных или слабых мира сего. Другими словами, после того как однажды Скорохода Гриню поразила эльфийская стрела, что называется, «в самое яблочко», — ему открылся (в чем он был абсолютно искренне убежден) истинный смысл всех вещей и явлений. В результате этого тяжелого ранения его мысли и язык настолько изменились или, как он считал, преобразились, что ни один смертный больше не в состоянии был его понять. «Застенчивый кошелек избегает глаз очевидцев»; «Мерцающие снобы посещают только теневые концерты»; «Никто лучше эпического дуба не понимает дорогу», — подобные изречения несчастного безумца, темные и подозрительные, и до сих пор тревожат память некоторых из его прошлых друзей. Одному генералу в отставке, которого уже лет десять изводила грыжа, он открыл некий секрет, сказав буквально следующее: «Сваренные вкрутую эполеты и аксельбанты хорошо лечат». Грыжа не помешала генералу жестоко побить Скорохода Гриню, после чего тот и умолк навеки. «Ну какой же он Гриня? Нет, не идет ему это имя, — отмеча-

ешь ты, незаметно наблюдая за Скороходом Гриней, пока вы оба в многозначительном молчании пьете кофе на Пьяном углу. — Может, Жан-Жак Пилигрим или Бродяга Джонатан? Или Феофил Странник?..»

Ты закуливаешь сигарету. Тебе некуда спешить. Грине тоже некуда спешить, но он не курит. Так, вместе вы созерцаете, как неподалеку в компании художников попивает кофеек великий Глущенко (злые языки поговаривают, что дома под матрацем он хранит акварели запрещенного немецкого художника Адольфа Шикльгрубера, когда-то подаренные ему лично автором, ныне покойным), или как забегает в гастроном Василь Касиян, чтобы на скорую руку отведать горячих сосисок с русской горчицей и загасить возникший после них в желудке пожар стаканом томатного сока. Вот в окне с витриной отражается задумчиво проплывающий мимо круглозадый Левон-чистильщик с картонным чемоданчиком в руке. В чемоданчике — химикаты. В этих местах у него скромный промысел: ходит по квартирам и берет заказы для своей кустарной химчистки, и, несмотря на всем известную пикантную склонность ко всему мускулинному, человек он культурный и умеет обращаться с дамами. Входя с порога в квартиру потенциальных или постоянных клиентов и элегантно виляя полным задом, он незамедлительно целует ручку хозяйки, будь та наружностью и возрастом своим принцесса или чудовище — не суть важно. С кончика его мясистого армянского носа, как правило, свисает крупная капля — продукт профессионального насморка, — которая, набрав необходимые вес и массу, с роковой неизбежностью падает на вздрагивающую поверхность нежной дамской ручки, и, что ужаснее всего, уйти от сопливого поцелуя нет никакой возможности, ибо целовальный порыв у Левона молниеносный, а хватка — железная. Весь этот ритуал с целованием ручек и капаньем на них «левоновых капель» в точности повторяется с каждой второй хозяйкой или домработницей. И как только за Левоном, нагруженным вещами для чистки, хлопывается дверь, шокированные дамы бросаются в ванные комнаты, где, едва сдерживая приступы тошноты, долго отмывают свои ручки. Единственный, кто не позволяет своей жене (между прочим, общепризнанной красавице) пользоваться услугами незадачливого чистильщика, и строго-настроено запрещает пускать его даже на порог, — это Шуня Яковлевич, самое знаменитое в городе светило гинекологии. Хоть и насмотрелся он всякого за время своей врачебной практики и никогда не упускал

случая, чтобы предложить своим пациенткам чисто мужские услуги, невзирая иной раз на самые невероятные заболевания, но даже он не в силах преодолеть отвращения при виде вечно мокрого носа Левона, жертвой которого вполне может стать и его красавица-жена!..

Да, великое множество людей ты узнал или хотя бы раз другой наблюдал в пестрой городской жизни: и аптекарских провизоров, пропахших каплями датского короля, и тучных краснолицых мясников, и подпольных стоматологов, которые работают просто за сладенькое, и священников, и пожилых бонн — последовательниц уходящего вместе с ними в историю педагогического учения Фребеля, которые в Старом Ботаническом саду, что на бывшем Бибиковском бульваре пестуют свои немногочисленные группы детишек, а горожане насмешливо называют их «фребеличками». Знаешь ты и Орден слепых, рыцари которого на всех городских рынках — от Владимирского до Никольской слободки — приторговывают всякой копеечной кустарщиной и щетками для подметания полов и натирания их мастикой. Но всё же исключительной славой пользуется «Берлинская лазурь», которой домохозяйки подсинивают белье. Ты даже был знаком с создателем уникального рецепта этой «лазури» — Петром Вольковичем Пинхавом, кавалером трех Георгиев. Начал он свою трудовую карьеру еще до прихода большевиков с довольно прозаичной должности метранпажа в одной из типографий Маркса, а закончил скромной должностью завпроизводством в Обществе слепых на Подоле. В промежутке между этими двумя тихими гаванями Петр Волькович к удивлению многочисленных родных и близких прожил долгую жизнь в духе героев авантюрных романов, не раз подвергая себя смертельной опасности и всегда чудом оставаясь в живых. Первая мировая, на фронтах которой он волею Бога, Царя и Отечества был *обращен* в православие и *превращен* в Петра Владимировича Сапжникова; австрийский плен, где не обошлось без романтической истории с некой графиней, на которую он сначала батрачил, а потом чуть на ней не женился (Ach, Piter! Mein liebe Piter!¹), и сам едва не стал графом; возвращение на родину сразу после объявления перемирия в восемнадцатом году; а на роди-

¹ Ах, Питер! Мой милый Питер! (нем.)

не — красный террор, гражданская война, разруха, комитеты бедноты и так называемые «кукиши» в период недолгого ослабления в виде НЭПа, «новой экономической политики», и, кстати, первые образцы синьки, приносившие неплохой доход; ну, а вслед за тем — новое «закручивание гаек», гигантомания абсолютно во всем: от «уплотнения», коллективизации и индустриализации до голода, шпиономании и борьбы с «массовым вредительством»; и снова война. Не подлежа призыву по возрасту, Петр Владимирович был направлен на заготовки леса в Сибирь, где пролегал так называемый «трудовой фронт». Уже после завершения второй мировой войны, вернувшись в Киев, он женился на слепой вдове с двумя детьми, которая незамедлительно родила ему ребенка и сразу чудеснейшим образом прозрела. Сам, будучи зрячим, создатель особой синьки стал настоящим кумиром для всех городских слепых, ибо, получив от него рецепт «Берлинской лазури» и превратившись в ее производителей и распространителей, они получили возможность хоть как-то сводить концы с концами. И вообще до последнего своего дня Петр Владимирович подкармливал всех убогих и калечных, и они величали его уважительно «кавалером», тем самым отдавая дань не только его Георгиевским крестам (два из которых, между прочим, он получил на германском фронте из рук самого Государя Императора, низкорослого, застенчиво улыбающегося человека), но и неслышанным благородству и щедрости. А последний день «кавалера» был прекрасен: он тихо и незаметно усоп в своей постели в бывших подольских «меблешках», на углу Игоревской и Набережной, в приятном ожидании вечернего стакана теплого молока с любимым яблочным струделем.

И, конечно же, тебе досконально известны все привокзальные трущобы, которые, правда, ты не часто жалуешь своим посещением, все укромные уголки, и в первую очередь те из них, что никогда не закрываются на ночь. Ты поддерживаешь знакомство с бездомными животными, многие из которых во время случайного ночлега согревают тебя своим теплом. Ты даже — чего греха таить! — научился виртуозно красть в магазинах и на уличных лотках всякую мелкую снедь, и никогда не забываешь поделиться, чем можешь, с нищими бродягами и вечно голодными хвостатыми. Так, совсем недавно, тебе удалось стащить два кривых огурца прямо из ящичка, который в ту минуту держал в руках художник Корбюзьевич, работавший грузчиком в гас-

троне на Ярославовом Валу. Курьезность ситуации заключалась в том, что рассеянный художник, пребывая в глубочайшей задумчивости, так и не узнал своего старого друга, хоть и смотрел на него буквально в упор. Само собой понятно, что не заметил он и исчезновения двух огурцов, которые, кстати, оказались горькими, как и большинство огурцов эпохи «полного пестицида», и есть их было невозможно, предварительно не приправив черным и красным молотым перцем и солью. Впрочем, это обстоятельство не помешало тебе позднее не без внутреннего смеха представлять себе изумленное лицо художника Корбюзьевича, узнай он тебя в ту минуту, да еще с двумя похищенными огурцами в руках.

Но, по правде говоря, вовсе не чувство стыда за содеянное заставило тебя в этот поздний ночной час неподвижно затаиться в темном подъезде, мимо которого минуту назад под проливным дождем прошлепал по лужам разочарованный друг твой Корбюзьевич. Он окликнул тебя еще у Золотых Ворот, но догнать так и не сумел. Ведь не знал он, что время встречи еще не пришло. Пусть думает, что просто обознался. Как это ни грустно и, одновременно, ни смешно, но именно те, кто приближались к тебе ближе других, больше других и обманывались: и Корбюзьевич, и Старик Придумкин, и тот же Игнатий Иванов, мечтающий о Городе Мастеров. Да и все остальные друзья, которые в той, прошлой твоей жизни, принимали тебя за кого угодно, но только не за того, кто есть ты на самом деле. И разве могло быть иначе, если и сам ты еще не вполне определенно знал, кто же ты и в каком из миров существуешь? Но одно тебе известно точно: ты не был ни монахом-францисканцем, каковым готовился стать твой далекий друг Вилиус, ни, тем более, посвященным в особые мистические тайны, каковым, похоже, представлялся корректору Внетлину, который сам стремился к тому же, ни даже «классиком», хотя так тебя все называли и таковым считали, скорее, быть может, оттого, что каждый из них сам мечтал сделаться классиком... Классик! Виртуальное понятие! Подумать только — в древние времена классики имели, по меньшей мере, до ста двадцати пяти тысяч ассов годового дохода, а сегодня это самые нищие люди. Пять рублей в кармане — богатство, на которое нужно не то что прожить, а *ухитриться* прожить дня три. И как истинный классик современности, ты разносишь почту и обеды старикам, разгружаешь вагоны и ловишь рыбу на Днепре, продаешь цветы и собираешь на улицах

и в парках пустые бутылки и сдаешь их по двадцать копеек за штуку. Как часто тебе чудится постоянное присутствие время от времени дающей о себе знать некой второй и даже третьей твоей сущности, которые живут где-то вне твоего сознания и действуют помимо твоей воли, совершенно произвольно и независимо! О, сколько раз являлись они во снах, и эти сны сразу становились как бы частью, точнее, пережитыми эпизодами твоей реальной жизни, либо озаряли внезапными, приводящими тебя в трепет мыслями, словно шепотом подсказанными неизвестно кем и с какой целью! Ты словно бы пустился в дальний и опасный путь на поиски без вести пропавшего самого себя, однажды пустившегося в далекий и опасный путь... Ты как бы одновременно и король Ричард, томящийся в заточении где-то, неизвестно где, и верный Блондель, что распевает песенку-пароль под стенами всех «бургов» — в надежде однажды откликнуться на свой собственный зов и раскрыть тайну своего местопребывания и, наконец, выпустить себя на волю... И тут никто не в силах тебе помочь! Никто... Разве что этот древний город, столь бесконечно много проживший и выстрадавший. О, этот город! Он предстал тебе чем-то вроде легендарной книги Фламелья, которому однажды ангел открыл титул ее и молвил следующее: «Запомни сию книгу. Сейчас ты, как и многие другие, не поймешь в ней ни слова. Но настанет день, когда ты узнаешь из нее то, что другим недоступно». Эти слова — не о том ли Великом Городе, таинственный звон которого ты слышишь всегда?..

...Вот он простерся перед тобой. Город, который словно бы пресуществился в живую воду, и первый же глоток этой воды длится всегда. И всегда длятся каменные цветы, орошенные той водой, всегда висят, будто посеребренные, чердаки под Луной. И птицы в небе прямо на лету превращаются в мечты о небе. И звуки песен мерцают татуировками на ускользящем теле ветра, от порывистых движений которого Город разбивается вдребезги, чтобы вспыхнуть множеством алмазов-окон, осыпаться дождями, уйти под землю и в реки.

Город-одуванчик. Город-облако. Город-время, колесо, вечно катящееся; четки, вечно перебираемые, будто камешки во рту у богов, тренирующих дикцию; влажный шар, на котором так трудно устоять, а упасть с которого еще труднее.

Город-мираж. В потаенных пространствах его колышутся божьи храмы, мечутся божьи человеки, бродят божьи твари, летают божьи коровки. И все они не ведают, что творят. И все идет своим чередом.

Город-знак: надо лишь прочитать небо на крышах, чтобы увидеть грозящие пропасти, и надо прочитать дно подвалов, чтобы познать бездонность высоты...

Но что же можно узнать, найти в такой дождь, в такую холодную, неприятную ночь? И что ищешь ты?.. Скромный цветок пустынь — иерихонскую розу? Или птицу пи-и — пернатое воплощение изначального единства инь и ян? Или некое *imperfetto Fabulativo*?¹ Или могущественный Ксерион? Или на мокрой мостовой пылающие отпечатки магических квадратов Абра-Мелина: «Знать о будущем», «Быть любимым»... Но все твои догадки, а точнее, ответы для тебя о будущем, о любви существуют не в магических квадратах и не в словах, а, скорее, в образах. И даже в запахах и звуках. Ты идешь по Вечному Городу куда-то — все дальше и дальше, и вперед, и всегда по какой-то кругообразной траектории, как будто Город нигде и никогда не начинался и не закончится. Свое нынешнее состояние ты нарек красивым арабским словом «эльджазо»², ибо сердце твое словно превратилось в печальный оникс, что ведет тебя по дорогам разлук. И Город хранит эту твою тайну. О, этот Город! Он переживет нас всех — умных и глупых, бедных и богатых. «И хорошо! Хорошо, что так, — думаешь ты. — Одна надежда: может быть, такие, как мы, были не самыми худшими из его детей».

Статус Короля без Королевства... А Королевство, к которому так стремится твое сердце, всегда где-то там, далеко впереди. Недостигаемо далеко! В этом есть что-то тревожно-манящее, обещающее и великолепное. Будто все самое главное в жизни еще только должно произойти и одарить щедро прекрасными плодами своими. Может быть, оно — всего лишь холм, одинокий Холм посреди бескрайних равнин. И на вершине — дерево, в ветвях которого застряла, запуталась великая мечта, дивный сон о грядущем Королевстве. Золотые крылья трепещут на ветру...

А пока — неутомимое хождение вперед, даже если назад, даже если на месте: покорение бессмысленности — если и не ве-

¹ Имперфект, употребляемый в сказках (*итал.*).

² Уносящий радость (*арабск.*).

рой, то упрямством, если и не разумом, то ногами, и раз уж не когда-то, так когда-нибудь; ожидание Битвы, которая, как смерть, каждую минуту где-то рядом, постоянно рядом, всегда рядом, и это всегда — навсегда. Пламя в сердце. Свет в глазах. И то ли посох — где только не обопрись, там и точка отсчета, — то ли клинок разящий — усекновение головы страха, на месте которой вырастают две новые; и — осознание, что даже невозможное вменяется в обязанность. Ненависть и любовь к этому страннейшему из миров, где плоть пожирает плоть и где земля поглощает всех, — как ужиться им вместе? И даже тот, кто осмелился воспарить в поднебесье верхом на птице вѣщей, должен подкармливать ее в полете своей живой плотью, чтобы у нее хватило сил донести его на своих крыльях в те края, где живет Краса Ненаглядная: «Ах ты, птица-Моголь! Где была, где летала, отчего запоздала?» — «Ненаглядную Красу к обеду сряжала...»

А пока — Хождение неумолимое, неутоленное. Может быть, оно и есть Королевство грядущее?

И когда странник уйдет... Когда уйдет он и унесет с собой свое Хождение, — что останется в пустоте? Шаги? Слова? Музыка? Далекое, почти неслышное эхо?..

...Когда Классик вышел из подъезда, в котором он укрывался, художник Корбюзьевич уже растворился во мраке ночи, будто действительно был только тенью прошлого. На несколько мгновений тучи над городом разорвались, и в открывшейся прогалине черного неба появился диск луны, подобный Оку Провидения, что светит, вселяя в странника веру и охраняя его путь, но тут же небо опять затянулось, и дождь припустил с новой силой, смывая с мокрой брусчатки остатки лунного серебра.

II

ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ

Достигнув Владимирской горки, Классик неспешно проследовал мимо станции фуникулера и, оставив за спиной призрак Михайловского собора¹, углубился в гуцу парка. Некоторое вре-

¹ Этот текст, по моим предположениям, был написан не позднее начала 1980-х гг. Михайловский Златоверхий собор Михайловского монастыря, взорванный в 1934 г. большевиками, был восстановлен на том же месте только в конце 1990-х гг. Потому автор говорит о *призраке* собора. — *Примечание Издателя.*

мя он стоял посреди широкой аллеи. Все вокруг будто затаилось в напряженном ожидании... Внезапный и резкий порыв ветра взметнул к черному небу тучи мокрых листьев и закружил их в бешеном вихре вместе с парком. Шляпу сорвало с головы Классика, и она помчалась их догонять с такой скоростью, что бежать за ней было бесполезно. Сделав несколько шагов, Классик замер от восторга: совсем низко над деревьями, кроны которых бушевали, словно море на рифах, грузно покачивался огромный парусник. Черный, чернее ночи, он был ее сгустком. Струи дождя на фоне его силуэта серебрились, миллионами тончайших струн. Ударил колокол, и стон его, вибрируя, поплыл над Владимирской горкой. И когда он ударил во второй раз, Классик, не раздумывая, бросился бегом к деревьям, над которыми парил этот немыслимый корабль. «Нашел! Нашел!» — звучало в его голове вместе с ударами колокола. Магнетическая сила набата, а еще больше — реальной возможности стать участником невероятной небесной навигации, возрастала с каждым мгновением, и, поддавшись ей, Классик бежал все быстрее и быстрее, не спуская глаз с черных парусов. Еще его подгонял страх, что корабль в любую минуту снимется с якорей, цепи которых уже были хорошо видны, и навсегда исчезнет...

...Массивное округлое днище угрожающе нависло над головой. Ветер усиливался, дождь хлестал в лицо, заливая глаза. Одежда на Классике вся промокла и стала тяжелой. Там, над бортом, с которого потоками стекала вода, мерцали штрихи тросов и вант и виднелись толстые концы рей.

Неожиданно он почувствовал, что отрывается от земли — какие-то острые крючья подцепили его за воротник плаща и потащили наверх, так что плащ громко затрещал. Еще мгновение — и он увидел под собой кипящие кроны деревьев. Далеко внизу простирался утопленный в дожде город, вдоль и поперек исхоженный его старыми армейскими ботинками. Перемигивались редкие огоньки, тускло отливал желтизной неона безлюдный Крещатик, и круглый купол Александровского костела размыто меркнул у самых ног, и в этом было что-то странное, даже неестественное. Сверху доносились глухие постукивания и чья-то возня. А может, в шуме ветра и дождя это только казалось... Его схватили, грубо швырнули на залитую водой палубу. Он не успел ни голову поднять, ни испугаться, как снова был подхвачен множеством рук и прижат

спиной к толстой мачте; вокруг его тела, больно впиваясь в него, обвилась веревка, и через несколько секунд Классик был крепко привязан к мачте.

Только теперь он увидел широкую черную палубу, заливаемую дождем. Отовсюду стягивались матросы. Все в тягучей грязной слизи, облепленные мусором и объедками, они склеивались в однородную массу и, нетерпеливо напирая друг на друга в желании получше обнюхать пленника, перешептывались, шипели, урчали, стрекотали, и так лязгали челюстями, будто ножи точили. Утробные отрыжки то тут, то там взрывались подобно гранатам. Крут быстро сужался. «Это конец! — подумал Классик. — Ужасный конец!» Он живо представил, как сейчас вся эта липкая безликакая биомасса жадно накинется на него, облепит его бедное тело, вопьется в него клыками, клювами, когтями, клешнями!.. Конец! Тут почему-то в голове его завертелись и другие безжалостные слова, начинающиеся на букву «к»: каюк, капут, корчи, кровь... Вот, сейчас его начнут рвать на куски, обжираться им, лакать его кровь! И его больше не станет. Не станет!.. Во рту пересохло... Канныбализм, казнь, кромсание, карачун... Он закрыл глаза, принялся горячо молиться. Все мускулы напряглись. Мускулы превратились в некое подобие слуха — чуткого, болезненно обостренного, быстро пульсирующего в пространстве, прощупывая миллиметры и световые годы уже почти не существующего мира. Как мог, готовился он достойно принять ужасную смерть. Но снаружи, за плотно закрытыми глазами, неожиданно воцарились тишина и покой. Так прошло несколько минут, по продолжительности равных жизни. Смерть все не приходила. Страх постепенно сменялся удивлением. Осторожно Классик приоткрыл глаза, как бы в робкой надежде, что весь этот кошмар уже исчез... В нескольких шагах, прямо перед ним, колыхалось какое-то невысказанное существо, облаченное в воду, сквозь которую угадывалось красивое женское лицо и довольно стройная фигура. Поверхность водяного коккона подрагивала, но каким-то непостижимым образом он сохранял форму. От ветра и дождя вода в нем рябилась, не зная ни минуты покоя, да и само существо едва касалось палубы своими конечностями. С холодным любопытством оно разглядывало Классика, при этом будто пребывая в состоянии какого-то дивного неподвижного танца, и лишь вода вокруг него перекатывалась. Матросы, источая вожделенные стоны и обильную слюну, покорно пали ниц.

— Пошли прочь! — приказало существо; голос его звучанием напоминал плеск речной воды.

Подчиняясь этому властному плеску, матросы стали медленно разлипаться и расплзаться по палубе кто куда, голодные и злые.

— Где капитан? — спросило женское существо, величественно взирая на всю эту беспорядочно расплзающуюся биомассу.

— Я здесь, мадам! Капитан де Козлюль к вашим услугам... — и, немного подумав, капитан добавил. — Весь...

— Насколько весь, мы еще увидим. Почему до сих пор стоим?

— Не имею приказа, мадам! — браво выпалил капитан де Козлюль, приглаживая мокрыми пухлыми ладошками жиденькие бакенбарды.

Мадам вопросительно воздела бровь, и водяной кокон вокруг нее заколыхался сильнее.

— Приказа Геня, — уточнил капитан, нервно сглатывая слюну.

Мадам окинула его насмешливым взглядом:

— А своя голова у вас имеется?

— Никак нет, мадам! — и, видимо, желая угодить даме, капитан де Козлюль тут же самолично произвел над собой экстирпацию: уверенной рукою сорвал он со своих плеч единственную имевшуюся у него в наличии голову и вместе с бакенбардами и фуражкой метнул за борт.

— Хорошо, — прожурчала водяная мадам, явно польщенная столь рыцарским жестом. — Приказ гения чистой красоты вас удовлетворит?

Капитан немо развел руками.

— В таком случае я вам приказываю поставить нужные паруса и сняться с якоря. Мы отходим немедленно.

И, не дожидаясь ответа, что, принимая во внимание полную безголовость капитана, было вполне объяснимо, мадам, назвавшая себя «гением чистой красоты», покачиваясь, поплыла в направлении кормы, оставляя за собой на мокрой палубе след из дохлых рыбешек и раков.

Капитан де Козлюль махнул рукой, и на корабле поднялась невообразимая суматоха. Вверх по вантам живо устремились матросы, которые вскоре облепили весь рангоут, что-то там выдергивая, закручивая, связывая и непрерывно переругиваясь между собой. Быстро разрастаясь, черные паруса громко хлопа-

ли по ночному пасмурному небу. Где-то на баке монотонно скрипела якорная цепь, этому скрипу отвечали громкие повизгивания талей. От большого усердия команды на бизани неожиданно треснул гафель, и теперь его пришлось просто отрубать.

— Черт вас всех разорви! — ревел пьяный боцман, который как раз в эту минуту выполз из форпика на палубу. — Хвосты отъели, висельники! Вот я вам жир поспущу! Всех на галеры! Всех!..

«Хробак! Хробак!..» — шипели матросы, трусливо разбегаюсь по всему такелажу.

Боцмана Хробака сильно трясло — то ли от злости, то ли с перепоя. Он ожесточенно свистел в свой свисток, при этом срыгивая остатки пищи.

— Эх, капитан! — просвистел он, забыв вытащить свисток изо рта. — Говорил я вам: с этими дохляками нам далеко не уйти!

Капитан де Козлоль только пожимал плечами: мол, что он может на это сказать, ежели и головы-то у него нет и, значит, говорить ему нечем.

Несмотря на всеобщую неразбериху, корабль каким-то образом поймал бейдевинд. Внизу медленно проплывал город, темные непроглядные омуты его сменялись огнистыми оазисами, а над головой бурными пластами висели тучи — так низко, что концы бом-брам-стенг скрывались в них, словно в кисельном вареве. Черные зубастые тени кружили среди парусов, они хрипло кричали и сеяли липкий и черный, как деготь, помет на палубу.

Лишь теперь Классик почувствовал, весь ужас своего положения. Веревка, которой его накрепко привязали к мачте, причиняла нестерпимую муку, вывернутые конечности занемели. Боль, усталость и тоска усугублялись присутствием какого-то всклоченного пса, видимо, приставленного к нему сторожем, грязновато-желтой масти и очень неопрятного: казалось, совершенно безучастный ко всему происходящему, он сидел в двух шагах от пленника и покуривал папироску. Накурившись, пес встал, лениво почесал задней лапой за ухом и поплелся к борту, оставив после себя облако ядерного запаха псины. Некоторое время он смотрел куда-то в дождливую темень, очевидно, в надежде увидеть Луну, чтобы повить на нее, потом, печально вздохнув, бросил окурок за борт, сплюнул туда же и, задумчивый, вернул на свое прежнее место.

— И нечего, нечего воротить нос! — неожиданно ощерился он на Классика. — Пахну — значит, существую!

Говорил он, правда, с каким-то странным акцентом:

— Ну, чего вытарашился?

— Да я ничего... — с трудом выдавил из себя Классик, думая, что разговаривает со своим галлюцинбидом.

— Собак что ли никогда не видал? А я вот на вашего брата понасмотрелся — по гроб жизни хватит! Венцы творенья... Тьфу! Друг друга гнобите. А поменяй вас местами, так разницы никакой! И при этом еще позволяете себе насмеяться над многострадальным родом собачьим! — Пес сердито насушился. — Ну конечно, как же еще можно возвыситься над беззащитностью тварей бессловесных!..

— Но вы — не такая уж и бессловесная... — начал было Классик и в смущении осекся.

— Да, небессловесная! — с чувством уязвленной гордости сказал пес. — Только что вы об этом можете знать? Среди нас были и Германубис, и Камбал, и Цербер, и знаменитая собака Семи Спящих...

«А эта собака — одного спящего», — подумал Классик, уверенный, что бредит.

— И зачем вы живете? — продолжал ворчать пес после короткой паузы, решив, очевидно, что если пленник не отвечает, то, значит, признает его правоту. — Сами не знаете, зачем живете. Все кричите: «Я да я!» Трах-бах-тарарах! Кто больше самохвальных слов успеет прокричать. Иные люди лают громче, чем собаки... Да!.. А ведь единственное отличие между нами в том, что вы носите одежду. Это, между прочим, еще Леонардо да Винчи подметил.

«Какой восхитительный бред! — подумал Классик. — Может, я красиво умираю?..»

— А я вот сколько раз убеждался: человек — самое непоследовательное, самое противоречивое существо из всех живых существ. Тут уж я полностью согласен с Иеронимом Рорарио. Знаете такого?.. Нет?.. Ничего-то вы не знаете. А между прочим, этот самый Рорарио, самокритичность которого делает ему честь, попал, что называется, в самое яблочко. В одном из своих латинских сочинений под названием «Quod animalia bruta saepe ratione utantur melius

homine»¹ он целиком обоснованно доказывает, что именно вы, люди-человеки, постоянно злоупотребляете данным вам разумом, в то время как животные, коих вы ставите ниже себя, никогда не сходят с пути, предназначенного им Творцом.

Тут пес задумался и, как бы уже разговаривая сам с собой, тихо произнес:

— Вот ведь парадокс какой получается: на своей собственной шкуре не убедился ли я, что иногда даже так называемые животные сходят с предназначенного им пути? Гм!.. Но коль скоро это невозможно, то кем же, в таком случае, позвольте вас спросить, являюсь я сам: животным или человеком? А может, и тем и другим?.. Кто я? Человекообразная собака или собакообразный человек? Или вообще — нечто третье?..

— Послушайте, — простонал Классик, прерывая философские размышления галлюциногенного пса, латынь которого окончательно его добила. — Дайте воды, я хочу пить.

— Не положено! — огрызнулся пес. — Нет-нет, и все-таки я настоящая собака... Даже более чем настоящая... И более чем собака.

О, это было невыносимо! Почему сей же час он не проснет-ся и не вздохнет с облегчением?.. Классик не заметил, как впал в глубокое забытие, в течение которого страдания все же не так остро донимали тело и дух...

— Зачем меня привязали? — Это было первое, что Классик спросил, когда очнулся от забытия. Он открыл глаза в надежде увидеть совсем иную картину. Однако оказалось, что он по-прежнему на черном летающем корабле в обществе говорящего пса и в том же безнадежном положении. Только дождь сменился густым туманом — вот и все отличие. — Зачем меня привязали? — повторил он свой вопрос громче.

— Вот и мне непонятно! — оживился пес. — Уж я бы давным-давно тебя или отправил в расход, или отпустил. Все равно от вас, людей, ничего, кроме неприятностей.

— А что, уже приходилось кого-нибудь расстреливать? — насторожился Классик.

¹ «Почему неразумные животные существа лучше пользуются разумом, чем люди» (лат.).

— Пока, к счастью, нет, — сказал пес и с важным видом уточнил: — А вообще-то здесь не расстреливают. Здесь убивают изощренно.

Классик подумал, что в подобных обстоятельствах этого и следовало ожидать, но не стал выяснять, какими именно способами на этом корабле лишают жизни пленников. Он был уверен, что и так это знает: «каннибализм, кромсание, карачун...»

— Э-хе-хе, — горестно вздохнул пес. — Пропади она пропадом, эта проклятая служба! И жизнь эта проклятая тоже... Иногда мне кажется, что я вероломно заброшен в этот мир, и то ли я к нему пристегнут, то ли он ко мне. Так и водим друг друга на поводке.

Пес умолк, затосковал. Откуда-то достал четвертинку черствой черняги с отрубями, отломил себе кусок, а второй сунул под нос пленнику.

— На, ешь, а то ведь неизвестно, когда еще дадут, если вообще дадут, — сказал он, поглядывая на Классика из-под мохнатых бровей. — Эх, кому и пожалеть божьего человека, как не собаке.

Классик вцепился в хлеб зубами, но во рту так пересохло, что кусок не лез в горло. Да и как есть со связанными руками?

— Раз с тебя до сих пор не содрали шкуру, парень, стало быть, ты им нужен живым, — рассуждал тем временем пес. — Ну, а если держат связанным, значит, пойдешь ты не в обыкновенные матросы, потому что в матросы вербуют не таких, как ты, и к мачтам их не привязывают, а сразу бросают в дело. Настоящих людей на корабле пока раз-два и обчелся. Я имею в виду настоящих в биологическом смысле. Если ты заметил, я среди них — белая ворона, даром что собака. Бóльшего сказать не могу: мне своя шкура пока дорога.

Классик выплюнул хлеб, вид у него был плачевный.

— А вообще, благодари судьбу, парень, — жуя во всю пасть, философствовал пес. — Связанный, но живой.

Внезапно он перестал жевать и, поджав хвост, затрясся всем телом:

— Полундра! Боцман Хробак идет!..

— Что за базар?! — раздался голос, похожий на грохот жести, и из тумана вынырнула огромная туша, вся в татуировках; грубо схватив пса за грудки, она принялась со всей силы его трясти. — Фамилия?

— Матрос Петров, — дрожащим голосом отрекомендовался трепыхающийся, словно драная тряпка на ветру, пес.

— Ты, я вижу, совсем припух, матрос Петров! Что, служба медом показалась?

— Я гав... я гав... — пробовал отгавкаться пес-матрос Петров.

— Я те дам «гав»! Ну-ка, упал-отжался! Рр-р-раз-два! Рраз-два-а!..

— Оставьте его, — тихо промолвил Классик.

Боцман Хробак медленно повернул свое налитое злобой подобие лица, и прохрипел:

— А ты заткнись! Когда б не Гений, ты б у меня давно висел на рее.

Пока Классик недоуменно размышлял, чей, собственно, гений имел в виду пьяный боцман — свой, или его, или еще чей-нибудь, — бедный пес-матрос Петров, униженно поджав тощий хвост и, высунув язык, на редкость длинный, отжимался на всех своих четырех лапах. Выходило неуклюже: лапы не слушались и разъезжались на скользком деревянном настиле. Приблизительно на второй минуте не созданный для гимнастических упражнений пес-матрос Петров распластался в четырехстороннем шпагате и подняться уже не смог. Зареготав во всю свою хриплую глотку, боцман ухватил его за загривок, поставил в исходное положение и приказал принять стойку «борзого барана». Хлопая слезящимися глазами и жалобно поскуливая, пес встал на задние лапы, передние же повесил у груди, словно заяц, и подставил свою печальную головушку; уши боязливо вздрагивали при малейшем колебании в атмосфере. Боцман Хробак деловито наложил свою широкую заскорузлую пятерню на узкий лобик Петрова, как если бы то был какой-то муляж, а не голова живого существа, туго оттянул огромный безымянный палец, наподобие древнеримской катапульты, и, выждав паузу, отпустил его. Раздался звон, случайно совпавший с ударом корабельной рынды. Петров рухнул на палубу.

— Завтра — на камбуз, помои выгребать! Понял? А сейчас отведешь *этого* к хозяину, — Хробак указал на Классика. — И пошевеливайся, собачина вшивая!

Боцман тут же исчез в тумане, а несчастный пес Петров сел и горько заплакал.

— Мне очень жаль, — сказал Классик и вздохнул, не находя нужных слов утешения. — Что ж теперь-то плакать? Бесполезное занятие.

— Негодяй!.. Мерзавец!.. Подлец!.. — всхлипывал пес-матрос Петров. — Ничтожество!.. Нет больше сил моих терпеть! Все! Баста! Брошусь за борт, и конец всем моим страданиям!..

— Бежать надо, — сказал Классик сумрачно.

— Бежать?! Куда? — взвыл пес и в отчаянии воздел лапы к ночному небу. — Отсюда один путь...

Он не договорил: и так было понятно, что для тех, кто не умел летать, единственный путь отсюда — падение в бездну. Однако в мокрых от слез собачьих глазах на мгновение вспыхнули слабые искорки надежды:

— Вы... вы думаете, это возможно?..

— Мы еще об этом потолкуем, если захотите, — сказал Классик. — А сейчас развяжите меня и ведите, куда приказано.

Пока пес-матрос Петров возился с веревкой — нервность и спешка мешали ему, так что узлы поддавались с трудом, — он то и дело заглядывал в спокойные глаза пленника, надеясь, как по звездам, прочесть в них свою судьбу. Было в этом даже что-то трогательное. И хотя Классик еще сам не знал, каким образом будет осуществлять этот побег, однако ему показалось, что зерно надежды, — скорее случайно, нежели обдуманно, посеянное им минуту назад в измученной душе пса Петрова, — обязательно даст всходы. Когда-нибудь час освобождения пробьет, неминуемо пробьет, думал он, с облегчением чувствуя, как ослабевают на руках путы. Если в сердце живет хоть малейшая частичка свободы всеобъемлющей, она не может, в конце концов, не соединиться с целым, которому по праву принадлежит, поскольку всякая часть природным образом стремится к своему целому, малое — к великому, и подобное притягивается подобным. Стало быть, на всякую неволю нужно смотреть как на плавучие островки мусора на поверхности вечно катящей свои воды великой реки или как на тучи, внезапно затянувшие бескрайнее лазоревое небо и так же внезапно растворяющиеся в нем...

III

АЛЬГАКОБИЛЛА

Несколькими минутами позже, в сопровождении заплаканного пса Петрова, Классик спускался в трюм корабля под капитанским мостиком. Подойдя к двери, пес дернул пленника за

рукав, чтобы тот остановился, затем перекрестился три раза, чем привел Классика в великое изумление, глубоко вдохнул и выдохнул, будто собрался целый стакан водки выпить залпом, и только после этого тихонько поскреб когтями дверь.

— Входите! — послышался из-за двери металлический голос.

Пес-матрос Петров втолкнул Классика в каюту и тут же хлопнул за ним дверь. Кювета оказалась довольно просторной, и здесь было так холодно, будто внезапно наступила зима. Хозяин, одетый во все черное, стоял к Классику спиной, склонившись над картой, расстеленной на столе. В безукоризненной и даже идеальной черноте его строгого костюма было что-то хищное: она пожирала свет ламп, низко свисавших с потолка, так что у Классика создавалось впечатление, будто он смотрит при ослепительном свете дня в непроглядную темень ночи. Невольно приходилось прищуриваться, чтобы хоть что-то видеть. Среди посверкивающих инеем разнообразных судоводных приборов, не считая большого компаса, Классик узнал только давно вышедший из употребления октан и такой же стародавний угломер-алидаду в виде линейки с верньерами и линзами на концах. Были здесь и астролябия, и армилла Фалеса с кругами небесной сферы, а широкий стол и стены были покрыты морскими, сухопутными и астрономическими картами. На одной из карт с изображением земных полушарий, Классик, изо всех сил напрягая зрение, словно сквозь черный морок, с трудом разобрал латинскую надпись «*Nic sunt Leones*»¹ и отмеченное черным крестом обширное место. Непонятно почему, но отсюда хотелось немедленно уйти и больше никогда не возвращаться.

— Ага, вот и наш *homo viator*!² Ну что, вы нашли ваши тучные пастбища истины? — Хозяин повернулся в пол-оборота к пленнику и посмотрел на него, приставив к глазу коротенькую подзорную трубу с изумрудной линзой. Мокрая одежда на Классике тут же покрылась коркой льда и задубела.

— Если бы за ничтожно малый проступок, — продолжал он, — следовало наказание смертью, то ваша мечта осуществилась бы незамедлительно. И тогда, пожалуй, сам Козьма Индикоплов со своей плоской топографией позавидовал бы вам.

¹ «Здесь обитают львы» (лат.).

² Человек странствующий, странник (лат.).

Хозяин говорил сухо и как бы между делом, ставя карандашом на карте какие-то закорючки.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, — ответил Классик, краем глаза он успел заметить, что это была большая карта Луны, снабженная таблицами Ганзена. — Но думаю, если бы случилось так, как вы говорите, мир превратился бы в мертвую пустыню, и в его существовании не было бы никакого смысла.

— Красивое умозаключение, но в качестве оправдания не выдерживает никакой критики. Помимо красивых слов нужны еще и красивые действия, не так ли? А их-то как раз вам и не хватает, молодой человек. — Хозяин снова навел подозрительную трубу на Классика: — Смотрю я на вас и вижу: осанка, манеры... Прямо-таки царственная особа. Недурно, недурно. Но вот ведь беда: вы, скорее, напоминаете мне сейчас эдакого королька без королевства...

Упоминание о «королевстве» заставили Классика вздрогнуть. Он раздраженно пожал плечами:

— К чему этот разговор? Говорите, что вам от меня нужно, и перестанем играть в прятки.

— Ах, какие мы величественные! Bravo!.. Кстати, о величии и о корольках. До меня дошли слухи, будто бы вы вздумали все-речь претендовать на престол.

— Если это шутка, то не очень удачная, — тихо молвил Классик.

— Шутка? Разве я похож на человека, который шутит?

— Или вы меня с кем-то путаете...

Хозяин усмехнулся.

— Вот так всегда! Чуть только жареным запахнет, мы сразу ни при чем... Да, как это по-человечески! — Прихрамывая так, словно одна нога была короче другой, он вышел из-за стола и остановился прямо перед Классиком, овеивая его свирепыми морозами. — Однако я не представился. Я — Альгакобилла. Я тот, кто овладел ночью, и она родила мне этот черный фрегат, который всегда летит вместе с ней. Вам нравится? Конечно, нравится! Как может он не нравиться? Но этим я не ограничился. Видите ли, по природе я величайший поэт, в чем вы можете легко убедиться: у меня на корабле даже звери говорят человеческим языком. Для них это сущее наказание, ад!.. Да что — звери! Вот, слушайте, — и Альгакобилла призывно поднял кверху длинный указательный палец с ледяным ногтем. — Слышите?

Все вокруг — приборы, посуда, мебель, — дребезжало, звенело, шелестело, вибрируя, словно погруженное в какую-то жизнедеятельность. «Великий, ты великий, величественный... о, великолепный!» — слышалось отовсюду. Казалось, весь корабль ощерился тысячами черных ртов, из которых, как гремучие змеи, ползли, шипя и свистя, славословия: «Величавый, величавый! О, величайш-ш-ший!..»

«Nigrum nigro nigrius!»¹ — тут же вспомнилось Классику знаменитое изречение Фламеля.

— Но это еще не все, — сказал Альгакобилла, повелительным жестом руки прерывая славословия. — Будучи непревзойденным музыкантом, я сумел извлечь всевозможные звуки из ничего. И я наполнил этими звуками все, что вы здесь видите и слышите: скрип обшивки, скрежет якорных цепей, звон рынды, хлопанье парусов, шелест воздушных масс, рассекаемых могучим телом моего корабля, топот матросов по палубе... Я уж не говорю, что в одно мгновение мне повиновались люди и звери, готовые вечно служить мне здесь, под сенью моих парусов, ибо я — величайший организатор.

Классик хотел возразить, что вот, дескать, не все жаждут повиноваться и вечно служить: нашлось же одно хвостатое существо, замученное и слабое, однако готовое даже головой вниз за борт броситься, лишь бы избавиться от унижений. Но, чтобы не накликать на пса Петрова беду, он смолчал.

Будто прочитав его мысли, Альгакобилла с кривой усмешкой подошел к двери каюты и распахнул ее настежь. У самого порога стоял навьгтяжку пес-матрос Петров с перепуганными глазами; облитый ярким светом, он казался совсем голым. Из соседней каюты доносилась громкая брань, что красноречиво свидетельствовало о наличии незатейливого корабельного быта: «Пас!» — «Вистуй, вистуй, дубина! Сейчас мы этого гуся лапчатого оставим без лапы!» В ту же минуту кто-то из игроков силло затянул песню:

Жил да был попугай.
Он не ведал, что говорил,
Он не ведал, что говорил!..

¹ «Чернь чернее черной ночи!» (лат.).

Альгакобилла брезгливо поморщился — и веселье в соседней каюте тут же прекратилось. Только после этого он обратил внимание на пса Петрова и неожиданно самым приветливо-демократичным тоном спросил:

— Как служится, родненький?

Пес расправил свою узенькую дрожащую грудку и срывающимся голосом пролаял что-то бравурно-громкое и неразборчивое. Однако при этом в глазах его неожиданно блеснул недобрый огонек.

— Имеются ли вопросы? Пожелания? — поинтересовался Альгакобилла и, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь перед самым носом открывшего было пасть пса. Затем он позвонил в замороженный колокольчик, дверь снова приотворилась и в нее просунулась здоровенная морда боцмана Хробака. Морда приняла угодливое, даже подобострастное выражение.

— Пса — под арест, — холодно приказал Альгакобилла. — Что-то он мне не нравится. Особенно глаза.

Хробак молча кивнул и исчез за дверью. В следующее мгновение из коридора донеслись грозные переливы его боцманского свистка и пронзительно-жалобный собачий визг. Сердце Классика болезненно жалось.

— К чему такая жестокость? — спросил он, обращаясь к Альгакобилле.

— Это вовсе не жестокость. Это правильное понимание сложившейся ситуации, в которой каждый из участников обязан делать то, что ему предписано.

— А что предписано, определяете, конечно, вы...

— Совершенно верно! — Альгакобилле, хоть он и старался не подавать вида, явно не понравилась ирония, звучавшая в словах Классика; лицо его омрачилось злой улыбкой. — Глаза этого пса, — пояснил он каким-то неожиданно скрипучим голосом, — не внушают доверия. Все очень просто: мне нужны исполнители моей воли, а не мыслители.

— Так вы что же, и на меня рассчитываете как на исполнителя вашей воли?

Альгакобилла ответил не сразу. Некоторое время он что-то циркулем вымерял на карте Луны, а потом, вскинув на Классика насмешливый взгляд, сказал:

— Не извольте беспокоиться. Вам я уготовил великолепную роль. Но при этом важно, чтобы вы прониклись ею в полной мере. И даже полюбили ее. Болванов на моем корабле и без вас хватает.

— Так в чем же проблема?

Альгакобилла принялся расхаживать взад-вперед по каюте, громко поскрипывая суставами. С каждым его шагом мороз усиливался.

— Пока что я даю вам немного времени подумать, — сказал он. — Точнее, одуматься. Обычно я не столь щедр.

— И чем же я заслужил такую щедрость? — Классик чувствовал, как внутри у него все вымерзает.

— Заслужили, еще как заслужили! Поверьте, я могу взять любого, кто мне нужен, но это неинтересно. Вы же — совсем другое дело! Вы сами пришли. Заметьте, не я к вам спустился, а вы ко мне поднялись. И не надо меня уверять, что вы не знали, извините за выражение, куда лезете...

В это время из соседней каюты снова донеслось все то же сиплое пение:

Попугай был дурак.
Он не ведал, что натворил,
Он не ведал, что натворил!..

— Гм, занятная песнь! — неожиданно подметил Альгакобилла. — Что-то в ней есть. Вы не находите?.. Ну да ладно. Итак, вы здесь, на моем корабле. Вам так хотелось взлететь! Что ж, вы почти у цели. Но есть один нюанс: великий взлет, которого вы так упорно домогаетесь, по сути, ничем не отличается от великого падения. Они — абсолютно тождественны. Мы способны их различать, или, скорее, нам кажется, что мы их различаем, если стоим на грешной земле, — и то лишь до тех пор, пока ощущаем некий умозрительный предел одного и другого. Но предел этот исключительно субъективен по природе своей, ибо в объективном мире за ним простирается бесконечность. А бесконечность всегда равна самой себе: нет у нее ни верха, ни низа, ни таких понятий как вперед, назад, влево и вправо... Это вам первый урок, молодой человек. Надеюсь, вы его хорошо усвоите, пока будете находиться здесь, под моей опекой. Да, и уж простите за некоторые неудобства, но должен вас предупредить: они будут сопутствовать вам до тех пор, пока вы будете размышлять над моим предложением и пока я не удостоверюсь в вашей полной готовности к предназначенной для вас великой роли. А она действительно великая, уж поверьте мне...

Дверь снова открылась и в каюту бесшумно, словно водяной шар, вплыла мадам. Ее тело, покрытое рябью, под которой скрывалась хищная глубина, мерцало в свете ламп, а влажный взгляд ее красивых глаз вызвал в душе Классика почти животный страх.

— О мадам! — оживился Альгакобилла, он сделал скрипучий шаг навстречу и окунул свои кривые тонкие губы в мертвенно-зеленые воды ее руки. — Позвольте представить вам...

Мадам глазами, будто со дна омута, прощупывала Классика. Она цедила его неторопливо, как бы прислушиваясь к вкусовым ощущениям. В сыром морозном воздухе повис сильный запах гнилой воды и тины.

— На льва он не похож, — произнесла она не то серьезно, не то насмешливо.

— Не похож, — согласился Альгакобилла. — Но все еще претендует.

— Что ж, мы ему поможем.

— Ну, разумеется, мадам! Если он проявит благоразумие...

— Проявит ли? — приятно улыбулась мадам, и блики от ее водяного кокона задрожали на стенах каюты. — Вы так и не представили меня претенденту.

— О мадам! — с преувеличенной галантной горячностью воскликнул Альгакобилла и, повернувшись к Классику, провозгласил: — Позвольте представить: очаровательнейшая Альдрованда Дрозераця!

Классик молча кивнул, но целовать протянутую руку не стал, боясь в ней захлебнуться. И только сейчас, при свете ламп, он заметил, как в водяном коконе плавают рыбки с человеческими головами. Выпучив глаза, они широко открывали рты, очевидно, в надежде на глоток воздуха, и движения их были вялыми.

— Однако светские львы себя так не ведут, — с ироничной надменностью молвила Альдрованда Дрозераця, убирая руку. — Можно подумать, он сделан из фарфора: чуть шевельнется — упадет и разобьется вдребезги.

— Думаю, он просто ошеломлен вашей красотой, мадам, — сказал Альгакобилла. — Это пройдет.

— А почему это должно пройти? Вы думаете, к моей красоте можно привыкнуть?

Но Альгакобилла сделал вид, что не расслышал. Он нервно позвонил в замороженный колокольчик, и на обледенелом пороге появился все тот же боцман Хробак. Он уже едва держался на ногах, и из его рта валил пар.

— Боцман, будьте любезны, проводите нашего гостя туда же.

— Куда туда же?

Скрипя всем телом, словно оно заржавело в суставах, Альгакобилла подковылял к боцману и посмотрел на него в упор.

— Туда же — это туда же, — процедил он сквозь зубы.

— Ага! — сообразил боцман Хробак. — Будет исполнено, хозяин!

И он повел Классика по коридору, дыша ему в затылок алкогольными парами.

IV

ПЕС ПЕТРОВ

Дверь за спиной захлопнулась, и заскрежетали засовы. С минуту, которая показалась вечностью, Классик стоял неподвижно, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Он услышал негромкое ворчание, нечто расплывчато-темное, постукивая когтями по деревянному настилу, медленно подбиралось к нему. В нос ударил резкий запах. Остановившись в двух-трех шагах от Классика, оно звучно зевнуло и отчетливо произнесло:

— Не бойтесь, не укушу. И на ваше счастье я не бешеный. Так что ежели бы даже и куснул разок-другой, вам не пришлось бы произносить известное заклинание: «Нах, рах, тах!»

Затем последовало сопящее внюхивание, и Классик почувствовал на руке прикосновение чего-то мокрого и холодного. Он вздрогнул.

— Да что с вами? Вы меня не узнаете?

— Это вы, Петров?

— Кто ж еще? Вижу, вас тоже наказали... Что ж, милости просим в наши пенаты. И простите великодушно, что мною так сильно пахнет. Я уж и не припомню, когда имел возможность заняться своим туалетом... Да вы садитесь, здесь есть немного соломы.

Классик присел, где стоял, и сложил ноги по-турецки.

— Вообще, я хотел извиниться, — продолжал пес-матрос Петров. — Там, на палубе, я был с вами не очень-то любезен. Видите ли, я здесь несколько озверел и стал слишком подозрительным. Жизнь заставила. Понимаю, это слабое оправдание... А вот вы — настоящий герой. Я ведь кое-что слышал из вашего разговора с Альгакобиллой. Перед ним здесь все трясутся от страха. Признаться, и я тоже. А вы держались на высоте... И знаете... Я вот тут посидел часок, подумал в тишине... Надоело бояться. Хватит! Клянусь, я эту сволочь Хробака загрызу! Вопьюсь в его красное горло клыками!.. Послушайте, почему вы все время молчите? Какая собака вас, так сказать, укусила?

— Ах да! — очнулся Классик, будто ото сна. — Извините, Петров, все никак не привыкну. Мне ведь еще не доводилось встречать говорящих собак. Вы должны меня понять...

— Вот оно что! Ну и как первое впечатление?

— Недурно.

— Недурно? Да это ужасно, сударь!

— Ну как же, вот и Марко Поло, кажется, писал о таких, побывав на Андаманских островах.

— Чушь! — рявкнул пес Петров. — У тех были только головы собачьи, а все остальное — человечье. Вдобавок, есть подозрение, что они были людоедами.

— Но вы же не людоед, надеюсь? — спросил Классик как можно более деликатным тоном.

— За кого вы меня принимаете? — возмутился пес-матрос Петров.

— А за кого я должен принимать говорящего пса?

— Эх, знали бы вы, каково оно — быть говорящим псом! Уж поверьте, все мои напасти именно от этого моего распроклятого умения говорить. Нет, вы только не подумайте, я, конечно, ни о чем не сожалею и за все благодарен судьбе и Господу Богу, милостиво посылающему мне все новые и новые испытания.

— Хорошо, Петров, прошу меня извинить. Но как вам удалось? Далеко не каждый из людей может похвастаться такой культурой речи. И, право, даже не знаю теперь, как обращаться к вам...

— Это все пустое, — последовал ответ с призывом благородной печали; но чувствовалось, что пес Петров польщен. — Так и зовите меня просто: Петров. В конце концов, я всего лишь бедный матрос на этом злополучном корабле, — и он с остерве-

нением вцепился зубами в свой клокастый хвост. — Excusez-moi¹, сударь, блохи совсем заели!.. Но, кажется, вы спросили, как мне удалось научиться человеческой речи? О, это предлинная история, доложу я вам! И тут, разумеется, не обошлось без Господнего Провидения, избравшего именно меня с некой определенной целью. Но даже вашим человеческим языком всего не объяснишь. Скажу только, что осиротел я в младенческом возрасте и отца с матерью, увы, совершенно не помню. Так, совсем еще слепым щенком я попал на попечение к одному известному писателю-фантасту. Кормил он меня исправно, но в глубине души ненавидел за то, что я не черной масти пудель и зовут меня Петров, а не Престигиар... Может, вы его и знаете. Или, по крайней мере, читали... Седовласов — его фамилия. Известный писатель-фантаст.

— С чего вы взяли, что я его знаю?

— Ну... просто я случайно слышал, как Альгакобилла называл вас «классиком». Я и подумал...

— Вам показалось, Петров. Ни разу Альгакобилла не называл меня «классиком».

— Да? Странно.

— И вообще, я никого не знаю в этом городе. Думаю, и меня никто не знает. К тому же, я не читаю фантастику.

— Вот как? — в голосе пса Петрова чувствовалось недоверие. — А Брэдбери, Кларк, Азимов?.. Нет? Что, и Стругацких не читали?

Классик молчал.

— Ну, возможно, вы и правы, — вздохнул пес Петров. — Все это фантазии. Реальность куда сложнее и невероятнее... Что же до Седовласова, то, с литературной точки зрения, уверяю вас, он, — полное дерьмо, извините за грубость. И все же я ему благодарен.

— За что же?

— Видите ли, сударь, когда я подросток, то автоматически оказался на службе у этого взбалмошного пьяницы. Положа лапу на сердце, служба была не сахар. Но что мне, сироте, оставалось? На судьбу я не роптал и к своим обязанностям в доме относился ответственно, тем более что поначалу требовалось от меня многое: вставать на задние лапы, вовремя залаять на кого поло-

¹ Прошу прощения (*франц.*).

жено, и прочая чушь собачья, к которой я никогда не относился серьезно. Но на самом деле все оказалось гораздо сложнее. Уж поверьте, если бы мой хозяин был не писателем-фантастом, а писателем-реалистом, со мной никогда не произошло бы подобного чуда, или, правильнее сказать, казуса... Эх, что уж теперь гадать: если бы да кабы! Короче говоря, уже с младенческих когтей я, *volens-nolens*¹, получил довольно-таки разностороннее образование. Можно сказать, прошел через *porta antiqua*², как это называли древние. С годами знания мои углублялись, хоть я и признаю, что в ту пору они носили, скорее, книжный характер, нежели практический. К моим услугам оказалась колоссальная фамильная библиотека Седовласова, и время, свободное от глупых, сугобо собачьих экзерсисов, я полностью посвящал ученым занятиям. Гумбольдт, Марр и Костомаров, простите за аллитерацию, Платон и Плотин, оба Плиния — Старший и Младший, Моммзен и Фробениус, Грейвс и Хейзинга — все они и многие, многие другие составляли привычный круг моего чтения. Иными словами, языки, история, философия, этнография и культурология — вот то, что являлось предметом моего живейшего интереса и вдохновения. Единственно, кого я на дух не выносил, это картезианцев. Для них все животные — бездумные машины. Концепцию более богомерзкую трудно себе даже вообразить! А вот что давалось мне тяжело, так это точные науки и естествознание. Ну разве только «Естественная история» Бюффона, помнится, произвела на меня довольно сильное впечатление.

— Стало быть, вы гуманитарий, — с пониманием констатировал Классик.

— Да уж точно не технарь, — согласился пес-матрос Петров. — Как и вы, смею заметить. Ведь вы тоже гуманитарий. Даже, я бы сказал, гуманист.

— Гуманист?!

— Ну да, это же очевидно! Во-первых, вы сутулитесь, а во-вторых...

— А что было потом? — мягко прервал пса Петрова Классик.

— Потом... О, потом на мою бедную голову посыпались несчастья — одно за другим, одно за другим... Сначала я стал позволять себе критически высказываться о молодых поэтессах,

¹ Волей-неволей (*лат.*).

² Врата античности — о классическом образовании (*лат.*).

которых мой хозяин каждый день приводил домой для так называемых «литературных штудий». Первое время мои меткие реплики его забавляли, но потом стали все больше и больше злить, поскольку вышесказанные поэтессы, каждая из которых считала себя натурой сверхутонченной, абсолютно искажая учение Хайдеггера, ставили вопрос обывательски примитивно: «Либо мы, либо этот облезлый пес!» Хотя смею вас уверить, в то время уж я-то никак не был «облезлым», не то что теперь... Разумеется, я не мог пропустить мимо ушей такое оскорбление и довольно едко высмеял сначала эти «штудии» (ибо, — чего греха таить? — ни к поэтическому искусству, ни даже к научной фантастике, они не имели ни малейшего отношения), а затем и самих поэтесс. Можете себе представить гнев моего хозяина...

— Зачем же, в таком случае, вы это делали?

— Ну, как вам сказать... *Humani nihil...*¹ Не стану спорить, в те времена, вероятней всего, я поддался греху гордыни, поскольку считал себя собакой блестяще образованной, собакой, сумевшей встать на один уровень с так называемым *homo sapiens*², и в известном смысле даже превзойти этого *sapiens*'а. Во всяком случае — духовно и нравственно. Ах, теперь-то я, конечно, понимаю, что быть нравственным по-настоящему возможно, только лишь пройдя через множество унижений, гонений и прочих горестей, однако при сем не уронив чести и достоинства — не только свои, но и ближних своих.

На мгновение Классикку показалось, что он все еще бредит и, более того, что бред его нарастает и углубляется с каждой минутой. Он даже крепко зажмурился... но тут же спохватился. Однако это мимолетное движение не ускользнуло от острого зрения пса Петрова.

— Кажется, я вас утомил. Может, вы хотите поспать?

— Нет-нет, Петров, продолжайте, прошу вас. Просто я...

— Просто все это вас, мягко говоря, несколько шокирует.

— Признаться, есть немного.

— Ничего, сударь, скоро вы ко мне привыкните. Надо полагать, нас еще долго тут продержат.

— Увы, похоже, к этому все идет.

¹ Ничто человеческое [мне не чуждо] (*лат.*).

² Человек разумный (*лат.*).

— Ничего, ничего, — увещевал пес-матрос Петров, почухиваясь. — Будем надеяться на лучшее. А пока ведь надо как-то время коротать.

— Да-да, вы правы, Петров. Продолжайте вашу повесть, она мне нравится.

— Правда?.. Ну, тогда слушайте дальше, — сказал пес Петров, с трудом скрывая удовольствие. — Так вот, последней каплей, переполнившей чашу терпения Седовласова, стала моя разгромная критика его научно-фантастических произведений, которые, уж можете мне поверить на слово, представляли собой банальную третьеразрядную компиляцию. Кларкизм, брэдберизм, ефремовизм... И все в одну кучу, да еще и с политическим уклоном: ваши, наши... И в хаосе этом — ни таланта, ни воображения, ни вдохновения! Одни тошнотворные правильности, а герои разговаривают лозунгами. Это так отвратительно, когда кто-то пытается продать свою хромую клячу по цене Пегаса! Стыдно.

— И что же?

Пес Петров досадливо махнул лапой:

— В конце концов я не выдержал и сказал ему, что пока соловей поет на дереве, собака под ним мочится. Ирония моя была оценена по достоинству, и все закончилось тем, что этот апологет фантастики весьма реалистично отделал меня рукописью по морде, а рукопись была довольно толстой, будь она неладна! Но обидней всего даже не то, что я был бит членом Союза писателей и руководителем литературного объединения молодых авторов, — дело, как говорится, житейское, — а то, что человек этот, почерпнувший из моих речей целый букет великолепных сюжетов для своих рассказов и повестей (по ночам он даже втихаря записывал на кухне все, что я по наивности своей и не думал скрывать, а потом выдавал за собственные сочинения), этот человек умудрился не только бездарно угробить все эти сокровища, но и в итоге отплатил мне столь черной неблагодарностью! Поверьте, сударь мой, все лучшее, что было в его немощных писаниях, принадлежит мне, хоть и в сильно испорченном виде, на какое обстоятельство я и не замедлил ему указать... Короче, глубоко оскорбленный, я в тот же вечер ушел из дому. О, как часто потом в своих горестных скитаниях хотелось мне, чтобы сказанные мною слова никогда не были сказаны и чтобы я никогда не жил среди людей... Но я все жил и жил. Как в страшной сказке. В той самой, про Горе, помните? «Это ты, Горе, мне петь подсобляешь?» Да, но

то было уже потом, а тогда... Тогда, галопируя с разбитым в кровь носом по ночным улицам, я тем не менее безмерно радовался свободе, пусть и навязанной мне насильно рукописью по морде. По правде говоря, для радости у меня имелась еще одна существенная причина. Дело в том, сударь, что соседская пинчериха Кноппа — дама во всех отношениях неприятная, да к тому же годившаяся мне в бабушки, простите за некоторую брутальность, положила на меня свой вечно слезящийся катарактный глаз и прямо-таки не давала проходу. Была она старой девой и, уж не знаю почему, вбила себе в голову, что я неминуемо должен пасть жертвой ее дряблых прелестей. Но хуже всего то, что пинчериха Кноппа была глупа, как и большинство женщин, уверенных в своей неотразимости...

Слушая такие речи, Классик не знал, смеяться ему или плакать. В любом случае, его собственная жизнь уже не казалась ему такой исключительной, а главное, трагичной.

— Знаете, я и раньше не раз замечал, — продолжал песматрос Петров, — что многим дамам свойственно излишнее погружение в свое телесное начало. Все их внимание целиком обращено к так называемым «формам», и в конечном итоге они неизбежно приходят к мысли, что их «формы», то есть внешность, суть своего рода товар. А товар, как выражаются негоцианты, необходимо реализовать или выгодно пристроить. Это, так сказать, политэкономия. А дальше начинается психология. Как правило, добившись цели, такие дамы постепенно навязывают своим несчастным жертвам, коих они величают «избранниками», мысль об их полнейшей несостоятельности и, спекулируя на их чувстве вины и на своем якобы униженном и поруганном величии, которое, де, заслуживает лучшей участи, с чистой совестью ищут в других псах нечто прекрасное, нечто духовное и возвышенное, нечто не опошленное семейной жизнью и ежедневным бытом, — короче говоря, нечто такое, что было бы, как им кажется, понастоящему их достойно. И таким вот образом добившись за счет породистых и зажиточных простаков-мужей «стабильности тылов» (так они называют священное таинство брака), все эти пинчерихи Кноппы и болонки Чапы бесстрашно щекочут себе нервы, которые они почему-то выдают за фибры души. Как вы понимаете, подобная печальная участь ожидала и меня, тем более что хозяйке этой пинчерихи, гражданке Хухриной, удалось-таки завлечь моего хозяина в свои сети и договориться с ним об этом ди-

ком мезальянсе. О, как перенести такое?! Да, возможно, тогда я был заносчив и горделив, ибо чувствовал свое высокое происхождение, а главное, ту полную величайшего значения миссию, которую уготовило мне Провидение. Вот почему подобный союз представлялся мне уже даже не просто мезальянсом, а настоящим морганатическим браком, одна мысль о котором повергала меня в дрожь. Увы, оправданием мне может служить моя молодость и горячность. В общем, я так содрогался от ужаса, что Седовласов решил, будто у меня лихорадка, и принялся пичкать меня всякой аптечной мерзостью, от которой меня трясло еще сильнее. Вот тогда я и написал разгромную рецензию на его графоманские бредни, да еще позволил себе прочесть ее вслух в присутствии разомлевшей гражданки Хухриной и ее глупой Кнопы. Услыхав мои острые и не по годам глубокомысленные тезисы, соседка сначала онемела, а потом как взвизгнет, будто я к ней с ножом подступил, и как кинется прочь из нашей квартиры! Но разве я мог поступить иначе? Как говорится: *Dixi et animam meam salvavi*¹ — пес Петров грустно вздохнул и добавил: — Но погубил свое тело... Ну а дальше вы уже знаете: Седовласов схватил свою бездарную рукопись и давай меня ею по морде хлестать...

— Да, Петров, вы могли бы проявить и больше такта, — заметил Классик.

— Согласен, сударь, согласен! О эта вседозволенность философов! О эта *eloquentia anima*!² Но, как я уже сказал, в ту пору я был горяч и неопытен, а потому слишком прямолинеен. Мог ли я тогда знать, что, по меткому замечанию кого-то из великих писателей, женщины только после тридцати лет узнают, что, оказывается, существует смысл жизни! К несчастью, ни Кнопы, ни Чапы наши столько не живут. Теперь-то, конечно, я жалею их всех...

Пес-матрос Петров умолк. В гнетущей тишине было слышно, как он несколько раз всхлипнул...

— Так я ушел из дому, — продолжил он свой рассказ. — Ушел, навсегда оставив милых сердцу Шопенгауэра и Ницше, немецких романтиков, английских лейкистов, французских символистов и вообще все «споры о древних и новых». Я понимал, что больше никогда не увижу великолепные альбомы с репродукциями моих

¹ Я сказал и спас свою душу (*лат.*).

² Собачье красноречие (*лат.*).

любимых Джотто и Микеланджело, Фра Анджелико и Рафаэля, Климта и Врубеля; никогда не услышу пластинок с музыкой Букстехуде, Моцарта, Вагнера и Шумана. Все было кончено! Как сказал Пастернак, покидая тихий Марбург: «Прощай, философия!» И оттого моя радость быстро сменилась великой печалью. Так началась моя новая жизнь. Я стал безымянным странником, Дикой Собакой, как я сам себя называл. Целыми днями я скитался по огромному городу сытых людей, постигая все его самые хлебные места — от скромных мусорников до изобильных рынков, — иногда забредая на хозяйственные дворы ресторанов, кафе и общепитовских столовых, — и все ради скудного пропитания. И меня либо подкармливали, либо палками гнали прочь. Я изнывал от жары, мок под проливными дождями, коченел от мороза и спал где придется, укрываясь одним лишь хвостом. О, я изрядно пообтрепался, на мне поселились сотни блох, для которых я стал и домом родным, и хлебом насущным. Вот она, злая ирония судьбы! Как говорили древние мудрецы: кто живет везде, тот не живет нигде, и у кого дом повсюду, у того нет дома. Мог ли я смириться с такой ужасной мыслью? Конечно, я жил повсюду, и домом моим становился любой куст, или теплая крышка канализационного люка, или сухой подвал, если бывал не на замке... Но, думал я, если уж храм Божий мы носим заключенным в нашем сердце, то дом наш и подавно в нас самих. Так что я несколько не пал духом, сударь. Нет! В душе я по-прежнему оставался философом и поэтом. И я смеялся над голодом и холодом. Главное — Свобода! Да, мир жесток и коварен: опасности и страшные испытания подстерегали меня на каждом шагу, и единственное, что мне не грозило, так это остеохондроз и Владимирская, 33...

— Серый Терем? — сам не зная зачем, уточнил Классик в немалом удивлении.

— А знаете ли, сударь мой, — сказал пес Петров, внезапно меняя тему, — вы вот меня не помните...

Классик недоуменно покачал головой.

— А я вас сразу узнал, как только увидел там, на палубе. Да, да! Лапу могу дать на отсечение, что это были вы. Я и через двадцать лет узнал бы вас, как старый Аргус Одиссея, в котором даже собственные жена и сын увидели лишь нищего странника.

— Вы это о чем, Петров? Что-то я вас не понимаю.

— Ну как же, как же! Это ведь вы однажды так же, как и я, брели себе по ночному городу домой, один-одинешенек, а я вас

проводил до самого вашего подъезда, и вы еще тогда, помню, называли меня «своим папой»... Видит Бог, я был растроган до слез... Я вот... и сейчас...

— Ну что вы, Петров. Успокойтесь, прошу вас.

— Да, что-то в последнее время я стал слишком сентиментален, — сдавленным голосом молвил пес Петров, сморкаясь и утирая лапой мокрую от слез морду.

— Мне очень жаль, — сказал Классик. — Но я не помню своей прошлой жизни.

— Вы просто не доверяете мне, — обиделся пес Петров.

— О нет! Не думайте так... Просто, если честно, не хочу помнить.

— А-а-а, — уважительно протянул пес Петров. — Ну, это совсем другое дело. Такое состояние души мне хорошо знакомо. Хвостом клянусь, вы влюблены! Ведь так? Я угадал? Когда приходит истинная любовь, прошлое становится тяжелой обузой. Хочется побыстрее забыть его и радоваться только сегодняшнему дню. Уж я-то знаю.

— Как? — воскликнул ошарашенный Классик. — Вы что же, еще и любили?

Пес-матрос стыдливо опустил глаза и глухо произнес:

— Я и сейчас люблю. И надеюсь, что любим.

— Простите, а кто же ваша избранница? Впрочем, извините за бестактный вопрос.

— Не стоит извиняться, сударь. Я и сам собирался вам рассказать, ибо в истории моей любви и кроется вся суть моего поведения. Так что слушайте дальше, и вы все узнаете.

И, совладав с волнением, пес-матрос Петров принялся рассказывать историю своей любви.

V

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ ПСА ПЕТРОВА

— Однажды промозглым осенним вечером, когда уже зажглись первые фонари, я рискнул выбраться в центр города, в надежде чем-нибудь поживиться в «Трубе» или возле «Кулинарки», что на углу Институтской и Крещатика, или, на худой конец, под

Центральным Гастрономом — благо, он работает допоздна. Как сейчас вижу: просторная улица, залитая неоновым светом, нескончаемый поток автомобилей, троллейбусов, и всюду люди, люди, люди... Я же, не мудрствуя лукаво, в качестве разминки обнюхиваю большие чугунные урны, и, кажется, никто меня не замечает. И вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Вы ведь знаете, как это бывает...

— Еще бы! — кивнул Классик.

— Так вот. Медленно оборачиваюсь в том направлении, откуда, как мне показалось, на меня смотрели, и вижу ярко освещенную изнутри витрину охотничьего магазина...

— Это тот, что рядом с «Сувенирами»?

— Точно. А в витрине — белый пушистый заяц — красоты немислимой! Представляете? Сидит на задних лапках, сложив передние на груди, и смотрит, не мигая, прямо мне в глаза. Ах, какой это был взгляд! Добрый, нежный, сострадательный... Поддав в себе природную застенчивость интеллигента, я медленно подхожу к витрине и только тогда понимаю, что это не живой заяц, а всего лишь чучело зайца. Но как же он красив! Как прекрасны и лучисты его голубые глаза!

— Да что вы, Петров! Разве у зайцев бывают голубые глаза?

— В том-то все и дело! *Per vezer e per auzir*¹, как любили выражаться авторы трубадурских жизнеописаний. Эти глаза поразили меня сразу, они как будто всегда незаметно жили в моем собачьем сердце, а теперь, едва я успел это осознать, у меня было такое чувство, словно их отняли. Всю ночь шатался я по городу и как бы непроизвольно, безотчетно, искал их повсюду и... нигде не находил. И уже после, много времени спустя, я продолжал искать их, но, увы! — все тщетно. С того самого мгновения я вошел в новое свое состояние, доселе неведомое мне, но сладостное до дрожи в лапах и хвосте, до головокружений. *Herz, mein Herz!*..² Да, мое бедное сердце впервые открылось миру, и мир бережно прижал его к своей груди... Надо вам сказать, сударь, всего этого в ту пору я еще не осознавал разумом и не мог выразить столь отчетливо, как сейчас. Я только чувствовал что-то невыразимо благодатное. Будучи все это время Собакой Дикой и, как следствие, от-

¹ Мною самим и видно и слышано собственными моими глазами и ушами (*старопрованс.*).

² Сердце, мое сердце!.. (*нем.*). — Гете, «Новая любовь, новая жизнь».

выкнун от скрупулезного анализа, я все больше руководствовался чувственной стороной мышления, которая, благодаря прошлым гуманитарным занятиям, развилась во мне чрезвычайно. Потому, быть может, и в философии я всегда отдавал предпочтение романтическим и религиозно-мистическим школам, нежели чистым диалектикам и натуралистам. Возможно, мой бывший хозяин Седовласов и был по-своему прав, обвиняя меня в потакании своим страстям. И, поверьте, я легко могу понять его позицию, то есть позицию человека, для которого карьера — это всё. Он и не способен мыслить иначе, нежели из соображений прагматизма. Я же искренне полагал, что лучше жить на поводу у своих страстей, чем на поводке у члена Союза писателей. Судите сами, разве в моем идеализме самолюбия больше, чем в здоровом прагматизме? Конечно, анализ в известной степени застрахован от ошибок, но, в то же время, он застрахован и от чудесных потрясений, от экстаических состояний духа. Да будь я черствым аналитиком, а не тем, кто я есть, то, заглядывая в волшебные глаза Зайца, я наверняка меньше всего помышлял бы об этом самом волшебстве. Скорее всего, я пожелал бы выяснить, из какой субстанции это так называемое «волшебство» происходит, какова его формула и к чему оно может привести. Не так ли? Тем более что речь шла даже не о живом Зайце, а о чучеле Зайца, набитом соломой. О боги! Ну мог ли я тогда осознавать, что в причинно-следственных связях главную роль играют вещи далеко не абстрактные, не эфемерные, — хотя они и кажутся таковыми, — не развитие и взаимоотношения классов, не историческая необходимость и не экономика, как думают прагматики. Фибры души — вот истинный двигатель событий! Энергия сердца — вот сила, способная воплотить еще не воплощенное. Естественно, под фибрами души я разумею не нервные сплетения и не прихоти желудка, а под сердцем — не мускул, прокачивающий кровь. Я уж не говорю о Воображении... «Fortis imaginatio generat casum»¹, не так ли?

— Короче говоря, — продолжал пес-матрос Петров, — вместо того чтобы проявлять осторожность, столь необходимую для моего выживания в агрессивной окружающей среде, я фанатично, без рассуждений бросился в бездну своего чувства, как птица бросается в небо. И уже на третий день был уверен, что влюблен навеки! Не знаю, сударь, поймете ли вы, но мне нужна была любовь. И не

¹ «Сильное воображение порождает события» (лат.).

просто любовь, а обоготворение. Пьер Абеляр боготворил свою Элоизу, Паоло — свою Франческу, Сегуин — свою Валенсию, а я боготворил Зайца. Я странствовал по городу со словами любви, готовыми каждый миг слететь с уст. Я сам себе напоминал «бродячий рефрен» из какой-нибудь старинной трубадурской песенки. О, я будто предчувствовал наши будущие восхитительно-тайные свидания — все эти встречи где-нибудь на задворках Великого Города, эту огромную желтую Луну, ласкающую своим мягким светом наши лобызания... Что это вас так смущает, сударь? А-а-а... Должно быть, вы превратно все поняли. Видите ли, я терпеть не могу это ужасное слово «зайчиха». В нем есть что-то посконное, купеческое, и в голову сразу лезут образы кустодиевских баб. Вот потому-то я и говорю: «Заяц», хотя, уверяю вас, он — женщина... Да, так на чем я остановился?

— На лобызаниях, — вежливо подсказал Классик, внутри чувствуя изрядное облегчение.

— Ах да!.. Рыцарское служение, полная самоотдача до самого кончика хвоста, необычность, красота, тончайшие переливы чувств, — все это разом ожило во мне и теперь просилось наружу, ища выхода. Как одержимый скакал я по городу, оглашая его призывным лаем, пока однажды судьба не занесла меня в Голосеевский парк имени Максима Рыльского. Должен вам заметить, это сочетание имен меня всегда приводило в некоторое замешательство: все равно, что Олений парк имени Людовика Четырнадцатого, или Шервудский лес имени Робина Гуда... Но я опять отвлекся. Так вот, там, в Голосеево, на берегу лесного озера, дремавшего в лучах полуденного солнца, — о, я едва верил своим глазам! — я увидел ту, о которой так страстно мечтал. Вы правы, сударь, предо мною предстал Белый Пушистый Заяц! О! *Chi può dir com'egli arde' e'n picciol fuoco!*¹.. Не знаю, не помню, как долго пребывали мы оба в красноречивом молчании и любовались друг другом. Потом так же, ни слова не молвив, будто зная обо всем изначально, мы взяли за лапки и пошли куда глаза глядят. Душа моя! Ослепленная, она была, словно чайка, что выпорхнула на залитый солнцем берег океана, еще не ведая, какая бездна перед ней и какие смертоносные бури таятся в беспечном штиле. Одному Богу известно, сколько часов или дней шли мы так — щека к

¹ Кто может выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем! (итал.). — *Петрарка, Сонеты, I, 98.*

щеке. И очи мои неотрывно любовались возлюбленной моею и все не могли налюбоваться. Прекрасный заячий лик будто скрывался в сизой дымке. Уж таково воздействие истинной красоты. Всякий из поэтов или живописцев скажет вам, сударь, что красота почти никогда не дается нашему взору сразу во всей своей целокупности и отчетливости, ибо взор наш, будучи влюблен, — как бы слегка затуманен: наслаждаясь совершенством одной какой-нибудь детали, мы как правило упускаем остальное. Сейчас я вспоминаю, что дивный лик Белого Зайца словно излучал радужное сияние, и казалось, будто смотришь на возлюбленную сквозь полусомкнутые ресницы. Да, сударь, передо мною действительно разверзлась бездна. Бездна таинственного и магического. А Заяц все больше хранил молчание, был задумчив и взирал на меня откуда-то со своей далекой и прекрасной высоты... О нет! То была вовсе не надменность, не чувство превосходства, как вы могли бы подумать, а некая высокая отстраненность от всего земного, от всей этой проклятой суеты, что вечно творится вокруг нас. Это была божественная недосыгаемость, уверяю вас! — Пес-матрос Петров, произнеся эти слова, даже сглотнул слюну. — Знаете, сударь вы мой, такая странность: подробности нашего пути со временем как-то незаметно изгладились в моей памяти, остался лишь этот полный тишины и одухотворенности светоносный образ. В нем есть что-то от Мадонны, от *Rinascimento*...¹ А наша встреча — маленький чудотворный сонет из моей собачьей жизни...

— Когда я очнулся, — продолжал пес-матрос Петров после недолгого печального раздумья, — когда я очнулся, то находился уже в темной зловонной будке, или карете смерти, как я называю эту душегубку на колесах, в обществе двух десятков таких же несчастных бродяг, как и я сам. Скулеж стоял душераздирающий.

— Вы хотите сказать?..

— Да, сударь. Нас всех везли пресуществлять в мыло. О, какая беспросветная печаль охватила меня, какая скорбь сковала мое сердце!

— Но позвольте, Петров, неужели, имея столь счастливую способность к человеческим языкам, вы не попытались заговорить с людьми и все объяснить им?

— Нет, не попытался.

¹ Эпоха Возрождения (*итал.*).

— Но почему?

— Да потому, что не мог же я в несчастье поставить себя выше своих собратьев! Мне было стыдно спасать свою шкуру, в то время как их ждала неминуемая гибель.

— А вы уверены, Петров, что собратья ваши поступили бы так же благородно, имей они возможность спастись?

— Не знаю. Об этом я не думал... И потом, я больше не верил в homo sapiens'a. О чем с ним говорить? О чем можно говорить с живодерами? Вы когда-нибудь слышали их речь? Так вот: ничего человеческого в ней почти не осталось. И ведь что за жизнь среди вас, людей, простите за обобщение! Никогда не знаешь, чего ожидать. Сколько нас, безымянных, погибло в лабораторных застенках какого-нибудь очень разумного профессора Басова или того же академика Павлова? Кто скажет, сколько нас, больших и маленьких, короткошерстных и лохматых, приняло мученическую смерть с резиновыми трубочками в животах? А этих дипломированных изуверов от науки интересовали отнюдь не наши чувства, надежды и стремления, а наши желудки, печени и поджелудочные железы. Их очень волновало наше слюноотделение! У Ивана Петровича¹, например, была идея — мечта некрофила, — которая ему казалась великой: превратить нас в «неистощимую фабрику» желудочного сока. А хотел бы я посмотреть на этого убеленного сединой академика, если бы ему, не приведи Господь, пришлось бы вот так же по шесть-семь часов кряду простаивать в проклятом станке, истекая соками от так называемого «многого кормления». Да будет вам известно, сударь, что некоторых из нас всего лишь во имя научного эксперимента лишали сна, этого божественного дара. Гибель наступала на пятые сутки. Так-то вот... Все это обстоятельно записывалось в толстые тетради и затем без малейшего душевного содрогания публиковалось в виде научных статей. Какая черствость!

— Мне очень жаль, Петров.

— А вам и не надо оправдываться, сударь. Вы не из таких, уж я-то знаю. Потому и скитаетесь, подобно мне.

— Ну что ж, — вздохнул Классик. — Древние утверждали, что скитания — это путь, приближающий нас к небу.

¹ Т. е. у академика Павлова И. П. — *Примечание Издателя.*

— Вот-вот! — Пес-матрос Петров сладко почесал задней лапой за ухом. — Не потому ли теперь мы оба здесь, на этой чертовой посудине, между небом и землей?

Наступило продолжительное молчание. В кубрике клубилась все та же непроглядная, душная темень. Пел сверчок где-то в углу. Над головой, по палубе, барабанил дождь, и ветер завывал в снастях. Время от времени доносились приглушенные голоса вахтенных... Куда летел этот корабль? В какие дали?.. Усталость уже начинала брать свое. Пожелав друг другу доброго сна, узники свернулись калачиком, каждый в соответствии со своим анатомическим строением, и погрузились в спасительное забытие...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

ВОКРУГ КАРУСЕЛИ

...Это была просторная круглая комната с куполообразным потолком, освещенная керосиновыми лампами, которые не столько источали свет, сколько отсасывали мрак. На расписной карусели в обществе обалденных белладонн степенно кружились благородные бобыли: кто на деревянных слониках, кто на морских коньках или на жирафах — тоже деревянных. На одних слониках было написано: «Не слоняться!», на других: «Не прислоняться!», на третьих: «Не заслонять!» На морских коньках почему-то вообще ничего не было написано, а на жирафах — «Жирафы обезжиренные».

Вокруг карусели также кипела жизнь. Матерые сакраменталы в толпе отыскивали яблочных ведуний, и потом уже вместе они погружались в бесконечное брачное бормотание. Перволюбленные *барышня* с *барышнем* играли в старинную игру: кто кого быстрее обцелует. Неразбериха царила полная, целовальники у обоих опухли и посинели, но сдаваться никто не желал, и если *барышень* оказывался быстрее и расторопнее, то *барышня* немедленно обижалась и убегала прочь. Через минуту она возвращалась, и все повторялось сначала.

Шелестела кринолинами ядреная старь-невеста с цепным барбаросом на поводке. Злой барбарос настойчиво тащил свою хозяйку к полотняному навесу — там над входом красочный плакат гласил: «Для тех, кому не снится». При виде плаката, у ядреной старь-невесты началась ядерная реакция, а у цепного барбароса — цепная. Видя всю эту канитель, трансцендентальные старцы со склеротическими венками на седых мигренях тут же дружно прекращали бросаться в глаза, самоустраивались и с тихим домашним кряхтением переходили из одной пенсии в другую. И так, постепенно — из пенсии в пенсию, из забвения в забвение, из вечности в вечность...

Еще здесь были воскресные зверьки, празднично шатающиеся по квадратуре комнатного круга, вызывающей внешности фор-

смажоры и неотразимой красоты архидивы с отбойными молодцами под ручку, карапузы со стоеросовыми орясинами и площадные витязи с монолитными тютями, усатые авиаторы в обнимку с автопилотами и бородатые беднотыри на могучих клячах, а также всякие прочие лихие перцы, простофили, звонариверсификаторы, эгоцентрики-гуманисты, золотари-дегустаторы, и один какой-то очкарик-недотепа. Древний до неприличия учитель-ушан тащил за шиворот в Ясли своего маленького прокурора. Громко плача, прокурор выкрикивал трибунальные считалки, с которыми, правда, никто не считался. Возмущенный столь недостойным поведением своего прокурора, учитель-ушан пригрозил ему, что, если тот не прекратит капризничать, он отведет его не в Ясли, а в Чулан, где его расчленит и съест Безумная Кастелянша. Тут на потеху публике привели фруктовую корову-цукат. Все желающие по очереди облизывали, обкусывали и обгрызали ее с разных сторон, так что она быстро уменьшалась в размерах.

— Какие они все смешные! — воскликнула Янка.

— Так и есть, княгинюшка, — согласился г-н Архивариус. — Смешнее не бывает.

— Угу, может, и мне тоже отклонуть немного от этой коровы? — спросил г-н Филин, при этом ни к кому особо не обращаясь.

— Сладкое птицам вредно, коллега, — не без удовольствия заметил г-н Архивариус. — Если вы проголодались, могу предложить старый добрый постный сухарик.

— Угу, сами грызите свой сухарик, — насупился ученый секретарь.

В эту минуту раздался ужасающий скрип, и карусель остановилась. Но скрип продолжался. Он быстро набирал силу, становясь просто-таки нестерпимым. «Танцы! Танцы!» — неслись отовсюду восторженные голоса. В свете керосинок путники увидели одинокого скрипача, который скрупулезно скрипел на своей скрипке; из деки по струнам прямо на пол струился сентиментальный вальс-кингстон, обильно разливаясь по комнате и всюду распространяя сырость, кваканье и комариные укусы. По щиколотку в вальсе вокруг карусели кружили сонные пары: чопорные кавалеры в замороженных фраках нежно обнимали за талии дымчатых дам с золотыми и серебряными фрикадельками в волосах.

— Ах! — вздохнула Янка. — Как хочется танцевать!

Путники застенчиво переглянулись: г-н Архивариус для танцев был слишком учен и чересчур солиден, Вялый Горбун — излишне вял, а Фургон — чрезмерно неуклюж. Правда, оставался еще г-н Филин. И, как истинный джентльмен, он не заставил себя ждать: надел свои лучшие бальные манжеты с кружевами и, встряхнув оперением, тут же увлек Янку в самый эпицентр вальса. Г-н Филин так рьяно хлопал крыльями, что ему удалось не только разогнать кваканье и комариные укусы, но и в протяжении всего тура поддерживать княгинюшку чуть в воздухе, чтобы она не замочила свои августейшие ножки.

А тем временем, танцующие дамы превращались в прекрасные мгновения. При переходе в категорию среднего рода они вместе с драгоценными фрикадельками теряли и свои женские начала, но зато обретали дискретность в пространстве и во времени. Но и кавалеры не терялись и образующиеся пустоты заполняли волей и представлениями, проповедями и рассуждениями, магией и благодатью, озарениями и летаргией; загромождали абстракциями и балладами, фрагментами и парафразами, супрематизмом и логикой, комментариями и аккордами, иероглифами и подражаниями, бестиариями и мантикой, порядками и универсалиями, парадоксами и тенденциями; засыпали золотом и числами, виноградом и снегами; заливали океанами и соблазнами, елями и шампанским, музыкой и биополями, эликсирами и мелосом; и, наконец, заваливали грамматикой и молчанием, аналогиями и центризмом, победами и поражениями, ангелизмом и воспламенением, чемоданами и галлюцинациями, бродяжничеством и цветными снами... Короче говоря, загромождали всем тем, что так свойственно настоящим мужам.

Однако лучше всех, невзирая на внутренний антагонизм, танцевали кишмя кишевшие амикошонствующие бонвиваны и бонвиванствующие амикошоны. Движения их были отточены как дамасская сталь; одними лишь носками валенок они слегка касались пола, на котором вперемешку с леденцами отражались россыпи звезд. Дамы, впадая в восторг, источали сладчайшие обмороки. И тут, откуда ни возьмись, взялся Обворожительный Кокозей, с головы до ног в буклях и кружевах. Он

кружился по комнате юлой, порхал мотыльком, подскакивал кузнечиком, ходил кандибобером, пока не оказался около Янки с г-ном Филином.

— Вы восхитительно танцуете, сударыня! — заявил он, подпрыгивая, отвешивая поклоны и рассыпаясь в любезностях, которые ревнивый г-н Филин тут же принялся склевывать.

— Угу! Что-то многовато развелось этого Кокозея! Угу?..

Внезапно скрипка иссякла, и сколько скрипач ее не тряс, то и дело прикладывая к уху, из нее уже ничего не струилось...

КНИГА СТРАНСТВИЙ

(продолжение)

В НЕБЕ

VI

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПСА ПЕТРОВА

...Отодвинув в сторону жестяную миску с остатками водянистой похлебки, пес-матрос Петров продолжал свой необыкновенный рассказ:

— Я так вам скажу, сударь: в памяти каждого мыслящего индивида, к каковым, с вашего позволения, я причисляю и свою скромную персону, остаются очень немногие дни — дни-вехи. Обратите внимание, уже само слово «вехи» напоминает о другом замечательном слове — «ветви». Вы только вслушайтесь: ветви — вехи, вехи — ветви...

Классик в знак согласия кивнул головой, и пес-матрос Петров продолжал:

— Мне представляется высокое-высокое, до самых небес дерево, его необъятный могучий ствол и густая крона, теряющаяся в облаках. И крона эта поддерживается теми ветвями. Вет-вя-ми, — по слогам повторил Петров. — И все! Ничего лишнего. Крона — это как бы духовный результат жизни дерева. А ветви — те самые «вехи» на пути к результату; они питают живительными соками дух дерева — его прекрасную, трепетную листву.

Пес-матрос Петров перевел дыхание, затем с остервенением долго чухался, кляня блох на чем свет стоит.

— Уверяю вас, сударь, — наконец вернулся он к повествованию, — и от вашей жизни в истории останутся только дни-вехи и конечный, то есть посмертный, результат в виде неких материальных и духовных ценностей. Ну-ну, зачем же опускать глаза и краснеть как девица? Напрасно скромничаете. Пусть ваши достижения и не велики — главное, что они есть. При этом заметьте, духовные ценности — это вовсе не обязательно только произведения искусства. Для меня главная ценность —

Любовь. Быть может, с нее и надо начинать, говоря о ценностях... Однако вернемся к нашим дням-вехам. Им предшествует и сопровождает их великое множество обыкновенно прожитых дней, серых, невыразительных, в однообразном течении которых, кажется, ничего особенного не происходит, кроме неизменного чередования Солнца и Луны, — дней, когда мы все же томимся в некоем ожидании, в предчувствии, в предвкушении... Странное, необъяснимое томление — вот то единственное, что еще хоть как-то свидетельствует о жизни, но разве его достаточно, чтобы жить в полном смысле этого слова? Наверное, то же было со мной, когда я томился в ужасном собачьем каземате, из которого если и выходят, то не иначе как зловонным куском мыла для постирушек. И все же изо всех сил я старался не думать о смерти, хоть это было и нелегко. Я был молод и мечтал о жизни — о тех коротких, но великих мгновениях, которые проникнуты такой неборимой силой, такой мощной энергией, что заполняют собой все пустоты бытия и пробелы памяти и даже вынужденное бездействие превращают в напряженную деятельность. Вот и сейчас, спустя многие годы, я вспоминаю о бесконечной череде однообразных дней, запечатленных в двух-трех незначительных образах, дней, уложившихся всего в несколько скупых слов без цвета и запаха. Но зато один-единственный образ-веха растет, день ото дня разрастается, и вот уже, спустя годы, затмевает собой всю пустоту прошлого. Так реальность становится чем-то эфемерным, иллюзорным, а миф — истинным выражением жизни, ее квинтэссенцией... Коротко говоря, сударь, дни-вехи — это такие дни, после которых уже невозможно жить как прежде. Подобно огромным камням-валунам, разбросаны они на нашей дороге, и мы, шагая от камня к камню, продолжаем свой нелегкий путь, отягощенные грузом прошлого или, наоборот, освобожденные от него, стараясь не оглядываться назад. Однако по мере отдаления камни эти у нас за спиной не уменьшаются, как это обычно происходит под воздействием законов перспективы, но напротив — увеличиваются. И именно таковым было мое главное впечатление от пережитой встречи с возлюбленной моей — Белым Пушистым Зайцем... Господи, когда же эти твари оставят меня в покое?!

Классик терпеливо ждал, пока его кудлатый собрат по несчастью выгрызал из своей густой шерсти надоедливых насе-

комых. В отсутствие света он не видел, как, собственно, протекал сей процесс, но догадывался о его интенсивности по яростному сопению и лязганью клыков.

— Так вот, сударь, — сказал пес-матрос Петров после того, как перестал быть просто собакой и снова стал рассказчиком, — кажется, я говорил о нетленном впечатлении от Зайца. Это очень важно. Ибо пока я находился на живодерне, именно мои воспоминания согревали мне сердце, а мечты придавали сил. Слава Богу, надежда не покидала меня, и однажды я был за это вознагражден: мне и еще двум десяткам моих сотоварищей удалось бежать.

— Да? Интересно, каким образом?

— О! Что вам сказать, сударь? От лица собаки, избежавшей страшной и унижительной смерти, я вынужден воздать хвалу этому вечному пороку — людскому пьянству, — благодаря которому в нашем жестоком мире иногда случайно оказываются незапертыми засовы тюрем, а сами тюремщики уподобляются бессловесным четвероногим тварям. На прощанье, правда, я не удержался и сказал валявшимся вповалку сторожам горькую правду. Я сказал им, что неумно смешивать водку с крепленным вином. Но, увы, они меня не поняли, ибо пребывали почти в минеральном состоянии.

— Итак, я снова был на свободе! — продолжал пес-матрос Петров, дождавшись, когда Классик от души насмеялся. — Еще вчера с меня едва не содрали шкуру, как со святого Варфоломея, а сегодня — пусть голодная, пусть холодная, но свобода. А какая дивная была ночь! Всеми четырьмя лапами брел я по зимнему городу, если так можно выразиться, пешком, с наслаждением вдыхая чистый студеной воздух. Под огрубевшими подушечками моих лап поскрипывал искристый снег, пустынные улицы хранили звонкое молчание, только редкие фонари кое-где излучали бледное сияние да изредка беззвучно, словно призраки, проплывали обмерзшие такси с зелеными огоньками. В подворотнях и переулках стыли косматые сгустки ночи; посеребренные инеем, они были неподвижны. О, сколько покоя, сколько значительности таилось в них! На мгновение я снова почувствовал себя маленьким щенком, который когда-то, много лет назад, любил прятаться в старом платяном шкафу

между волшебными завесами из исполинских плащей и пальто. Мой оживший влажный нос жадно втягивал в себя морозное безветрие. Казалось, по всему миру разлилась праздничная нега, и едва уловимая горчинка грусти придавала ей особую остроту. И тогда я понял: наступило Рождество! В расписанных трескучим морозом окнах таинственно мерцали разноцветные огоньки, и чудилось мне, что это маленькие духи любви освещают мой путь. Что сулит мне этот год? — думал я, позабыв и о голоде, и о холоде, и вообще обо всем недавно пережитом. Я будто стоял на пороге *vita nuova*¹. Любовь с новой силой пролилась на меня золотым дождем, поселилась белым голубем в моем сердце. Мир мой в экстатическом восторге ожидал явления нового мессии — не на белом ослике, украшенном розами, и не в сверкающих одеждах, без трубных звуков, без железных или бумажных мостов с влачащимися по их выгнутым спинам вереницами грешников и праведников, но — в образе Белого Пушистого Зайца с небесными очами. Я был счастлив! Слуга муз, повелитель блох, певец любви — я был жив и свободен! Я смеялся и плакал от восторга. Я пел во все горло. Слыхали ли вы когда-нибудь, как *canes canet*?..² Нет?.. О, уверяю вас, это невозможно передать словами! Когда-нибудь, если буду в голосе, я вам обязательно спою. Что-нибудь из «Волшебной флейты» или из «Женитьбы Фигаро»... Однако шествие мое внезапно прервалось. Будто знакомый голос окликнул меня сквозь грезу. От неожиданности я даже залаял, каковой конфуз случается со мной крайне редко. Я оглянулся и чуть не окаменел...

— Заяц?! — непроизвольно вырвалось у Классика. — Это была ваша возлюбленная?

— Какой там заяц! — в сердцах воскликнул пес Петров. — То был мой бывший хозяин — писатель-фантаст Седовласов, черт бы его изодрал в клочья! О! О!.. В ту минуту он был мне как терн в глазу, как перец в глотке, как чеснок в ноздре! Едва переставляя ноги, пьяный тащился он с какой-то очередной гулянки, и надо же было случиться, чтобы мы столкнулись с ним нос к носу на пороге моей новой жизни! Да, вот она — Судьба, сударь. От нее не отбояришься. А главное, все про-

¹ Новой жизни (*итал.*).

² Собаки поют (*лат.*).

изошло так внезапно, так нелепо! Меня словно оторвали от моего божества, к которому я успел только чуть-чуть прикоснуться трепетной лапой, и теперь этот холодный, самоуверенный голос пронзил меня будто ледяной стрелой. Простите, сударь, за избитую метафору, но золотой дождь сразу покрылся инеем, а белый голубь замерз на лету и упал со звоном на мерзлую землю... Да! Видать, зимняя сказка оказалась слишком уж зимней, и вот меня всего, с головы до хвоста, обдало мертвящей стынью... Эх, покурить бы! Без курева совсем немоготу.

Классик порылся в карманах и нашел размокшую пачку из-под «Примы» с одной отсыревшей сигаретой. Он протянул ее псу Петрову.

— О нет! Последнюю я не возьму.

— Курите, Петров. Я не хочу... Вот, возьмите спички.

Растроганный до глубины души пес никак не мог найти нужных слов благодарности: все они сейчас казались ему пресными. Он долго чиркал отсыревшими спичками по коробку, пока одна из них каким-то чудом не зажглась.

— Я оставляю вам половину.

— Не надо. Лучше расскажите, что было дальше.

— Дальше? — переспросил пес Петров, собираясь с мыслями. — Дальше все пошло прахом. В немногих пьяных, спотыкающихся словах Седовласов выразил свое удивление в связи с моим возвращением, — хотя, видит Бог, сударь, я и не думал возвращаться, — и пригласил зайти домой погреться. Проклятье! Честно говоря, у меня не хватило сил отказать: я был так измучен голодом, холодом и всеми смертельными переживаниями, свалившимися на мою голову за последнее время, что несколько часов отдыха в тепле и «манна небесная» в виде тарелки горячей жирной похлебки, однозначно, пошли бы мне на пользу. Поэтому я не стал собачиться и побрел следом за негодным фантастишкой, еще не подозревая, как буду горько жалеть впоследствии о проявленной мною слабости. Насытившись, я тихонько проскользнул в рабочий кабинет, где когда-то с таким наслаждением предавался ученым занятиям, и буквально рухнул на подстилку, на свое старое место за креслом. Там меня уже поджидал сон; ласково улыбаясь, он надел на меня поводок шелковый, серебром расшитый, и увел за собой

по лунной дороге в страну забвения. Спал я долго и сладко и проснулся только в полдень. Солнце искрилось в обмерзшем оконном стекле. Я с удивлением отметил, что впервые не услышал, как Седовласов ушел из дому. Вы, конечно, понимаете, что это обстоятельство меня нисколько не огорчило. Наоборот, от всей души я радовался своему одиночеству, ибо никто не мешал мне спокойно собраться с мыслями и решить, как быть дальше. Наивный! Я еще не подозревал, что оказался под самым настоящим домашним арестом... Но об этом позднее. Первым делом, думал я, необходимо разыскать мою утерянную возлюбленную. Наверное, она уже и не чает увидеть меня живым, и, может быть, даже носит траур... Мысленно я рисовал великолепные картины предстоящей встречи: объятия, лобзання, нежные слова. Вот будет радость! Вот будет восторг!.. Но... все это не с моим собачьим счастьем! Я снова стал пленником. Дни медленно тянулись один за другим. Седовласов уходил рано утром и возвращался под вечер, каждый раз запирая дверь на ключ, чтобы я не мог самовольно покинуть квартиру, а во двор меня выводил только ночью на поводке и в наморднике.

— А для чего намордник? — спросил Классик. — Он что же, боялся, что вы его покусаете?

— Нет, сударь. Он боялся, как бы я не сболтнул соседям чего-нибудь такого, что могло бы ему навредить. У моего хозяина была хорошая репутация. Понимаете? А я мог ее подмочить, особенно, если бы предал огласке суть его «штудий» с поэтессами... Кстати, вы когда-нибудь пробовали разговаривать в наморднике?

— Нет, — честно признался Классик. — Ну, разве что в переносном смысле...

— Уверяю вас, сударь, это практически невозможно. В общем, положение сложилось критическое, чтобы не сказать безнадёжное. Все же я не терял голову и терпеливо дожидался удобного случая для побега. А чтобы усыпить бдительность моего тюремщика и, отчасти, самому не впасть в депрессию, я принялся перечитывать книги любимых поэтов и философов. А однажды всерьез увлекся изобразительным искусством. И скажу без ложной скромности... Впрочем, вам это, наверное, не очень интересно.

— Ну почему же?! Будьте столь любезны, Петров, расскажите об изобразительном искусстве. Это весьма любопытно.

— Что ж, охотно, сударь, раз уж вы так настаиваете. Все началось с того, что как-то раз, роюсь в кладовке, я совершенно случайно наткнулся на старый этюдник с масляными красками и прекрасными колонковыми кистями. Были там и холсты, уже натянутые на подрамники. Вот уж не думал найти нечто подобное у Седовласова! Все что угодно: сломанный пылесос, мясные консервы, соленья всякие или старые подшивки журналов... Но чтобы краски! Разумеется, я воспринял это как вызов!.. Во мне тут же проснулся великий живописец. И когда он, извините за выражение, спросонья продрал глаза, я сразу прозрел... Понимаете? Нет? Сейчас я вам все поясню. Видите ли, в основе мастерства живописца, как известно, лежит, прежде всего, глубокое знание природы и законов соотношения света и тени. Но главное для истинного живописца — это владение рисунком. Без хорошего рисунка нет и хорошей живописи.

— Вот как?

— Совершенно точно вам говорю. Сам через все это прошел. С натурой и светотеньями проблем у меня никогда не было, благодаря наблюдательности и богатому жизненному опыту. Так что все свои силы я отдал освоению рисунка. Одновременно с практическими занятиями я изучал различные школы рисования. Из того, что удалось раскопать в библиотеке моего «тюремщика», я от корки до корки проработал «Trattato della pittura»¹ божественного Леонардо, затем — «Рассуждения об искусстве рисования» Бенвенуто Челлини и его неоконченную работу «О приемах и способе изучения искусства рисования». Кое-что почерпнул также из знаменитого трактата «О живописи» Ченнино Ченнини. Я не поленился и изучил манеру и приемы всех наиболее известных *frescanti*². Перечитал я еще много всякого разного об интересующем меня предмете, и даже книгу Кандинского, который так любил всадников и все синее, но ее — больше для общего развития. В конце концов, я пришел к выводу, что наиболее меня удовлетворяет все же школа Веласкеса. Я досконально изучил его метод и нарисовал

¹ «Трактат о живописи» (итал.).

² Мастеров фрески (итал.).

несметное количество копий с альбомных репродукций. Но, сами понимаете, одно дело репродукции, а другое дело — живая натура. Особенно если речь идет о портрете.

— Так вы еще и портреты рисуете!

— Ну, сударь, все не так просто. Сначала мне пришлось поупражняться на своем хозяине. Вы удивлены? А между тем, в процессе работы я с большим трудом преодолевал свое отвращение к этому человеку, и вы должны меня понять.

— И он что же, соглашался вам позировать?

— О нет, что вы! Я рисовал его по ночам, когда он храпел на своем диване. Надо сказать вам, спящий человек — зрелище далеко не всегда приятное. А вдобавок еще и пьяный человек. И особенно такой пьяный человек, как Седовласов. Это было просто омерзительно, доложу я вам. Смотрел я на него и думал: так кто же из нас на самом деле домашнее животное?.. Но! Как истинный художник, который для лучшего постижения анатомии иной раз вынужден работать в морге, я всеми силами подавлял в себе природное отвращение к этой мертвецки пьяной натуре и старался быть предельно точным в ее изображении, и если бы Седовласов, не приведи Господь, увидел хоть одно из сотен своих изображений, сделанных мною, то даю хвост на отсечение, он собственноручно отвел бы меня на живодерню. К счастью, он так и оставался в полном неведении. Я же рисовал и рисовал до ломоты в костях, ибо прежде, чем приступить непосредственно к краскам, должен был как следует набить лапу. И вот, пришло время — я почувствовал себя в силе и сотворил настоящее произведение искусства. Я написал маслом всего один портрет, да и тот по памяти. Да, всего один. Но зато какой!.. Тут я должен вам кое-что пояснить. Это вопрос принципиальный. Помните, Делакруа как-то говорил, что серое — враг живописи. Возможно, для его времени так оно и было. Я утверждаю, что если серое — враг живописи, то белое — ее союзник! Кстати, до меня это интуитивно почувствовал Утрилло, но, к сожалению, его искусство так и осталось в узких рамках эксперимента. Вы видели его парижские пейзажи? Все они, бесспорно, приятны глазу и достаточно выразительны, однако страдают некоторой, так сказать, нарочитой этюдностью, в них нет убедительной классической завершенности, а потому в

значительной мере они случайны в деталях. Да и пейзаж — это, согласитесь, далеко не портрет. Пейзаж — это только его преддверие. Портрет — вот вершина мастерства художника. Конечно, это известно всем, кроме большинства современных холстомарателей. А ведь еще Давид д'Анже называл голову целой поэмой о человеке, и утверждал, что воспроизвести ее труднее всего. Теоретически он отдавал предпочтение профилю перед изображением анфас, полагая, что только профиль обнаруживает сущее единство всех частей образа. Я же избрал гораздо более сложный путь. Я предпочел плоскому профилю объемный полупрофиль. Или полуанфас, если угодно. Такого смелого решения от меня требовала истина, а она заключается в том, что не должно в искусстве одно подавляться другим в угоду концептуальным построениям. Я вообще терпеть не могу всех этих концептуалистов, которых развелось, извините за черный юмор, как собак нерезаных. За их концептуализмом, чаще всего, ничего нет, кроме обиды на мир, неумения рисовать, раздутого самомнения и, что еще хуже, откровенной погони за деньгами. Возьмите, к примеру, кубистов. Еще совсем недавно их имена были у всех на устах. И где они теперь? Кто помнит их сегодня, кроме узких специалистов? А ведь многие, многие тогда провозглашали всякую мазню-размазную революцией в искусстве и предрекали ей вечную жизнь. Гав-гав!.. То есть, я хотел сказать: ха-ха! Истинный творец занят творчеством, а не продажей автографов под растиражированными квадратиками. Сегодня мы как никогда остро осознали, что родились и живем в эпоху всеобщей деструкции. Жажда разрушения уже привела нас к саморазрушению. Но одно дело, когда художник разрушает сам себя, — Бог ему судья, — и совсем иное дело, когда он навязывает это разрушение окружающим, пользуясь их неведением и доверием к его авторитету, да еще берет за это деньги и ведет жизнь этакого respectable господина, у которого и счет в банке, и с недвижимостью все хорошо. Хотел бы я спросить у сеньора Пикассо, при всей моей любви к его розовым и голубым шедеврам, почему бы ему самому не поселиться в кубе и не почитать на ромбообразной кровати с треугольной женой?.. Однако, сударь, это всего лишь мое личное мнение, и вы, конечно, не обязаны соглашаться с простой собакой.

— Ну и ну! — усмехнулся Классик. — К чему это кокетство? Раз уж вы художник, Петров, то вправе отстаивать собственную точку зрения на искусство.

— Не скрою, рад это слышать. А тем более от человека с хорошо развитым художественным вкусом и воображением.

— С чего вы это взяли?

— Вижу по вашим глазам. Да будет вам известно: благодаря покровительству святой Люции, мы, собаки, прекрасно видим в темноте.

Это было сказано таким тоном, что у Классика по спине побежали мурашки.

— Говоря о темноте, — продолжал пес-матрос Петров, — я вкладываю в это слово и более глубокий смысл. Страшна не темнота сама по себе: солнцу тоже надо отдыхать. Страшна темень в головах. Вот тогда и рождаются «черные квадраты», в которые, сколько ни пялься, все равно ничего не видать. Нет-нет, сегодня нас больше не надо изумлять и поражать, нас не надо разбирать по фрагментам. Мы и не заметили, как быстро потеряли цельность. В той или иной мере мы все шизофреники и в агрессивности своей проецируем в мир разодранное на части свое сознание: потому мир и катится ко всем чертям. Так-то вот, сударь. А что же искусство, спросите вы? Увы, оно давно перестало быть искусством. Его заменил рынок, маркетинг, игра на повышение или понижение, конкуренция и даже политика. На каждом углу только и слышишь: «Искусство! Искусство!» Да только где оно, я вас спрашиваю? Где?..

Классик невольно пожал плечами.

— Вот видите! Даже вы не знаете. А что же тогда говорить о большинстве людей, которые и при свете дня не способны отличить вдохновенный шедевр мастера от дешевой поделки обыкновенного ремесленника? Уверяю вас, я больше уважаю Альгакобиллу с его жутким кораблем и всеми кошмарами и унижениями, чем общество болванов. Я даже готов его полюбить... Вы поражены? Вижу, вижу, вам это не по душе! Вы находите это противоестественным, не так ли? Но поймите же, сударь, если зло талантливо — в нем есть некое величие. Вот почему сопротивление такому злу возвышает нас над ничтожеством обыденной жизни и делает нас титанами, даже ес-

ли мы о четырех лапах и с хвостом. А бесталанное зло плодит вокруг себя одну только пошлость. Это и есть страшная правда. И я вслед за Горацием говорю вам: «*Odi profanum vulgus et arceo*»¹.

— Послушайте, Петров, — промолвил обескураженный Классик. — Может, вы слишком жестко это формулируете.

— Жестко? И пусть! А вам еще не надоела вся эта наша интеллигентская размягченность? Без жесткости как оградить себя от посягательств таких посредственностей, как мой бывший хозяин Седовласов, которые уверены, что владеют миром и всеми нами? А?.. Что вы на это скажете?

Классик молчал.

— Ну вот и ладно. Тогда, с вашего позволения, вернемся к настоящей живописи. Как вы уже, верно, догадались, я написал портрет Белого Зайца на белом фоне. А фоном послужило окно с зимним пейзажем за стеклом, которое было едва тронуто легким морозцем. Все пронизано светом. Настоящее торжество белого на белом! — без единого цветного пятнышка, которым любой другой на моем месте не преминул бы воспользоваться, чтобы облегчить себе задачу. И уж поверьте, сударь, так называемый «собачий дальтонизм» здесь совершенно ни при чем, тем более что поводырем моим был могущественный бог Фантазус, широкие крылья которого распростерлись над моим духом, — из его рук я принял сей сладостный напиток грез. Обратите внимание, портрет я писал, пользуясь сложнейшим в искусстве живописи приемом сфумато, и работа длилась без малого год, как это обычно и принято у всех *divini maestri*². О, как ошибался Гюстав Курбе, творчество которого мне в целом импонирует, — как ошибался он, когда в письме Этьену Бодри советовал всякому художнику непременно устоять против галлюцинаций и фата-морган, которые, по его мнению, подменяют собой действительность. Моя же память, мои фата-морганы и галлюцинации, наоборот, стали основой моей картины, и я не жалею о том ни минуты! Более того, услышав однажды, как Седовласов насмехается над неким полоумным чудаком, который

¹ «Ненавижу толпу невежд и держусь вдали от нее» (*лат.*). — Гораций, «Оды», III, I, 1 — 4.

² Божественных мастеров (*лат.*).

имел смелость утверждать, что наш город, подобно глобусу, кругл и шарообразен, я вдруг понял, что — черт возьми! — так оно на самом деле и есть. Ибо как же еще объяснить, что, покидая одну тюрьму, я тут же попадаю в другую? И тогда я на своей картине поместил в лапках у Зайца небольшой белый Глобус зимнего Киева. Судите сами, сударь: хоть в моей полной лишений жизни и наступила полоса относительного спокойствия, образ возлюбленного божества являлся в моем воображении уже как нечто далекое и идеальное, почти как легендарный вымысел, — общим у нас оставался разве что наш Город. Во мне словно воплотились два различных и противоположных по духу мира: себя я мыслил в действительном, а Зайца — в фантастическом, но оба эти мира срастались и овеществлялись в написанной мною картине, в ее, так сказать, мистическом образе и в моем практическом труде. Как говорится, *se amor non e, che dunque?*¹

— Да вы, оказывается, завзятый петраркист! — не то в изумлении, не то в восхищении воскликнул Классик.

— А вот тут вы не правы. Я, конечно, преклоняюсь перед поэтическим гением Петрарки, этого «наставника любви и поэзии», как сказал о нем Альфьери, — «*maestro in amore ed roesia*», помните? Я и сам не чужд поэтического искусства. Но петраркизм как жизненное кредо, с его извращенным платонизмом, считаю для себя абсолютно неприемлемым. Все эти его «сладостные муки»... Нет уж! Я сыт ими по самый хвост. Любовь должна быть взаимной, утверждаю я, и только тогда может родиться настоящая новая жизнь и новая поэзия. Вот почему измышленной небесной Лауре я предпочитаю реально-го земного Зайца, который — о, счастье! — отвечает мне взаимностью. И рассудите сами, сударь: если бы сладостный Франческо шел по жизни бок о бок со своей умозрительной подругой, разделяя с нею все тяготы и испытания повседневности, то это еще большой вопрос: написал бы он свои бессмертные сонеты «На смерть Лауры»? И вообще, — пес-матрос Петров даже вздрогнул от неожиданно посетившего его предположения. — И вообще еще неизвестно, кто бы раньше из них умер.

¹ Если это не любовь, так что же? (*итал.*). — Стих из 88 сонета Петрарки («На жизнь Лауры»).

— Что вы хотите этим сказать, Петров?

— А то, что, по статистике, жены, как правило, намного переживают своих мужей. Вы об этом слышали?

— Не знаю, — задумчиво отозвался Классик. — Не помню... Может, оно и так, но...

— Нет, вы только не думайте, будто я кого-либо осуждаю. В конце концов, каждый волен выбирать то или иное. Но вот парадокс: почему-то никогда не знаешь, *почему* выбираешь то или иное.

— Ну, возможно, мы выбираем то, чего нам особенно недостает.

— Возможно, — согласился пес-матрос Петров, поскребывая лапой за ухом. — Но, главное, в нас живет нечто такое, что всегда выбирает. Оно выбирает, даже если потом мы и не следуем этому выбору. И если мы поступаем ему наперекор, тогда и сами проливаем слезы и вокруг себя сеем одни страдания. Нет, я уверен: мы обязаны подчиняться этому внутреннему *нечто*, которое выбирает.

— И вам это удастся? — с недоверием спросил Классик.

— Мне? — с минуту пес-матрос Петров размышлял, видимо, не зная, как ответить. — Во всяком случае, я стараюсь отождествиться со своим внутренним *нечто*. И тогда ко мне приходит истинное знание, ибо мой выбор становится осознанным. А это уже воплощенная сила. Такая сила, которая способна повергнуть всякий хаос, как Архистратиг Михаил поверг Змия. Потому, что она есть необходимость.

— Хорошо, и что же вы выбираете, простите за любопытство, — поинтересовался Классик. — То есть, я хотел сказать: если не Лаура, то кто?

— Вы имеете в виду: на уровне идеи?

— Да, на уровне идеи.

— Извольте, сударь, я отвечу так: Заяц Белый Пушистый воплощает в себе и Хлою, и Бавкиду, и Эпонию, и многих других — всех прекрасных, верных, любящих и самоотверженных дев вместе взятых. И никаких адюльтеров!

— Да-а-а, — позавидовал Классик. — Должно быть, вы счастливый... — и он запнулся, чуть было не сказав: «человек».

— О! — воскликнул пес-матрос Петров и отрывисто рассмеялся, чем еще больше поразил Классика. — Когда я все это

осознал, то научился смеяться. Так что не знаю, насколько я счастливый пес, но то, что я *animal ridens*¹ — это уж точно, уверяю вас! И мне кажется, *animal ridens* ничем не хуже, нежели *homo sapiens*. А главное — никаких измен, никакой лжи, никаких привязанностей без любви. Кому как не мне, познавшему поводок, лучше знать всю силу зла, что сосредоточена в привязанностях. Но для того, чтобы так жить, надо сначала сделать правильный выбор, предварительно осознав его, то есть сделать необходимость, и затем твердо следовать ему. Это своего рода заключение договора с самим собой, а как известно, «*Pacta sunt servanda*»², не так ли?

— Согласен, — сказал Классик и сам рассмеялся.

— Вот-вот! — весело оскалился пес-матрос Петров. — Смейтесь, дорогой сударь. Смейтесь почаще, и из вас тоже получится великолепное *animal ridens*.

— Благодарю вас, Петров! Пожалуй, это то, чего мне так не хватало в последнее время. Я буду стараться. Честное слово...

Охваченные чувством братского единения, узники пожали друг другу руку и лапу, и это трогательное руко-лапо-пожатие нечаянно напомнило Классику сцену из романа Стивенсона, который он читал в юности: похищенный Дэвид Бэлфур и бравый якобит Алан Брэк готовятся принять смертельный бой — вдвоем против всей команды брига «Завет». И как знать? Может быть, и ему с Петровым впереди предстоит такой же бой.

— Кажется, мы отвлеклись, Петров. Давайте вернемся к живописи. Должен признать, ваша повесть отвлекает меня от собственных горестных дум.

— Рад это слышать, — сказал пес-матрос Петров. — Признаться, я еще ни с кем не был столь откровенен. Готовы ли вы слушать дальше?

— Я весь внимание.

— Так вот, сударь мой, работал я над картиной обычно в дневные часы, при естественном освещении, хотя не это обстоятельство в основном определяло время работы: просто Седовлазов уходил из дому с утра пораньше, а возвращался уже после захода солнца, так что я успевал прятать неоконченную картину

¹ Смеющееся животное (*лат.*).

² «Договоры следует выполнять» (*лат.*).

за одним из шкафов. Правда, меня мог выдать запах красок и растворителя, который был неистребим, сколько бы я ни открывал окна, чтобы проветрить квартиру. Но на мое счастье Седовласов много пил и домой являлся, как правило, в бесчувственном состоянии. От него так несло перегаром, что даже мой нюх выходил из строя и восстанавливался только на рассвете. Будучи не в силах связать и двух слов, цербер мой только мычал — даром что кичился своим ораторским талантом. Как колода валился он на диван прямо в прихожей и тут же засыпал — в одежде и ботинках. Я смотрел на него и только качал головой: вот оно, падение отечественной интеллигенции, думал я, а еще за труженника себя выдает! Какой стыд, какой позор!.. Ну да Бог с ним, с пьянством: эту напасть можно простить любому писателю, даже бездарному. Стыд и позор — в другом. Не догадываетесь?.. Мне и самому в кошмарном сне не могло бы такое присниться. Словом, мой писака до такой степени пропил мозги, что как-то раз, уйдя из дому, забыл на своем письменном столе одну необычную рукопись. От нечего делать я стал ее перелистывать, уверенный, что это очередное графоманское nihil¹. Но то, что я прочитал, потрясло меня до глубины души. Это был некий многостраничный... как бы это выразиться помягче... В общем — натуральный донос, если называть вещи своими именами. И сообщалось в нем о неких бумагомарателях, которые называли себя «литературными террористами», и еще о нескольких поэтах и художниках, имена которых мне ни о чем не говорили. И донос этот, состряпанный моим поганцем-хозяином, должен был быть отправлен не куда-нибудь там «на деревню дедушке», а на Владимирскую, 33 (или в Серый Терем, как вы это называете), на имя некоего Укром Укромыча...

Тут Классику вспомнился почему-то торжественный вынос унитаза из парадных дверей Серого Терема... И теперь в сравнении с этой гробницей под парусами, внутри которой он сейчас был погребен заживо, Серый Терем показался ему невинным провинциальным кинотеатром повторного просмотра.

— Короче говоря, — продолжал пес Петров, — мой scriptor² оказался тайным агентом! А если без обиняков, то тривиальным сексотом и стукачом. Кто бы мог подумать?.. И тогда я понял, почему он держал меня в заточении.

¹ Ничто (*лат.*).

² Писатель (*лат.*).

— Почему? Не вижу связи.

— Ну, здесь все очень просто. Я был ему нужен. Ох как нужен! Ведь пока я находился в бегах, этот бездарь не написал ни одной путной строчки. Я был его талантом, его литературным прикрытием, «легендой». Только теперь я, не будь дурак, если о чем и говорил с ним, то лишь о хозяйстве да о погоде, что его ужасно бесило. Нет, думал я, шедевров ты от меня больше не дождешься! Хватит! Размышляя в таком непримиримом духе, я, однако, отдавал себе отчет, что положение мое почти безвыходно и, тяжело вздыхая, шел спать на свою подстилку. Но ночь уже не приносила облегчения, как раньше. Возбужденный своим столь неожиданным и ужасным открытием, а также творчеством и неразрешимыми вопросами, я ворочался с боку на бок, и, как всегда, в моей голове теснились мысли о будущей встрече с моим возлюбленным Зайцем. О, сотни раз я проигрывал этот счастливый эпизод! В голове рождались бесконечно красивые и деликатные диалоги, а потом я все же незаметно проваливался в сон, и их быстро заносила вьюга забвения, и утром я не помнил ни единого слова. Подобного рода беспмятство меня не слишком огорчало, ибо я чувствовал всю тщетность и даже возможный вред во всяких штудиях, применительно к природным чувствам. Понимаете, я хочу сказать, что если бы мы свои чувства «репетировали», то со временем достигли бы высокой степени искушенности и изощренности в их выражении, но вместе с тем — и крайнего предела извращенности. Что до меня, то я всегда полагался только на искренность, а ее в жизни и в произведении искусства можно достичь исключительно через импровизацию. Вы правы, сударь, импровизация всегда чревата немалым риском. Она опасна тем, прежде всего, что импровизирующий как бы открывается во всей своей чистоте и незащищенности, если, конечно, все, что он делает — не жеманство. Но как раз именно по тем же причинам она и привлекательна, ибо обладает высшей силой проникновенности... В конце концов, наступил день, когда я закончил «Портрет Белого Зайца на белом фоне» и, забегая вперед, скажу, что картина эта стала золотым ключиком к моей свободе. Однажды вечером, когда мой хозяин едва переступил через порог и еще не успел затворить за собой дверь, я продемонстрировал ему свой шедевр, с гордостью заявив: «Ancho'io

sono pittore!»¹ Седовласов так и остолбенел, а я, воспользовавшись этим счастливым мгновением, схватил в зубы свои дневники и проскользнул мимо него на лестницу, ну и был таков! И то — чистая правда: если бы вы имели возможность хоть раз созерцать этот дивный шедевр, то поняли бы состояние моего тюремщика. Извините же мне мою нескромность, но, думаю, она заслужена. Я и сам восхищаюсь тем образом, который назвать «рукотворным» даже язык не поворачивается. Видели бы вы, сударь, эту мордочку, эти глаза... О, воистину глаза эти обладали тем блеском и той влажностью, какие мы обычно видим в живом Зайце. Ресницы же, благодаря тому, что я показал, как шерстка вырастает на нежном тельце, — эти ресницы, уверяю вас, не могли быть изображены более натурально. Носик, со всей красотой своих розоватых и нежных отверстий, имел вид живого. Рот, с его особым разрезом и своими концами, соединенными алостью губ, казался не красками на холсте, а живой плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом взгляделся бы в дужку шеи, увидел бы в ней под белой шелковистой шерсткой биение пульса...

— Позвольте! — прервал эти славословия Классик. — Сдается мне, где-то я уже читал нечто подобное... Ну конечно! Это же знаменитое описание «Моны Лизы» в книге Вазари. Как вам не стыдно, Петров?

— Ну и что? Подумаешь, Мона Лиза! — обиженно воскликнул пес-матрос Петров. — Вместо того чтобы слушать то, о чем я говорю, вы анализируете то, как я говорю. Типичная болезнь профессионала!

— Я вовсе не хотел обидеть вас, Петров...

— Вазари, Вазарелли... Да какая разница, черт побери?!

— Х-м, действительно, никакой, — согласился Классик, сам дивясь такому простому выводу. — Прошу вас, не сердитесь. Вы, кажется, говорили, что убежали от вашего тюремщика...

— Да, но еще до того, — немного остыв, продолжил свой рассказ пес-матрос Петров, — незадолго до побега, завершив свои труды, я несколько долгих дней совершенно бездействовал и только ел, спал да выгуливался во дворе на постылом поводке. Радость от свершенного мною великого творения быстро

¹ «И я тоже художник!» (итал.).

улетучилась и мало-помалу в душе моей разверзлась великая пустота, которую, чтобы не сойти с ума, надо было чем-то заполнять. Но чем? Живопись, как вы понимаете, я исчерпал, и больше она меня не привлекала. От чтения книг я и вовсе устал. Вот тогда-то я и вознамерился написать нечто вроде мемуаров или записок — в назидание будущим поколениям. Нет, конечно, сударь, я покривил бы душой, если бы сказал, что отдался этому благородному занятию исключительно «ради» и «во имя» грядущих времен и тех, кому суждено будет эти времена «населять». У меня очень мало надежд на будущие поколения, а на современников их и вовсе не осталось. Все вокруг настолько погрязли в здравомыслии, что мои полные романтизма и высокой экзальтации произведения могут быть по достоинству оценены разве что такими же, как и я, самоотверженными психопатами, место которым сегодня только в сумасшедшем доме. Как это ни прискорбно, сударь мой, но именно сумасшедший дом для меня теперь символ истинного постижения духа. Что до «Записок», то они временно давали мне возможность, с одной стороны, излить душу, а с другой — скрашивать долгие печальные дни вынужденного затворничества. Была и еще одна серьезная причина, о которой вы сейчас узнаете. Если я что-либо и записывал, то делал это радостно и энергично, в душе надеясь, таким образом, что писания мои окажут хоть какое-нибудь воздействие на ход событий, а точнее, на их отсутствие. Для меня это было как писание икон, жертвоприношение, молитва, увещевание... Помните, у Кафки? Schreiben als Form des Gebets¹.

Классик утвердительно кивнул, скорее из вежливости, поскольку, к стыду своему, не знал, как там было написано у Кафки.

— Впрочем, насколько все это так, мне самому еще только предстоит узнать, ибо история моя не окончена. Знаю, знаю, у настоящей истории, пусть даже самой короткой, не бывает конца: ее невозможно исчерпать. Я вот сейчас сам себя слушаю, и мой рассказ меня огорчает, так как уже буквально с первого слова, как бы я ни старался погрузиться на самое дно времени, мне никак не удается передать вам всю его живую

¹ Писание как одна из форм молитвы (нем.).

суть. Время ускользает. И вам, должно быть, хорошо видно, как я беспомощно барахтаюсь на поверхности его волн, словно в пене, взбитой в моей памяти прибоем далеких событий. О нет, не возражайте! Не говорите, что вам ни разу не захотелось вздремнуть под мои монотонные речи. Я-то знаю: коль дело касается личного прошлого, мы все лишь пловцы в этом необъятном океане, но уже не исконные обитатели его глубин; а за пловцами наблюдать с берега гораздо спокойнее, нежели быть ими. Мы же, как существа, некогда выползшие из воды и в значительной мере состоящие из нее, едва ступив на землю, чтобы жить на ней, уже успели напрочь забыть свою прама-терь, и теперь землю ложно принимаем за первооснову жизни. Еще не успев окончательно выйти из океана, мы сразу приня-лись бездумно зарываться в землю, как теперь силится вполз-ти в небо. И только иногда, в редком сне, мы плаваем прямо по воздуху, быть может, каким-то, едва брезжащим участком па-мяти, припоминая свое прошлое и интуитивно прозревая свое будущее, которые в этом сне, в этом плаванье слиты воедино. Однако искажения при этом — чудовищны... Так и я, вспоми-ная теперь тот океан любви, уже и сам плаваю в прокопченном воздухе города, в чем, сударь, вы имели несчастье убедиться лично. Но что делать? Ведь во сне мы себя не контролируем, а памяти не прикажешь, — она является в гости по собственному произволу и заставляет таких, как мы с вами, взяться за перо, чтобы не лишиться рассудка и не остаться вообще существами без прошлого.

— Что касается моего прошлого, — откликнулся Клас-сик, — то его у меня нет.

— Ну вот, теперь уже и вы кокетничаете, — ухмыльнулся пес-матрос Петров. — У каждого есть свое прошлое. Я вот свое закупорил в пустую бутылку из-под «Жигулевского» пива (дру-гой здесь, увы, не нашлось, хотя ему больше приличествовала бы бутылка из-под «Шартрёза» или «Бенедиктина») и бросил за борт этого корабля. Куда упала эта бутылка, разбилась ли она или осталась целой, не знаю, — дело ведь было ночью. Но от прошлого я все равно так и не избавился. Оно во мне всегда. Уверен, сударь, и с вами — то же самое. Или я не прав?

Классик ничего не ответил.

— Хорошо, как вам будет угодно... Итак, рассказ мой подошел к концу, в отличие от моей истории, конца которой пока не видно, и я постараюсь не слишком злоупотреблять вашим вниманием... Ой, кажется, кто-то сюда идет!..

Дверь кубрика распахнулась. На пороге стоял стражник с двумя жестяными лоханями в руках — тип в прямом смысле слова скользкий, с лоснящейся жиром безволосой головой и заплывшим лицом. Из глаз его сочилась какая-то слизь. Не произнеся ни слова, он поставил на пол две миски с баландой и вышел вон, захлопнув дверь. Заскрежетали засовы, и снова стало тихо. Пленники подползли к двери. Классик нащупал одну из двух мисок, ее содержимое пахло не очень приятно.

— Однако не балуют нас, — произнес он.

— Ваша правда, сударь. Это, конечно, не консоле, но подкрепиться все-таки надо. Силы нам еще ох как понадобятся...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

КАРАВАН-САРАЙ

— Угу, опять вы называете меня «молодым человеком»! — возмутился г-н Филин.

— А в чем дело? — в свой черед обиделся г-н Архивариус. — Почему каждый раз это вас так обижает?

— Я вам не человек!

— Но позвольте, коллега, это обычное устоявшееся словосочетание — «молодой человек». Вы же сами понимаете, что «молодой филин» в том контексте не прозвучало бы.

— Угу! Это почему же не прозвучало бы?

— Ну как вам объяснить? Во-первых, вы далеко не первой молодости, и даже не второй и не третьей. А во-вторых, человек — звучит гордо. Это давно доказано.

— Весьма странное утверждение!

— Не я его автор. Но как с ним не согласиться? И, в конце концов, здесь надо иметь языковое чутье, которого вы, судя по вашим постоянным обидам, напрочь лишены, господин Филин.

— Угу! Это у меня нет языкового чутья? Да я... да мне... Между прочим, господин Архивариус, я разговариваю с вами на *вашем* языке.

— Ну разумеется! — с готовностью согласился г-н Архивариус. — А как же иначе? Что такого путного вы можете нам сказать на своем совином? Всегда одно и то же: «угу да угу!»

— Просто у вас отсутствует чувство *моего* языка, вот и все!

— У меня?

— Угу, у вас. Нет, вы, конечно, ни за что на свете не признаете своего невежества...

— Совсем обнаглел! Да мой язык — это язык Гомера и Овидия, Данте и Петрарки, Шекспира и Гете, Толстого и Достоевского! А ваше «угуканье» — это, извините, просто смешно... Нет, это уже даже и не смешно, а скорее грустно.

— Да что вы понимаете, старый пентюх!

— Я пентюх?! Вы слышали, княгинюшка, эта жертва чучельника обозвала меня пентюхом! В таком случае вы — старое чучело!

— А вы — Нарцисс на пенсии и старая архивная крыса!

— А вы — старый графоман и бездарь!

— Угу, старый маттоид!

— Старый мономаньяк!..

— Господа! Господа! — вмешалась Янка. — Как вы можете, господа! Сейчас же прекратите!

Заплакал Вялый Горбун и Фургон остановился. Тут уж в Янке разыгралась настоящая княжеская кровь, и она немедленно издала свой первый указ. Это был «Указ о примирении», и г-ну Архивариусу пришлось прочесть его громко вслух, а г-ну Филину — записать прочитанное на манжете. Перемирие было скреплено взаимными комплиментами:

— Угу, старый энциклопедист, — пробурчал ученый секретарь.

— Старый летописец, — сквозь зубы процедил г-н Архивариус.

Вялый Горбун перестал плакать и потащил Фургон с путниками дальше по бесконечному коридору.

— Угу, старый полиглот.

— Старый полистилист.

Тут Фургону все это надоело и у него отвалилось колесо. И не только отвалилось, но и развалилось. Фургон с треском накренился, и вся компания кубарем выкатилась из него вон. Вялый Горбун, который никогда не расслаблялся, дабы не упустить случая поплакать, тут же вдохновенно разрыдался.

В эту минуту из соседней залы в коридор под звон бубенцов въехала вереница лунных дервишей, звездных факиров и солнечных суфиев в сверкающих одеждах верхом на длинном верблюде, а тот — верхом на крыше кое-как сооруженного шестиколесного караван-сарая с высоким минаретом, обрамленным таинственными миражами. Опаленные ветрами пустынь, омытые тропическими дождями и отшлифованные песчаными бурями стены этого сухопутного ковчега возвышались ярусами и словно собраны были из пожухлых и давно потерявших свой цвет ковровых лоскутов. Вся красота и роскошь — с анфиладами, арабесками, соловьями-бюльбюлями, полнозвучными рубаями и газелями, сладкими шербетами и халвой, чайханами, кальянами, арыками и сералями, — все это великолепие скрывалось внутри. Янтарные взоры красавиц светились из полумрака маленьких окошек, а над караван-сараям плыла огромная, похожая на медное блюдо Луна, и в

ароматах кинамона, амбры и атар-гулла витали крылатые ифриты. Один за другим маджусы¹ сползли вниз и, прихватив с собой традиционные салямы и алейкумы, приблизились к потерпевшему крушение Фургону.

— Скандал-мандал! — горестно воскликнули они и принялись помогать-момогать собирать и складывать в одну кучу разбросанные повсюду манжеты и всякую походную утварь.

Затем они расстелили на полу цветастый ковер с видами Светозарной Медины. На ковер усадили г-на Архивариуса, его ученого секретаря и Янку, предварительно снабдив их музыкальными инструментами, и велели играть что-нибудь завораживающе-гипнотическое. Но Вялый Горбун не успокаивался и продолжал громко плакать. Тогда из караван-сарая вышел самый древний, самый морщинистый и дряхлый из маджусов в высоченной цвета фирюзы чалме, усеянной алмазами и смарагдами, и, рискуя рассыпаться в прах, принялся крутиться на одном месте, размахивая под музыку руками-ногами, и командовать-мовандовать.

— Горбун-Морбун?! — воскликнул он.

— Истерика-мистерика! — откликнулись маджусы.

На мгновение Вялый Горбун умолк, сладко зевнул, и заорал пуще прежнего. В открытый рот его тут же влили два кувшина настойки валерьяны-малерьяны, один кувшин корвалола-сорвалола и пиалу рома-брома.

— Per os! — с удовлетворением отметил г-н Архивариус. — То есть через рот, разумеется. Я тоже противник клизмы.

Клизму не любил никто, так что вслед за г-ном Архивариусом удовлетворение почувствовали все. Кроме Вялого Горбуна. Тогда под язык ему высыпали толченого валидола-солидола, и еще — в каждое ухо и в каждую ноздрю. Крик стал глуше, но полностью не прекратился.

— Истерика-растерика! — воскликнули маджусы и с надеждой воззрились на своего древнего шейха. Тот, поглаживая белоснежную бороду, наслаждался змеиной мелодией, которую в течение всего этого времени старательно развивало новоиспеченное трио в лице г-на Архивариуса с какой-то палкой о двух струнах, г-на Филина с горшком, обтянутым толстой кожей, и Янки с маленькой дудочкой. Наконец шейх очнулся-качнулся и разразился длинной и развесистой касыдой во славу Аллаха и его доброй воли.

¹ Маги, волшебники.

Когда он закончил, принесли кувшин с песком и тахт для гадания. Шейх долго что-то шептал, бубнил, вздыхал и кланялся, а наколдовавшись властью, радостно пропел:

— Буали!

— Буали! — подхватили лунные дервиши, звездные факиры и солнечные суфии. — Склероз-остеохондроз! — и они хлопнули себя по лбам и закружились в вихреобразном танце: «Буали-Муали! Муали-Буали!..»

Натанцевавшись до изнеможения, маджусы вынесли на широком подносе потрепанную книгу под названием «Канон врачебной науки». Шейх принял ее с великим благоговением. Он торжественно возлистал сей «Канон», страницы которого были зачитаны до дыр, взор его напряженно метался по ним какими-то замысловатыми траекториями. Музыка продолжала звучать, и, войдя в божественное состояние, г-н Филин запел:

Татарстан, Узбекистан,
Индостан, Афганистан, —
Я объездил много стран,
Ты объездил много стран.
Пакистан и Казахстан,
Исфахан и Джиннистан, —
Ты объездил много стран,
Я объездил много стран...

Все глубже и глубже вчитываясь в тайны потрепанной книги, шейх стал подвергаться различным превращениям. И пока тянулись суфийские песнопения г-на Филина, он превращался то в сокола, то в нежную девушку, то в мудрого змея, и даже в царственного льва. В конце концов, найдя то, что его интересовало, захлопнул книгу, проворно подскочил к Вялому Горбуну, который продолжал по нарастающей орать, вопить, стенать, глосить, причитать и истерически хохотать, и с размаха огрел его «Каноном» по голове, чем мгновенно успокоил больного, избавил его от чувства страха и даже поднял ему настроение. Вялый Горбун сразу уснул, прекрасные перы водили его за руки по райским садам, предлагали ему дивные кушанья и всякие удовольствия, в то время как все остальные видели только его храпящее тело, из ушей которого сыпался валидол-солидол.

— Буали! — торжествовал шейх, тряся белой бородой, пахнущей корицей. — О Буали!

...Гюлистан, Таджикистан,
Магадан, Башкортостан...

— продолжал по инерции петь г-н Филин, ударяя крылышком в свой барабан.

«Ах, бедненький Горбуша!» — подумала Янка и вздохнула в свою персидскую дудочку.

Но тут взор шейха упал на поломанный Фургон и получил несколько ушибов.

— Тысяча и одна мать! — вскричал старик, и, быстро-быстро моргая, застрекотал непонятной скороговоркой.

— Что это с ним? — спросила Янка.

Г-н Архивариус, который, разумеется, знал древнеарабский не хуже фарси, а фарси не хуже санскрита со всеми свойственными этим языкам парадигматическими и синтагматическими отношениями, диахронией и диалектами, без труда начал переводить:

— Он говорит, княгинюшка, что у них, у великих шейхов, середины не бывает. Во всем они любят разнообразие и богатство форм, ибо такова воля Аллаха, создавшего этот мир. А посему у него, как у «сына», имеется тысяча и одна мать... Еще он говорит, что каждая мать рожала его по очереди — одна днем, другая ночью, и так до самого конца...

— Выходит, родился он три года и три месяца непрерывно? — спросила Янка.

— Угу?..

— Да, а вот отец его, — продолжал г-н Архивариус, — родился быстро, в один присест... Зато у него — тысяча братьев и сестер, и у всех у них только одна мать.

— Угу, а отцов сколько? — спросил очень заинтересованный ученый секретарь.

Г-н Архивариус пожал плечами.

— Угу, вот так каждый раз! — обиделся г-н Филин. — Стоит мне спросить даже мелочь какую-нибудь, вы пожимаете плечами!

— Ничего себе мелочь!

— А потом требуете от моих манжет точности и жизненной правды и придираетесь к каждой мелочи, как вы это называете. Почему бы вам не спросить старика, сколько отцов было у его отца? Угу?..

— Да неужели вам не понятно, рахат-лукумный вы наш, что с моей стороны было бы верхом бестактности задавать почтенному старцу такие вопросы! А если он не знает, не помнит, кто его отцы?

Не обращая внимания на все эти препирательства, шейх продолжал молотить свою скороговорку, причем ускоряя ее с каждой минутой. Он снова закружился в танце — то в одну сторону, то в другую, и маджусы вместе с ним.

— Угу, не пора ли ему заняться нашим поломанным Фургоном? — ворчал г-н Филин, не прекращая игры на барабане.

— Не отвлекайтесь, коллега! — кричал ему г-н Архивариус, сам он отчаянно лупил по струнам, чуть не ломая пальцы.

— Угу, но он же обещал «помогать-момогать»! — Шейх внезапно остановился и, приостановив скороговорку, посмотрел на г-на Филина так, словно увидел его впервые.

— Только в красноречии истинное волшебство, — сказал он. — Так что именно этим я сейчас и занимаюсь, почтенный отрок.

От неожиданности г-н Филин втянул голову в плечики и, стараясь не смотреть на старца, забарабанил еще быстрее. А танец со скороговоркой продолжился с еще большим энтузиазмом.

— Должно быть, почтенный шейх руководствуется принципом Гиппократа, — сипел г-н Архивариус, обливаясь потом, но не прекращая елозить по струнам. — Насколько я помню, принцип этот велит из всех врачей выбирать тех, кто искуснее рассказывает байки... Ну-ну... посмотрим-посмотрим...

И действительно, танец маджусов во главе с их шейхом достиг такой скорости, что танцующие стали похожи на пыльные смерчи, а их скороговорка — на завывания ветра. И тут на месте рассыпавшегося колеса появилась какая-то фитюлька-титюлька. Она быстро росла и округлилась, пока, в конце концов, не превратилась в настоящее, редчайшей деревянности, колесо, пахнущее какуллийского алоэ.

Великая радость охватила всех. Пир закатили такой, что позавидовал бы и сам багдадский эмир.

— О, как зовут тебя, великий искусник? — вопрошал г-н Архивариус шейха, поднимая в его честь чашу, полную вина. — Кого восхвалять и славить перед ликом Аллаха и всех его пророков?

— Ты можешь дать мне любое имя, и оно будет правильным, — отвечал старец.

Г-н Филин явно хлебнул лишнего, и его понесло. С видом знатока, много странствовавшего по свету и много пережившего, он

рассказывал Янке всякие истории о дивных чудесах Востока: о дьяволах, изрыгающих пламя, о деревьях, пронизывающих все вокруг ядом и о деревьях, ветви которых не пропускают дневного света, так что под ними всегда царит ночь, о племени безголовых людей с лицами на груди, которые зовутся лемуанами, о людях с одним глазом на лбу или с глазами на спине, о человекоподобных существах, которые едят носом, почти как птицы, о кинокефалах, лающих вместо того, чтобы говорить, как все приличные и уважающие себя люди. Он поделился своими соображениями о том, что на самом деле Аладдин был опиоманом, а его так называемая лампа — обыкновенным кальяном... Уже под конец самым доверительным тоном г-н Филин сообщил по большому секрету, что происходит из рода древней птицы Симург, которая и теперь все еще сидит на высокой скале среди неприступных гор с закрытыми глазами и в глубоких размышлениях.

— Так, Филину больше не наливать, — констатировал г-н Архивариус.

— И это все есть на ваших манжетах? — удивилась Янка.

— Угу... ик... на манжетах! А знаете, княгинюшка, как однажды, будучи проездом в славном Коканде, я курил наргиле?..¹ Угу? Незабываемо... ик!.. Сначала я разговаривал одними стихами... Сплошной хафизизм, смею вас уверить... ик... А потом я так хохотел... о, как я хохотел!

— Хохотели?

— Ну да... Хохотеть, Ваше Высочество, это значит радостно желать радости. Это — хотеть хохотать и, хохоча, хотеть хохотать еще больше...

Будто в подтверждение сказанному, ученого секретаря стал душить избыточный смех, так что вскоре смеялись уже все. Короче говоря, хохотели. И как ни одергивал его г-н Архивариус, все было напрасно.

На прощанье шейх, утирая слезы и все еще похихатывая, погладил г-на Филина по захмелевшей голове и сказал:

— Сколько не три эту лампу, джинна в ней нет.

Длинный верблюд с караван-сараем на спине тронулся в путь, и вскоре уже едва виднелись в далеком конце коридора лунные

¹ Наргиле — восточный курительный прибор, похожий на кальян, но имеющий длинный рукав вместо трубки.

дервиши, звездные факиры и солнечные суфии под минаретом, обрамленным таинственными миражами. Таяли его огни, но еще долго доносился перезвон бубенчиков кафилы¹.

— Ну что, вы собой довольны, почтенный Филин ибн Симург? — спросил г-н Архивариус, когда последние отблески караван-сарая растаяли окончательно.

— Угу, что это было? — виновато спросил г-н Филин, протирая глаза кончиками крыльев.

Янка подняла с пола манжету, исписанную витиеватой арабской вязью:

— Смотрите, здесь что-то написано.

«Да пребудут с вами мир и благоденствие!» — прочитал г-н Архивариус и с удивлением посмотрел на ученого секретаря...

¹ Кафила (араб.) — караван верблюдов.

КНИГА СТРАНСТВИЙ

(окончание без окончания)

В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

VII ПОБЕГ

...Как много времени прошло в этом проклятом узилище, они не знали. Может быть, месяц, а может, и два. В полной темноте чувство времени быстро притушилось, а вскоре и вовсе было потеряно. Где-то снаружи монотонно завывал ветер, скрипели мачты, час от часу доносился звон рынды и терзающие душу свистки боцмана Хробака. А бывало, стояла такая гнетущая тишина, как будто команда покинула корабль, и он теперь бороздил ночные небеса, предоставленный самому себе и произволу переменчивых воздушных потоков. Изредка слышалось унылое уханье ночных птиц, чаще — песни и крики подгулявших выпивох и тоскливое перегавкивание собак, каждый раз нагонявшее на пса Петрова меланхолическое настроение. И — ни одного дневного звука, какими всегда переполнен большой и шумный город, из чего можно было заключить, что корабль движется вместе с ночью, тем самым избегая дневного света и любопытных глаз. А однажды узников разбудил гулкий топот множества ног над головой, по деревянному настилу палубы, и перезвон холодного оружия. При этом — ни единого возгласа, словно там бегали и сражались вооруженные глухонемые или мертвецы. Странная баталия эта стихла так же внезапно, как и началась, и на корабле снова установилась изнуряющая тишина. Все это было непонятно и держало путников в постоянном напряжении.

Альгакобилла еще несколько раз вызывал Классика в свою каюту. Пес Петров не знал, о чем они там говорили, а Классик ничего не рассказывал. Лишь однажды, вернувшись с очередной аудиенции, Классик, кисло ухмыляясь, протянул псу Петрову какой-то распечатанный конверт без указания адресата и попросил ознакомиться с «доносом».

— С доносом? — переспросил пес-матрос Петров, вынимая из конверта свернутый вчетверо листок бумаги. — На кого, позовольте полюбопытствовать?

— На вас, друг мой.

— На меня?! — Пес Петров в нерешительности держал листок в лапах. — А кому адресован?

— Мне, — коротко ответил Классик.

Пес-матрос Петров развернул листок и стал читать вслух: «*Ваше Величество!*..» Он вопросительно взглянул на Классика.

— Ваше Величество?

— Читайте дальше, Петров.

— Ну хорошо, раз вы настаиваете: «*Ваше Величество! Как лицо, официально уполномоченное редакторским коллективом литературно-просветительского журнала “Дуга”, я обязан поставить Ваше Величество в известность о том, что все инсинуации некоего фигуранта Петрова являются, по сути, ни чем иным, как бессовестной попыткой плагиатировать известную “Новеллу о беседе собак”, в которой прогрессивный для своего времени писатель Сервантес, Сааведра Мигель, вскрывает глубоко порочную природу общественных нравов XVI века, посредством диалога двух собак — Бергансы и Сицио, — встреча которых, как известно, состоялась в приемном помещении госпиталя имени Воскресения Христова в городе Вальядолиде, Испания. К большому нашему сожалению, бездарные и исключительно вредные для общества действия фигуранта Петрова являются не просто плагиатом, но двойным плагиатом, поскольку здесь не обошлось к тому же без известного “Известия о дальнейших судьбах собаки Берганца” из второго тома “Фантазий в манере Калло” еще одного прогрессивного для своего времени писателя Гофмана, Эрнста Теодора Амадея, изданных в 1814 году бамбергским издательством Кунца. Но самым возмутительным является тот факт, что с помощью столь нечистоплотных инсинуаций фигурант Петров рассчитывает стать нобелевским лауреатом в области литературы, имея целью уже с высоты международной трибуны позорить и поливать грязью нашу социалистическую действительность.*»

Считаем своим гражданским долгом предупредить Ваше Величество и порекомендовать отказаться от участия в этой заведомо обреченной на провал и справедливое всенарод-

ное забвение афере и обратить силу Вашего таланта на темы более насыщенные, то есть отвечающие духу нашего времени. Копия сего письма, с Вашего Высочайшего позволения, направлена также в Государственное Агентство по защите авторских прав и в компетентные органы.

С пожеланием дальнейших творческих успехов, литературный консультант Швыряев».

С минуту пес Петров пребывал в молчаливом недоумении, а потом промолвил:

— Это паранойя.

Классик только развел руками.

— Спасибо, что хоть булгаковского Шарика мне не пришили.

— Это легко объясняется: по мнению автора сего документа, Булгаков — писатель реакционный.

— И кто такой этот Швыряев? Какого черта он на меня кляузы строчит?

— Понятия не имею, Петров.

— Эх, знал бы подлеца, всю задницу разодрал бы ему в клочья!

— Да Бог с ним, — махнул рукой Классик. — Забудьте.

Все чаще пленники возвращались к мысли о вожделенном побеге. Побег! Побег! Какое чудесное слово! Что-то вагнеровское слышалось в нем: полет валькирий и всякое такое... Вдохновляясь прочими мифологическими, литературными и историческими мотивами и ассоциациями (и тон здесь задавал пес-матрос Петров), они обдумывали все возможные варианты — один другого отважнее и хитрее, — но, к несчастью, ни один из них не представлялся осуществимым. От подкопа отказались сразу, и даже не потому, что спускаться с проломленного борта или днища корабля на землю было делом смертельно опасным, а потому, что для подкопа не имелось ни одного острого предмета, да и спускаться было не на чем: одежды Классика явно не хватало для того, чтобы сплести сносную веревку — достаточно длинную и крепкую. Зато она могла бы пригодиться для иных целей. Обдумав все до мельчайших подробностей, друзья решили бежать во время ближайшей кормежки, откровенно воспользовавшись открытой дверью. Главное — внезапность и быстрота. Сначала они нейтрализуют стражника, оглушив и связав его рубашкой Классика. Затем, выйдя из кубрика, незаметно схоро-

няться где-нибудь на баке, а потом, улучшив минуту, под покровом ночи, спрыгнуть на какую-нибудь крышу или дерево. Рискованно, конечно, но при наличии известного фарта это единственная реальная возможность. Обсуждая этот план действий, ясный и простой, как и все гениальное, они переговаривались как можно тише, но почему-то их не покидало странное и неприятное чувство, будто в кубрике незримо присутствует кто-то третий. «Ерунда! Это всё нервы», — пробовал успокоить сам себя пес Петров, дрожа от возбуждения и прислушиваясь к каждому шороху за дверью. — Мы здесь одни, и всё под контролем». — «Надеюсь, что так, — отвечал Классик, тоже прислушиваясь. — В любом случае выбора у нас нет. Так что успокойтесь, Петров, все будет хорошо».

Еще раньше они заметили, что перед каждой кормежкой бьют склянки, после чего проходит приблизительно от десяти до пятнадцати минут, и затем стражник приносит баланду. Так вот, решено было напасть на стражника в ту самую минуту, когда он войдет в кубрик и нагнется, чтобы поставить обе миски на пол.

— Может, лучше сначала поесть? — предположил пес-матрос Петров. — А когда этот болван вернется за пустыми мисками и снова нагнется, тут-то мы его и схватим!.. Нет?

— Нет, — Классик покачал головой. — Бежать лучше на пустой желудок. Кто знает, с какой высоты придется прыгать? Еда добавит нам лишнего веса. И еще... Не стоит недооценивать врага: болван, не болван, а излишнее чувство превосходства над ним может все испортить.

Пес-матрос Петров вздохнул, но вынужден был согласиться со столь разумными доводами.

— А вот немного поспать не помешало бы, — сказал Классик.

— Хорошо... Но должен вас предупредить: иногда я во сне лаю. Атавизм, понимаете ли... Если что — не стесняйтесь, толкайте меня в бок.

— Ну что ж, договорились.

И, прижавшись друг к другу, узники вскоре уснули, что было даже странно ввиду предстоящего опасного предприятия. Правда, пес Петров то и дело вздрагивал, уши его торчали торчком, улавливая малейший шум на корабле. Классик уснул быстро, и ему снился необычный сон, будто он шагает по Великому Городу, улицы которого поднимаются вверх террасами, словно

висячие сады, а потом на площади, похожей на сцену древнего амфитеатра, вместе с детьми он плещется в огромной луже белой краски. И какой-то старец, седой и прекрасный, лучезарно улыбаясь, выплескивает на них целые ведра этой краски. А потом все вместе, ослепительно белые, они радостно шагают по широкому бульвару и распевают песню, в которой раз за разом повторяются одни и те же слова:

Любовь — это жизнь,
Жизнь — это смерть,
Я научу тебя любить.

И Классик тоже распевает эти слова, и они совсем не надоедают, хоть и повторяются бесчисленное множество раз, но даже наоборот: с каждым следующим повтором в них открываются все новые и новые смыслы. В счастливом упоении он смеется и плачет, и слезы нескончаемым потоком катятся из его глаз, смывая краску с груди, и прочь уносятся страдания — его собственные и всего мира, и на душе становится празднично и беззаботно, и с этой минуты никто в мире больше не умирает, а те, кто умер раньше, вновь оживают, и тоже радостно подхватывают эту бесконечную песню:

Любовь — это жизнь,
Жизнь — это смерть,
Я научу тебя любить.

Так идут они через весь Город, и кажется, нет ему конца и края. И однажды, оглянувшись назад, он видит за своей спиной сотни тысяч обнаженных людей — мужчин и женщин, стариков и детей, — идущих следом. И это так удивительно!

Но вот Город кончился. И песня тоже. Он стоит на вершине высокого зеленого холма. Справа — ступенчатая башня из горного хрусталя; острые грани ее сверкают, преломляя лучи полуденного солнца. Внизу — долина с купами цветущих деревьев и, утопающие в розовых садах, маленькие домики под черепичными крышами. А дальше, до самого горизонта — вековой лес, полный птичьего гомона. Над головой синева, бесконечность, и все вокруг радует взор и дышит покоем. И кажется Классику, что стоит он на самом дне вечного дня, и идти ему больше некуда и незачем. Здесь — конец всех его странствий. Не к такому ли сча-

стливому концу на самом деле стремились ведомые Капеллой, звездой оникса, все великие странники — и Брендан, и Мандевиль, и Кадамосто — со всеми их «чудесами мира»? Не к этому ли зеленому холму шел и он сам?

И с первым вздохом легкого полуденного бриза появляется Старец, тот самый, что поливал всех белой краской, да только теперь он совсем не старый. Он молод и красив, несмотря на седину в бровях и бороде, развевающейся на ветру. «Вот твоя родина», — говорит Старец. Неведомый язык его прекрасен, и речь льется как музыка, и, может, поэтому смысл ее понятен даже птицам, парящим высоко в небе, и единорогам, скачущим через долину к лесу. Классик доверчиво приближается, и Старец кладет левую руку ему на плечо. В правой — золотом сверкает длинная медицинская игла. Еще мгновение, и Классик чувствует, как она входит в его солнечное сплетение и, одновременно, вторая — в спину, на том же уровне. Боли нет!.. Непроизвольным рывком он выдергивает иглу из солнечного сплетения... О, зачем, зачем он так поступил? Старец знает, что делает, а он все только портит... «Я ее вынул!» — кричит Классик в отчаянии. «Не беда, — отвечает Старец и снова вводит золотую иглу в его солнечное сплетение. — Замри!» Мгновение... Еще мгновение... Ни боли, ни страха. Внутри будто что-то поворачивается, словно мельничное крыло, от чего перехватывает дыхание и в глазах ослепительно сияет. «Эльфийские стрелы не только убивают, они же и лечат», — говорит Старец, взгляд его — пламя, и оно затапливает все вокруг, будто океан огня. На Башне бьет колокол...

...Классик проснулся. На корабле били склянки. Кто-то толкал его в бок. «Тут от покойного сна пробудил Телемах Писистрата», — с горькой иронией вспомнил Классик другого классика, истинного.

— Вставайте, вставайте! — надрывным шепотом кричал песматрос Петров. — Ну вы и спите! Стражник будет с минуты на минуту. Вы готовы?

— А вы?

— По правде сказать, глаз не сомкнул.

— А мне снился сон.

— Кошмарный, наверное. Я так и понял: вы что-то бубнили непонятное, вроде как пели, и все время вздрагивали.

Классик не ответил. Оба заговорщика заняли свои места. Уже через минуту в коридоре раздались тяжелые шаги и громогласные чертыханья. Похоже, стражник был изрядно пьян.

— Quod bonum felix et faustum¹, — едва слышно произнес пес-матрос Петров и дрожащей лапой страстно осенил себя крестным знаменем [...]

[...] — Я могла бы тебя сожрать, гаденыш! — прошипела Альдрованда Дрозерацея, медленно приближаясь в своем водяном коконе к Классику, глаза ее сверкали, и вся она переливалась в лунном свете. — Но я поступлю иначе. Я оставлю тебя жить. Ты будешь жить долго, но что это будет за жизнь! — Она рассмеялась. — Сродни смерти будет жизнь твоя!

— Надо бы поторопиться, сударыня! — сказал Альгакобилла, наводя на Луну свою подозрную трубу с изумрудной линзой. Палуба стремительно покрывалась тонкой коркой льда.

В страхе, что его обнаружат, пес-матрос Петров спрятался за носовой рубкой, и теперь, зажмурившись и прижав уши к макушке, только слушал. Его трясло от ужаса и холода.

— Итак, — молвила Альдрованда Дрозерацея, — ты возомнил себя львом. Видана ли такая дерзость?

— Это просто смешно, — едко отозвался Альгакобилла.

— Смешно? Вот мы и посмеемся. Пусть будет львом, если уж так сильно он этого хочет.

— Хочет, хочет, уверяю вас.

— Пусть будет глупым фарфоровым болваном в образе льва...

«Болваном?!» — пса Петрова передернуло.

— ...И уделом его станет бесполезное времяпрепровождение на полке какой-нибудь антикварной лавки, где он быстро покроется пылью и копотью от дыхания безразличных мешчан, приходящих поглазеть на старую рухлядь.

Классик стоял, скрестив руки на груди, и грустно смотрел на Луну.

— Ты будешь стоять там годы и годы, пока, быть может, тебя не купит за бесценнок какой-нибудь олух. Но тебе не станет от этого легче. Ты будешь жить в вечном страхе, что однажды тебя

¹ Да будет на благо, счастье и удачу (*лат.*).

уронят, или смахнут, или швырнут на пол, и ты разлетишься на мелкие черепки, которые сметут в кучку и высыпят в мусорное ведро. Ну что, нравится?

— Сударыня! — нервно воскликнул Альгакобилла. — Сударыня, мы уже над Аскольдовой могилой...

— Вот и прекрасно! — со смехом сказала Альдрованда Дрозерацея. — Не хотел на Луну, отправляйся на Землю. Прощай, фарфоровая кукла!

В ту же минуту что-то произошло на палубе: яркая вспышка, странный свистящий звук... Пес-матрос Петров пугливо высунул морду из укрытия и увидел только, как две черные тени метнули за борт какой-то предмет. Этим предметом, вероятно, и был Классик. От ужаса пес-матрос Петров громко взвизгнул, и толпа матросов, сгрудившаяся у грот-мачты, разом повернулась в его сторону.

— Хватайте его! — зычно скомандовал Альгакобилла.

Толпа бросилась к рубке. Впереди всех бежал безголовый капитан де Козлюоль, а следом за ним — боцман Хробак, который изрыгал ужасные проклятья — и за себя, и за капитана. Не дожидаясь, пока до него доберутся, пес-матрос Петров вспрыгнул на борт и, зажмурив глаза, всеми четырьмя лапами бросился вниз. Прыжок и падение произошли так быстро, что он даже не успел испугаться, а потом долго не мог сообразить, жив он или мертв. Тело его застряло в ветвях старого клена. Еще долго яркие черные крылья носились во тьме над деревьями, выскивая беглеца. Стиснув клыки и дрожа всем телом, пес-матрос Петров следил за ними сквозь пахнущую прелью листву и молил Бога о спасении. Несколько раз страшные тени пролетали совсем близко, задевая влажные верховетвия. Он слышал их хриплое дыхание и всхлопывание крыльев в промозглом ночном воздухе, и нестерпимый запах гнили, исходящий от них, отравлял все вокруг. В лунном свете их длинные клювы были похожи на черные стилеты, жаждущие убийств. Шерсть на Петрове зашевелилась. Ужас, ужас!.. Он втянул голову и замер, почти теряя сознание, как раз в ту минуту, когда Луну проглотила огромная, ползущая над самыми верхушками деревьев туча. Все вокруг погрузилось во тьму. Припустил мелкий холодный дождь. Где-то в вышине ударили склянки, и залился продолжительной трелью свисток боцмана Хробака. Зловещее хлопанье крыльев быстро отдалялось и вскоре стихло совсем.

VIII

СВОБОДА

Пес Петров осторожно приподнял голову. Опасность миновала. Только дождь мирно шуршал в осенней листве. «О тишина, о дождь! Господи, как хорошо! — подумал пес Петров, дивясь и едва веря тому, что больше не слышно проклятого свистка боцмана Хробака, что никто не таскает его за хвост и не бьет ногами по голове, что не лется и не брызжет на него с черных парусов гнусная липкая жижа и не надо каждые полчаса драить эту ненавистную палубу, а главное, что страх, который, казалось, уже стал привычкой, его вторым “я”, больше не терзает его бедное сердце. — Неужели этому кошмару конец?!» Со смешанным чувством радости и горечи сидел он раскорякой на мокрых качающихся ветвях старого клена, подставив дождю морду: радости — потому что стал свободным, и это было настоящим чудом, а горечи — потому что всей душой переживал жестокую участь своего друга Классика. Из всего подслушанного и подсмотренного в последние минуты пребывания на корабле Альгакобиллы он уразумел лишь одно: проклятые мучители выбросили Классика за борт. Очевидно, в образе льва. «Ну да, эта ведьма так и сказала: “В образе льва”!..» (Про оскорбительного «болвана» пес Петров старался не вспоминать.) Но какого льва? Ясно, что не настоящего, каких он видел в городском зоопарке на Брест-Литовском проспекте, куда однажды забрел в поисках смысла жизни, а в какого-то декоративного... точнее, в искусственного... или, как же это сказать?.. — от усталости и сильных переживаний пес Петров никак не мог подобрать более верного определения. Следовательно, продолжал размышлять он, стараясь не потерять логическую нить в своих рассуждениях, Классика теперь нужно искать где-то в городе, в виде какого-нибудь каменного, цементного или бронзового изваяния с гривой и хвостом, украшенным кисточкой.

Пес Петров уже хотел по привычке последних лет поскулить на свою злую судьбину, но вовремя спохватился, справедливо рассудив, что грешно роптать собаке, которой только что удалось вернуть себе свободу и, несмотря на смертельный прыжок в бездну, остаться в целости и сохранности и в здравом уме! Вот этот-то здравый ум и должен теперь сказать свое веское сло-

во. Он вспомнил одну примечательную книгу из библиотеки Се-довласова, прочитанную им еще в юные годы. Принадлежала эта книга перу известного ветеринара Людвиг Филипповича Буссе и называлась незатейливо: «Собака в главных и побочных ее породах». Уже тогда пес Петров не без гордости отметил, что среди двухсот пород собак, тщательно срисованных с природы и в виде иллюстраций представленных в книге, *своей породы* он не нашел. О чем это свидетельствовало? Невежда бы сказал, что Петров — дворянка, и дело с концом. Ан нет! Тут вся закавыка в исключительности, и это факт непреложный, как говорят бывшие управдомы. Величайшая эволюционная ответственность возложена на, казалось бы, самого обычного пса. И вот теперь помимо своего физического и эфирного тела и тела желания в процессе чудесной Инволюции он обрел *ratio et ego*¹ и благодаря им — способность перемещаться в мире абстрактной и практической мысли, дабы силою своего Эпигенеза постигать в себе Замысел Божий и неустанно совершенствовать свой дух для дальнейших перерождений. «Да чего уж там! — с ухмылкой подумал пес Петров. — Кто не читал Макса Генделя (в английском издании 1911 года), тому никогда не понять сути происходящего, называемого Эволюцией». Тем не менее, разнообразные горести и лишения, которыми была полна жизнь пса Петрова, научили его не возноситься над своим горемычным собачьим племенем. Да, это правда: уверенной лапой обрезал он пуповину, что когда-то связывала его с так называемым «групповым духом», который управляет этим племенем, безнадежно отставшим в эволюционном развитии. Но гордыня была чужда ему как духу индивидуальному — духу, принявшему на себя всю тяжесть самосознания и оттого столь глубоко познавшему скорбь. Нет ничего проще, нежели согласиться с Экклезиастом и вслед за ним твердить, что во многих знаниях много печали. Все это так, но истинный героизм заключается в отрицании суетности мира, дабы обнажить его скрытый смысл, ибо, полагал пес Петров, именно в страданиях этого мира полыхает тот огонь, что закаливает дух в преддверии новых и более совершенных реинкарнаций. Однако, пребывая в настоящее время в образе и подобии собаки, Петров благоразумно решил не заскакивать слишком далеко вперед, а всем сердцем сосредоточиться на благих деяниях своего нынешнего воплощения.

¹ Разум и эго (*лат.*).

Итак, прежде чем отправиться на поиски возлюбленного Зайца Белого Пушистого, он во имя справедливости, и даже просто из чувства благодарности, обязан сначала разыскать бедного Классика, точнее некоего Льва, который заключает в себе Классика, как грубая перчатка — изящную и совершенную руку.

Дождь ушел куда-то вслед за черным кораблем. Небо очистилось, будто от толстого налета копоти, вздохнуло, и восток порозовел. Начиналась шестая часть ночи, *aurogum vel serpusculum matitinum*¹, как ее называли грамматиками былых времен. Произнеся эти латинские слова вслух, будто некое, сулящее удачу, заклинание, пес Петров стал спускаться с дерева. Ветви тряслись под его неуклюжими движениями, и огромные желтые листья с шорохом сыпались вниз. Где-то рядом, в чаще, испуганно закаркали потревоженные вороны.

— Хватит спать! — пробурчал пес Петров. — Утро уже.

О, как много бы он сейчас дал, чтобы на несколько минут стать обыкновенным котом! Все же ценой невероятных усилий ему удалось добраться до самой нижней ветки, а с нее спрыгнуть на усыпанную листьями мокрую землю. Левая передняя лапа, ушибленная еще при падении с корабля на крону старого клена, сильно болела, и поэтому нельзя было сказать, что этот последний прыжок дался легко. Поскуливая от боли, пес Петров пошевелил ушибленной лапой, затем проверил каждую подушечку и каждый коготь, и, удостоверившись, что ничего не сломано, вздохнул с облегчением. Он стоял на всех своих четырех лапах и с наслаждением вдыхал пряный запах прели. Земля! Как же давно он вот так не стоял на ней!.. Отдохнув немного, он, медленно двинулся на восток, полагая, что где-то внизу, по правую от него (здоровую) лапу, должен находиться Днепр, а прямо по курсу — центр города. Корабль же, как он помнил, скрылся в противоположном направлении: стало быть, Классика следует искать где-то ближе к центру. Добравшись до Аскольдовой могилы, он обрыскал все ее окрестности, но никакого Льва там не нашел. Ни одного следа! Где-то он читал, что львы, желая скрыться от преследователей, заматают свои следы кисточкой хвоста. Тогда все понятно... Правда, несколько раз ему чудился знакомый запах, но взять след так и не удалось. «Неужели, — сокрушался пес Петров, — неужели я настолько эволюциониро-

¹ Заря, или утренние сумерки (*лат.*).

вал, что сия примитивная операция мне больше не по плечу? Неужели мои врожденные сугубо собачьи свойства атрофировались?» Чтобы хоть немного оправдаться в собственных глазах, он предположил, что запах, учуянный в окрестностях Аскольдовой могилы, может принадлежать любому другому классику, если в основу суждения положить, что все классики пахнут одинаково. Но подобный силлогизм его мало утешил, в душе он понимал: каждый классик уникален — как своим творчеством, так и своим запахом. И эволюция здесь тоже ни при чем, ибо, если и шерсть, и хвост, и когти на месте, стало быть, и нюх должен иметься. Видимо, это расплата за слишком большую ученость, увы...

Прихрамывая, пес Петров брел по тропинке, из осторожности обходя стороной асфальтированные аллеи. Перед его внутренним взором то и дело возникал озаренный сиянием образ Зайца, и, терзаемый муками любви и совести, пес Петров гнал прочь от себя любовь в пользу совести. В сотый раз он мысленно благодарил своего друга и клялся отыскать его, живого или мертвого. А чувство благодарности пса Петрова было велико и искренне. И дело тут не только в обретении свободы. Зачем свобода тому, кто даже не заметил, как стал рабом? Тому, кто смирился со своим унижением и утратил сначала надежду, потом веру, а следующей потерей наверняка стала бы любовь? Так бы и гнил он до конца дней своих на проклятом корабле Альгакобиллы. Но вот однажды явился Классик, которого пес-матрос Петров, к стыду своему, встретил как последний мужлан! И свершилось чудо: этот бездомный бродяга, который отказался от прошлого, этот, на первый взгляд, слабый, беспомощный и внешне ничем не примечательный человек, посеял в душе изверившейся во всем собаки крохотное зернышко надежды. И вот это зернышко ожило и сначала робко, а затем все уверенней стало пробиваться к свету сквозь толщу тоски и неверия. Оно стремительно росло и выросло, пока не превратилось в могучее дерево веры. То была вера в грядущую свободу, в неизбежность ее. «Свобода коренится в нас самих, — вспомнились псу Петрову слова Классика. — Не побег ведет к свободе, а наоборот, свобода ведет к побегу». О, эти тюрьмы! О, эти каменные мешки, деревянные ящики, смрадные ямы! Эти решетки, замки и засовы! И как же странен и непостижим человек в своей ненависти и, одновременно, в почти религиозном преклонении своем перед всем этим ужасом. Какими изощренно-поэтическими именами нарекает он свои постылые застенки, по-

видимому, в ложной надежде скрасить, смягчить, задобрить и даже эстетизировать свое погребение заживо, скрыть за чудным образом весь этот кошмар тяжелых цепей, сочащихся сыростью стен, смердящих нечистот, изуверских пыток и голодных крыс. «Вслушайтесь! — продолжал пес Петров, обращаясь, очевидно, ко всему человечеству. — Вы только вслушайтесь: какая дивная музыка звучит в слове Tullianum! Tulli-anum! Это слово будто льется. И не удивительно: ведь оно произошло от латинского tullius, что означает *источник*. Но на деле, если *Туллианум* и означает *источник*, то — источник нечеловеческих страданий, ибо этим столь музыкальным словом римляне величали подземную часть государственной тюрьмы». Пафос рассуждений пса Петрова, который еще совсем недавно сам был горемычным узником чернолетучего каземата Альгакобиллы, быстро набирал силу и высоту. Тем более что поводов для этих рассуждений было хоть отбавляй! Взять, к примеру, замок Святого Ангела в Ватикане, в застенках которого когда-то томился столь любимый псом Петровым искусный ювелир Бенвенуто Челлини! Какого такого Ангела, господа? Тюрьма и Святой Ангел — что может быть нелепей и циничней? А Сен-Жак в Люксембурге или Ponte dei Sospiri¹ в Венеции, по которому несчастных приговоренных вели на встречу со смертью? Разве все эти несоответствия прекрасной формы и ужасающего содержания не побуждают к нездоровой фантазии?.. «Кстати, о Венеции, — подумал пес Петров, сам поражаясь своей проникательности. — *Пьомби* — ведь как ласкает слух! Чем не имя для вечно юного и прекрасного бога любви? Piombi, amore mia! А поди ж ты — тюрьма! Та самая, что словно опухоль вырастает на прекрасном теле Дворца Дожей... А Бастилия! Ну чем не прекрасное женское имя? А Ньюгейт — в какую пучину мук и скорби отверсты сии *врата*?.. Да и наша доморощенная тюрюга Лукьяновская... Как вы думаете, господа, уж не в честь ли сатирика Лукиана названы ее зловещие казематы? Нет, все же сколь чудовищное воображение, сколь извращенное представление о жизни надо иметь, чтобы треклятую тюрюгу наречь *Феррингдонским отелем*, а ее этажи — *Галереями*; а зловонный подвал, где, забытые всем миром, обреченные на безумие и медленную смерть, заживо гнили узники, — *Ярмаркой*. Да уж, веселенькая ярмарка — ничего не скажешь!»

¹ Мост Вздохов (*итал.*).

Пес Петров вспоминал то беспросветное уныние, которое и ему довелось испытать в бороздящей ночные небеса тюрьме под парусами. И вот, когда, казалось, все было кончено, явился, будто *deus ex machina*¹, будто ангел-хранитель, будто Робинзон к Пятнице или Пятница к Робинзону, могучий Классик в образе слабого человека. И в груди собаки, погрязшей в дикости и рабстве, с прежней силой забилося некогда гордое и свободолюбивое сердце. Да здравствует свобода, добытая своими собственными лапами! Да здравствует дерзость и отвага — качества, свойственные только по-настоящему свободным существам! Разве не бежал самым дерзновенным образом из замка Святого Ангела великий Челлини, узник коварного папы, сломав при этом себе ногу? (Тут пес Петров не без тщеславного удовлетворения лизнул свою ушибленную лапу.) Разве не совершил тем самым искуснейший Бенвенуто то, чего до него не совершал никто, ибо до сих пор считалось, что из этой тюрьмы бежать невозможно? А разве не воспарил, словно птица, над гнилой крышей Дворца Дожей, окрыленный божественным порывом к свободе и справедливости, Джакомо Казанова, шевалье де Сенгаль? И разве не он сам, пес Петров — поэт, художник и философ Божьей милостью, — столь чудесным образом вырвался из лап живодецов, не он ли поражающей силой своего искусства отомкнул двери неволившей его квартиры писателя-фантаста Седовласова? И если даже нечестивому разбойнику Джеку Шеппарду (не говоря уж о Великом магистре Чарльзе Рэдклиффе) удалось дважды бежать из Ньюгейта (о чем он когда-то вычитал в «Ньюгейтском справочнике»), то псу с чистой совестью и незапятнанной репутацией и сам Бог велел! И вот благодаря Классику он, пес Петров, совершил не менее доблестный подвиг, который ставил его теперь в один ряд с великим художником — не только как художника, и с великим любовником — не только как любовника (ибо и в том и в другом качестве он был, пожалуй, равен им обоим), но и как героя, как свободолюбца и, в конце концов, настоящего мужчину, что всё вместе выгодно отличало его от, пусть и великого, но все же разбойника, Шеппарда. Следовательно, рассуждал пес Петров, отложить мечты о Зайце Белом Пушистом и другие личные дела до лучших времен и всею душой отдаться поискам истинного своего спасителя было де-

¹ Бог из машины (*лат.*).

лом чести, ибо, по справедливому замечанию Аристотеля, только стремясь к чести, можно удостовериться и в своей собственной ценности и добродетели. Так, постепенно, в глазах пса Петрова Классик все больше приобретал черты необоримого титана, тираноборца, сокрушающего мировое зло, почти античного полубога, озаренного светом неземного происхождения. «О Классик! О Лев! Где же ты, друг и благодетель? Где искать тебя?..» Пес Петров не знал, что ответить на все эти вопросы, оставалось одно: положиться на свою интуицию...

IX В ПОИСКАХ ЛЬВА

Первые дни свободы были самыми радостными, но и самыми трудными, потому что приходилось восстанавливать утраченные в плену навыки выживания и, одновременно с этим, заниматься поисками Классика в образе Льва. Но вера в удачу и в Провидение ни на минуту не оставляла пса Петрова, и, выражаясь языком Горация, куда его заносила погода, там он и находил гостеприимство. Так что, можно сказать, он был само выживание. Но не только. Он был и само вдохновение, благодаря чему в его косматой голове роились фантазии — одна краше другой. То он представлял себя в образе храброго сеньора Гольфье де Ля Тура: будто скачет он под палящим солнцем по раскаленным просторам Святой Земли и однажды видит перед собой прекрасного Льва-Классика, изнемогающего не то от жажды, не то от ран; вокруг шеи его обвилась гремучая змея, готовая вот-вот ужалить его. И тогда выхватывает пес Петров де Ля Тур свой меч тяжелый, обоюдоострый, и разрубает гадину пополам, каковым образом и спасает драгоценную жизнь своего друга... То ему чудилось, будто, выполнив свой долг перед Классиком, он устремляется на поиски возлюбленного Зайца и после многих и тяжелых лет странствий достигает берега обетованного и, счастливый, с блаженной улыбкой умирает на лапках прекрасного Зайца, как некогда Жофруа Рюдель на руках принцессы триполитанской... Представляя эту трогательную сцену, пес Петров плакал от жалости к самому себе. Невероятным усилием воли он принуждал себя забыть о зайцах и вспомнить о львах. И тогда он плотно зажимал свои внутренние очи, дабы открылись очи внешние.

А однажды ему в голову пришла и вовсе неуместная аналогия: будто он, приняв облик веселого Биббиены (портрет которого, кисти Рафаэля, он видел на репродукциях), возводит на престол папу Льва X. Неуместным сие сравнение было, прежде всего потому, что существуют серьезные подозрения в причастности Льва X к отравлению этого самого Биббиены, и псу Петрову это обстоятельство было хорошо известно. «Тьфу, напасть! — выругался он. — И взбрдет же такое в голову!»

Так изо дня в день бродил он по знакомым и незнакомым улицам, присматриваясь, принюхиваясь и грезя наяву. Львы каменные, цементные, бронзовые, большие и маленькие, мелькали перед его цепким взором, и город под проворными собачьими лапами превратился в огромную пеструю карусель.

Однажды, искупавшись в фонтане на Думской площади имени Калинина и Октябрьской революции, пес Петров поднялся вверх по Малой Житомирской улице. Это была одна из самых древних улиц. Именно по ней в недобрые времена полчища Батя с воем и улюлюканьем ринулись в Город Ярослава, чтобы разрушить его, и перед внутренним взором пса Петрова разворачивалась грандиозная картина падения прекрасной цивилизации. Он даже представил себе своего древнего предка, храбро лающего из подворотни на бешено храпящих низкорослых монгольских коней... Внезапно, сам не зная почему, он остановился у винного погребка. Над входом висела вывеска из цветных стекляшек в виде виноградной лозы. Теперь мимо проносились вовсе не кочевники-завоеватели на своих каурых и саврасых скакунах, а желто-красные троллейбусы — тоже с воем, но без улюлюканья. Улюлюканье доносилось из погребка, где, очевидно, и обосновались потомки батыевых воинов, и вели они теперь вполне оседлый образ жизни, а если и передвигались, то не столь стремительно, как их предки, предпочитая осторожно держаться руками за стены. «Интересно знать, сколько поколений в моем роду прошло по земле с тех пор? — размышлял пес Петров. — Им довелось пережить литовцев и поляков, москалей и немцев, и снова москалей. И все, конечно, тащили сюда своих собак!.. Да, кровей во мне, должно быть, намешано немало. Иначе откуда же эта европейскость?..» Из погребка тянуло сыростью и винными парами. Пес Петров подкрался к каменным ступенькам, которые вели вниз, и с любопытством сунулся было в открытую дверь, но тут же отскочил назад — из погребка вы-

шли двое: лысый мужчина с чертами лица преторианского легионера в широком и длинном, ниже колен, плаще и с ним редкой красоты молодая женщина, высокая, стройная, в расклеванном книзу коротком манто и в элегантной, цвета пьяной вишни шляпке с вуалью.

— Постой, — сказала красавица, обращаясь к своему спутнику, и, раскрыв вышитый черным бисером ридикюль, достала из него шоколадный батончик.

Пес Петров настороженно и, одновременно, с восхищением следил за ее руками, которые уже разворачивали празднично шелестящую цветную фольгу... О, какие это были руки! Изящные, в тончайших, под цвет шляпки, бархатных перчатках — от них едва уловимо струился умопомрачительный и столь им любимый запах духов «Шанель №5».

— Ешь, — сказала она и положила шоколад перед замечтавшимся псом Петровым прямо на усеянный желтыми листьями асфальт. — Давыдов! Может, заведем собаку?

— Лучше детей, — откликнулся ее спутник, закуривая сигарету.

— А потом — детей.

— Нет, давай сначала детей, а потом собаку.

— Ты ешь, — ласково повторила красавица псу Петрову приглашение, так сказать, «к столу». — Ешь, мой хороший.

«Твой! Я весь твой!» — чуть было не выпалил пес Петров, но, к счастью, вовремя удержался. Есть хотелось еще с пятницы, которая закончилась то ли вчера, то ли позавчера спазмами в желудке, однако не мог же он в самом деле в глазах столь привлекательной дамы выказать себя жадным до жратвы мужланом и невежей! А потому, учтиво вильнул хвостом, он неспешно подошел и понюхал подношение и только после этого элегантно лизнул шоколадную поверхность батончика. Это было так вкусно, так ароматно, что он чуть не потерял сознание!

— Видишь, Давыдов, какой интеллигентный пес.

«Святая правда!» — мысленно согласился пес Петров, отмечая в то же время, что и Давыдов этот ведет себя более-менее достойно: не устраивает сцен ревности.

— Я придумала: тебе — детей, а мне — собаку.

— Нелли, не говори глупостей. — Давыдов, видимо, хотел сказать это строго, но у него не получилось, и он сам рассмеялся. — Ладно, пойдем. Эльга ждет, а нам еще розы надо купить.

Они пошли вниз по улице, в сторону Крещатика, а пес Петров долго смотрел им вслед. Каблучки Нелли звонко стучали по тротуару, бедра плавно покачивались, и вся она словно плыла, а не шла.

— Какая женщина! — в восхищении прошептал пес Петров. — И вообще шикарная пара.

Быстро покончив с шоколадным батончиком, он мечтательно задрал голову кверху: холодная синева сквозила в ветвях старых тополей, с которых тихо сыпались листья... Вот тут-то он и обнаружил сразу семь цементных львиных голов. В строгом ритме разместились они под самой крышей на фасаде богато декорированного дома. С минуту пес Петров стоял как вкопанный, а затем внимательно пересчитал все головы. Он едва не выругался: столь нелепым был весь их облик и, в особенности, цементные кляпы, что в виде бантов торчали из хищно разверстых пастей. Весь дом, включая и львиные головы, давно не подновлялся: краски выцвели и облупились, проржавевшие водосточные трубы были помяты, будто кто-то нарочно молотил по ним тяжелыми кувалдами. Нет, о нет! С Классиком, каким его знал и чувствовал пес Петров, все это никак не сочеталось. И тут он явственно услышал голос Классика: «Быть тебе психопомпом!» От неожиданности пес Петров чуть не залаял. Медленно, словно боясь спугнуть этот голос, все еще звучащий в его ушах, он повернул голову. У входа в винный погребок, задумчиво покачиваясь с пятки на носок, стоял какой-то гражданин. Похоже, он любовался своим отражением в оконном стекле — занятие, по мнению пса Петрова, не слишком мужское. И одет он был — брезентовая куртка, огненно-красная вязаная шапочка с помпоном и китайские полукеды, а из-под мешковатых штанов «стреляли» по глазам вызывающе-желтого цвета носки, — короче, черт знает что! «Городской сумасшедший», — подумал пес Петров, беспокойно оглядываясь по сторонам. Классика нигде не было. Откуда же прилетел его голос?.. «Психопомп, психопомп... — пытался вспомнить пес Петров. — Что это? Слово вроде как знакомое...»

Он поднялся по Малой Житомирской на самый верх где вздымалось помпезное здание Управления внутренних дел, выкрашенное какими-то идиотами в легкомысленный розовый цвет, и, едва скрывая свое отвращение («Какая безвкусица!»), свернул направо, в один из Троицких скверов. Здесь он нос к но-

су столкнулся с таким бронзовым львом-красавцем. Из широко раскрытой пасти зверя торчала металлическая трубочка, из которой лилась струйка воды в неглубокий бассейн. Ударяясь о его каменное дно, устланное палой листвой, размокшей и почерневшей, вода разлеталась множеством брызг. Несколько часов провел пес Петров у этого водоема с его тихим, неспешным переплеском воды, изучая со всех сторон и самым тщательным образом облик и фигуру льва. Рельефная надпись на табличке, гласившая, что сия скульптура относится к XII столетию, его нисколько не смутила: чего только не напишут, дабы замести следы и скрыть истину! Но вот что настораживало, так это поджатый хвост. Классик был не из тех, кто поджимает хвост, если даже ему и страшно. Нет, конечно, это не Классик... А с другой стороны, — сам себе возражал пес Петров, не сводя глаз с бронзового льва, — а с другой стороны, из ночных бесед на чернолуге корабле Альгакобиллы он помнил, что по гороскопу его друг родился под знаком Водолея. А этот лев как раз и был самым что ни на есть натуральным водолеем.

Пес Петров все ходил и ходил вокруг да около в нерешительности, заглядывал в большие выпуклые глаза льва, надеясь заметить в них хоть малейшее движение. Увы, все напрасно! Изредка на отполированную бронзовую спину зверя взбирались дети и оглашали сквер восторженными криками, другие пускали в бассейне бумажные кораблики. Вся эта милая детская возня также яснее ясного свидетельствовала в пользу Классика. Что может быть правильнее? — Классик и дети! Что может быть поучительнее, назидательнее? Мистицизм и дидактика счастливо соединялись здесь в гармоничное целое, и пес Петров уже готов был уверовать в истинность своих суждений, а значит, и в благополучный исход своих поисков, но тут черт знает откуда налетали толпы японских туристов, которые беспрестанно щелкали своими одинаковыми фотоаппаратами и улыбались одинаковыми улыбками, — в общем, все портили. Поведение их было настолько единообразно и предсказуемо, столь лишено каких-либо малейших признаков трансцендентности, что от предыдущего очарования не оставалось и следа. «Фотограф щелкает, и птичка умирает», — ворчал пес Петров. Угрюмый, он отходил в сторону и презрительно, а то и почти с ненавистью взирал на представителей страны восходящего солнца, воображая, с каким наслаждением он покусал бы каждого из них. «Саранча! Ишь, возом-

нили о себе! Видите ли, у них там солнце восходит. А стоит продвинуться от них чуть-чуть восточнее, и что тогда? Обыкновенная страна заходящего солнца!»

Придя к такому почти эйнштейновскому умозаключению, пес Петров несколько успокоился и даже подавил в себе желание кусаться, тем более что кусаться — это как-то не похристиански, ей-богу! Но искушение оставалось... А что, если все-таки?.. Пару-тройку, да за задницу... Почему нет? Да и кого бы, в самом деле, удивило, если бы он пустил в ход клыки, как и любое другое четвероногое на его месте, — либо от гнева, либо от испуга? У кого повернулся бы язык требовать от обыкновенной собаки христианского милосердия и терпимости? Однако для столь *необыкновенной* собаки, как пес Петров, «кусать или не кусать?» было вопросом свободы совести. Узнай эти японцы (пусть даже все они поголовно буддисты и синтоисты), что собака, сидящая под сенью опадающего каштана и внимательно следящая за каждым их движением, не какая-нибудь голодная попрошайка, а правоверный христианин, они наверняка сочли бы это невозможным. И невдомек этим несчастным жертвам информационных технологий, что и собака имеет полное право быть верующей. Что же тут такого предосудительного?.. «Хотя к сожалению, — сокрушался пес Петров, — правда и то, что большинство нашего брата не очень-то приблизилось к истинному пониманию христианства. Ведь как рассуждают они о Господе: “Лучше бы Он мне принес говяжью кость, а не Благую Весть!”» Пес Петров вспомнил, как однажды, на корабле Альгакобиллы, дискутируя с Классиком о различных религиозных традициях, он с горечью заметил, что мир отвернулся от веры в пользу эгоизма и материального стяжательства, и нет больше святых патриархов, способных словом и действием увлечь за собой заблудшие народы на праведную дорогу к Богу. «Видите ли, — возразил ему тогда Классик, — Заговори сегодня о вере даже самый великий из людей, речи его тронули бы очень немногих. Все давно сказано и повторено бесчисленное количество раз. Другое дело вы, Петров. Стоило бы вам только, извините за выражение, открыть пасть и произнести всего несколько слов, например, о символе веры, или о заповедях Моисея, или о чаше Грааля и копье Лонгина... о, что бы тут началось! Знаете, Петров, я вам так скажу: вы сами — лучшее подтверждение существования Бога, более убедительное, чем все священные книги

вместе взятые. И в радостном вилинии вашего хвоста больше религиозности, чем во всех проповедях и увещеваниях богословов». Вспомнив этот разговор, пес Петров печально зевнул.

Сменив, таким образом, праведный гнев на святую милость, он снова был способен размышлять трезво. А поразмыслить было над чем. Долгое время ему не давала покоя некая дилемма: сохраняет ли Классик и после превращения во льва свой природный запах или нет? Сколько ни тянул он носом воздух, от льва-водолея пахло металлом и речной водой. Так и не придя к однозначному заключению, пес Петров покинул сквер и двинулся дальше, резонно полагая, что поскольку еще не все объекты в городе им найдены и изучены, то рано делать окончательные выводы. И он изучал эти объекты кропотливо, стараясь ни одного не пропустить.

Так, однажды на доме под номером 45 по Владимирской улице он насчитал сразу одиннадцать львов. Это было уже слишком!

— Ну и ну! — воскликнул он, саркастично взирая на обилие абсолютно одинаковых львиных морд, будто столкнулся не с архитектурным украшением, а со взводом солдат, построившихся у казармы. — *Risum teneatis, amici?*¹

Надо сказать, скитания по всему городу в поисках Льва-Классика носили какую-то странную зигзагообразную конфигурацию: пса Петрова бросало то в центр, то на окраины, то снова в центр... В иные дни ему казалось, что львов здесь больше, чем звезд во Вселенной. И ни одной собаки! — с невольной обидой отмечал он, но тут же, устыдившись, гнал обиду прочь. Например, в великолепном архитектурном ансамбле Банка на Липках также фигурировало множество львов на любой вкус. Пес Петров чуть не взбесился, пока пересчитал их всех: два больших, шесть средних и ровно двадцать семь совсем крошечных. Но, черт возьми, будь их даже сто двадцать семь, в данном случае количество никак не могло перейти в качество, да и вряд ли когда-нибудь вообще переходило, что бы там ни говорили некоторые философы. По своему личному опыту пес Петров знал: качество порождается качеством, а количеством — только количество. А если в рассуждениях пойти еще дальше, то это самое ко-

¹ Можно ли удержаться от смеха, друзья? (лат.). — Гораций, «Послание к Пизонам».

личество как раз напрямую зависит от качества. Короче говоря, на Липках задерживаться не было никакого резона: ни в самом Банке, ни в радиусе пятидесяти метров вокруг него Классику, этому закоренелому бессребренику, делать нечего. Удовлетворенный своей проницательностью, благодаря которой не пришлось идти по ложному следу и зря терять время, пес Петров бежал прочь от этого лежбища псевдольвов, что пригрелись у туго набитого государственного кармана.

Еще с четверть часа покрутившись возле Верховной Рады, — перед ее помпезным входом вместо львов почему-то выселились какие-то бронзовые истуканы с лопатами и отбойными молотками, — пес Петров с досады облаял горстку испуганных депутатов со значками на лацканах пиджаков, промчался мимо царского дворца и нырнул в Мариинский парк. По широкой парковой аллее он спустился на Европейскую площадь. Там без особых препятствий ему удалось обследовать сначала стадион «Динамо» с открытым плавательным бассейном и вышкой для прыжков, а вслед за ними и Филармонию, заодно пометив ее в разных местах — как говорится, на всякий случай, на перспективу: мало ли, как еще повернется судьба?.. Однако львов он нашел вовсе не в храмах спорта и музыки, а у высокого подножия Музея изобразительных искусств. Их было всего два. Они величаво возлежали по краям широкой каменной лестницы, охраняя десяток облупившихся колонн, подпирающих треугольный фронтон, да двух-трех скифских каменных баб, которые спрятались от дождя под этим фронтоном. Львы, конечно, впечатляли и размерами, и формами. Но пес Петров их раскусил быстро. Во-первых, они были цементными, а цемент пес Петров недолюбливал, считая этот материал негодным для создания истинных шедевров. А во-вторых, величие их было искусственным и полностью лежало на совести архитектурного стиля, их породившего. Пес Петров готов был раз и навсегда проклясть всякую симметрию, от которой у него в глазах уже двоилось, четверилось и шестерилось... «Один! Один-единственный! — словно мантру твердил он про себя. — Единственный и неповторимый!»

Но такая же пресловутая симметрия поджидала его и на Большой Житомирской, 23: две клыкастые морды над парадным входом. Промозглый осенний ветер гудел в их разинутых пастьях. Не лучше обстояло дело и на другом конце города, в большой физической лаборатории первого корпуса Политехни-

ческого института: очередные два льва под порталами балконных дверей являли собой абсолютных близнецов. Оскорбленный до глубины души пес Петров покидал лабораторию под громовой хохот и свист безмозглых вагантов. Но обида быстро прошла. Что возьмешь с этих желторотых огольцов? С одной стороны, на них давит материализм, с другой — гормоны. Да и не до личных обид было теперь...

Дальнейшие поиски показали, что куда весомее доводы модерна. Над улицей Маловладимирской имени Чкалова, будто застигнутый врасплох появлением пса Петрова, замер в мускульном порыве цементный лев, грозя разорвать всякого, кто посмеет постучать в дверь особняка, который он охранял.

— Опять этот цемент! — качал головой пес Петров. — И все эти мышцы... Нет, нет... Помнится, Классик все же не так мускулист, да и не столь грозен, хотя и не трусливого десятка. И потом... Что это такое? На каком основании отбит кончик хвоста, скажите, пожалуйста? — И тут же сам себе отвечал: — А на основании падения с высоты, то есть с корабля Альгакобиллы!

Поразмыслив немного, он сделал следующее заключение: спору нет, лев недурен, хоть и цементный, но уж больно злобен и физиологичен, а от этого кажется не слишком привлекательным. Даже, пожалуй, уродливым. А ведь еще Марсилио Фичино утверждал: если красота заключалась бы в телесности, она не имела бы ничего общего с добродетелями души, которые бестелесны... Нет, можно смело дать лапу на отсечение, что это не Классик, ибо Классик добродетелен и потому — красив.

На третий день модерну был вынесен окончательный приговор: капризная изощренность, патологическая эротомания и чрезмерный эгоцентризм — и правды от него не добьешься.

Древности оказались не лучше. Шиферный рельеф из развалин Успенского собора Печерского монастыря, который изображал льва и львицу, запряженных в четырехколесную повозку со спящей в ней дебелой бабой, которая неуклюже опиралась на левую руку, вызывал и вовсе отвращение. И к тому же еще лев поднял две передние лапы и, словно пойманный с поличным вор, глядел на пса Петрова полоумными глазами.

— Вот уродство! — в сердцах проворчал пес Петров. — О нет! Дальше просто некуда.

И тут его осенила счастливая мысль: прекрасное не может стать уродливым, коль оно прекрасно, в какую форму его ни

трансформируй. Значит, сообразил он, надо искать такого льва, в котором сохранились бы все признаки изначальной красоты. Мысль казалась простой и убедительной. Но что такое красота? Этот вопрос требовал ясного ответа, без которого философская натура пса Петрова испытывала бы бесконечные сомнения и не смогла бы действовать целеустремленно.

Итак, что есть красота? Дни и ночи пес Петров бился над этим вопросом. Он нещадно напрягал свою память, раз за разом извлекая из ее самых потаенных глубин сентенции великих мыслителей. А извлекать было что! Как-то поздним дождливым вечером, свернувшись калачиком под скамейкой в одном из тихих дворов на Стрелецкой улице, он вспомнил, между прочим, «Сумму теологии» Аквината, где черным по белому было написано буквально следующее: «*Pulchra sunt quae visa placent*»¹. Казалось бы, с авторитетным мнением Фомы можно было сразу согласиться, и дело с концом, тем более что оно почти согласуется с определением Ларусса: «Красивое» — это то, что «радует глаз или разум». Итак, здесь задействованы и зрение, и разум... Но чего-то все же не хватает для полной картины... Ага! Не хватает чувства. Минуточку, господа, минуточку. Про чувство что-то такое есть у Владимира Даля. Пес Петров тут же припомнил, что, по Далю, «красивый» — это «нравый чувству изящного». Вот! Стало быть, теперь мы имеем все три компонента: зрение, разум и чувство. Отлично-с!..

Но торжество было недолгим. Говоря по совести, ни одно из авторитетных толкований не удовлетворяло полностью. Ибо в самих оценках того, что именно «*visa placent*»², «радует глаз или разум» и «нраво чувству изящного», в современном человеческом обществе существует большой разноробой. Искусство в наше время, как и все общество в целом, порождено совсем неодинаковой глубиной и широтой этого так называемого «разума», совершенно неадекватным «зрением» и, вдобавок, почти напрочь лишено «чувства изящного». Так что, не лучше ли отмахнуться раз и навсегда от всех этих каменных, бронзовых, чугунных и цементных монстров и, не мудрствуя лукаво, положиться на свою природную интуицию, тем паче, что, например, сэр Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский, имел ведь какие-то основания ут-

¹ «Прекрасно то, что приятно для зрения» (*лат.*).

² «Приятно для зрения» (*лат.*).

верждать, будто «всякая пленительная красота всегда имеет в своих пропорциях некоторую странность». Да, — думал пес Петров, — стоило бы как-нибудь на досуге вплотную заняться каллипедией. Это учение нуждалось в серьезном развитии.

На следующее утро, словно в подтверждение парадоксальной мысли лорда Веруламского, псу Петрову попался на глаза еще один лев. Дело происходило в самом сердце Подола, на Контрактовой площади и, надо сказать, странностью своей могло привести в изумление всякого, кто действительно что-то понимал в изящных искусствах. Так вот, вышеупомянутый лев, которого так и подмывало назвать «зверьком» и который представлял собой выкрашенное в телесный цвет порождение дурно понятого барокко, неуверенно пытался укусить Самсона, больше напоминавшего не библейского богатыря, а худосочного студента-экзистенциалиста, вечно голодного и обкуренного, но вдохновленного радикальными идеями Сартра. «В шестьдесят восьмом такие вот волосатые ребята, хиппи и нудисты по преимуществу, — думал пес Петров, — крушили автомобили своих богатых родителей на парижских улицах, то есть *sous le ciel de Paris*¹, воспетом Пиаф и Монтаном, а потом мирно плели венки из лотосов где-нибудь на Антильских островах и валялись как морские котики на песчаных пляжах в чем мать родила». Да, здесь Бэковская «странность» уже явно преобладала над «всякой красотой». И если Крещатик, по меткому замечанию одного известного архитектора, представлял собой «бред пьяного кондитера», то этот Самсон, борющийся со «зверьком», — типичный бред опиомана. Впрочем, за время странствий по городу пес Петров видел вещи и похлеще. Например, памятник Ленину на Бессарабке. Изваянный из красного гранита, гладко отполированный вождь мирового пролетариата бодрым шагом, с высоко поднятой головой и с рукой, как бы приготовленной для подаяния, направлялся на Бессарабский рынок, тем самым недвусмысленно намекая то ли действительно на подаяние, то ли на взятку, то ли на инвестиции, то ли в целом на рыночную экономику (по мнению пса Петрова, этот стыдливый жест руки, — кстати, левой, — несколько контрастировал с героическим образом вождя). Правда, за полвека он так ни на йоту и не сдвинулся с места в намеченном направлении. Только от одной этой крамольной мысли,

¹ Под небом Парижа (*франц.*).

помнится, в глазах у пса Петрова сначала помутилось, потом зажглись рубиновые звезды, в голову обрушились зловещие кремлевские куранты, и он тут же, поджав хвост и воровато озираясь, нет ли за ним «хвоста» совсем иного рода, потрусил вверх по бывшему Бибиковскому бульвару и остановился только у памятника Щорсу. Красный командир на коне, с высоко поднятой над головой рукою, в свою очередь, направлялся почему-то в противоположную от вождя сторону — к площади Победы. Пес Петров не слишком хорошо разбирался в тонкостях политики, однако почувствовал, что дело здесь нечистое и чревато большими неприятностями, ибо Победа, к которой призывал всадник, и рыночная экономика, на которую намекал вождь, диаметрально расходились. «Пацаны» явно не могли между собой договориться. Мысли пса Петрова гудели как набат в чистом поле. Он собирался уже тихонько исчезнуть в прилегающем к бульвару Старом Ботаническом саду, как вдруг чутким ухом услышал чей-то приглушенный разговор, доносившийся из ближайшего кустарника:

— Видишь, сынок? И здесь та же ошибка. Все они думают, что это товарищ Щорс на коне, — говорил первый голос, и тон его был насмешливым.

— А разве это не Щорс? — спрашивал другой голос, помолже.

— Ха! Ты помнишь, напротив Могилянки дядька стоит, с котомкой за плечами? Ну, тот самый, который как в сказке: мужичок — руки железны, голова чугуна, сам медной...

— Ага, помню, помню! Тот, которого Магнус превратил в Сквороду?

— Вот-вот. Только это не Скворода! Сколько можно повторять тебе, неуч?

— Опять обзываешься, — обиделся молодой голос.

— А ты не пори чушь, тогда и обзываться не буду, — сердито сказал первый голос и, уже смягчившись, продолжал: — Так вот, в городе все думают, будто лже-Сквороду того на Контрактовой площади установил Кавалеридзе.

— Кава... чего?

— Скульптор такой был, понимаешь? Я его когда-то знал лично. Мужик он был вроде ничего, но творчество его мне всегда казалось, мягко говоря, спорным.

— А что с ним случилось?

- А с чего ты взял, что с ним что-то случилось?
- Ну, не знаю... Просто ты говоришь таким тоном.
- Таким, не таким... Какой есть, таким и говорю! Прекрати зевать, оболтус... Всадника того видишь?
- Вижу.
- Так вот это и есть сам Кавалеридзе на коне. Уж это как пить дать, не будь я следопыт!
- А, понимаю: и его тоже Магнус наказал.
- Я этого не говорил.
- Но ведь подумал?
- Мало ли что я подумал, простофиля! Лучше смотри под ноги. Что видишь?
- Следы... собачьи ... Много.
- Хорошо. А имя собаки определить можешь?
- Сейчас, сейчас... Подумать надо...

Перепуганный пес Петров быстро ретировался в полной уверенности, что никогда больше не сунется на этот проклятый бульвар. Хотя уже на следующее утро все услышанное там представлялось ему не более чем слуховой галлюцинацией, порожденной голодом, усталостью и слишком напряженной умственной деятельностью...

Так прошла еще неделя. Пес Петров потерял счет и дням, и львам. Мыслями он раз за разом возвращался к понятию «красоты», от которого его уже почти тошнило. Но остановиться он был не в силах. А тут еще сон кошмарный приснился: будто он по-французски вел бесконечный диспут «о красоте» с Жан-Жаком Руссо, который под конец заявил буквально следующее: «Il n'y a de rien beau se qui n'est pas!»¹ — «Есть красота! Есть красота!» — страшным голосом не то кричал, не то лаял в ответ Пес Петров и откусывал одну за другой серебряные пуговицы с камзола философа. — «Je m'en fiche de votre sécité, monsieur Vieux-Sot!..»² Проснулся он от собственного воя и, надо сказать, вовремя, поскольку намеревался уже опорожнить свой мочевой пузырь прямо на башмак знаменитого автора «Исповеди», что неприятно закончилось бы для обоих диспутантов... После этого

¹ «Прекрасно лишь то, чего нет!» (франц.). — Жан-Жак Руссо, «Новая Элоиза».

² «Плевал я на вашу слепоту, мсье Старый-Дурак!..» (франц.).

случая пес Петров понял, что «красота» становится его кошмаром. Возможно, в конце концов он возненавидел бы всякую «красоту», если бы однажды ему не вспомнилось одно характерное высказывание Виктора Гюго. «Красота, — заявлял отец французского романтизма, томясь на чужбине, — это не что иное, как вершина истины». Вот оно! Вершина истины! Пес Петров радостно завилял хвостом. «А любить красоту, — вспоминал он дальше слова такого же, как и он сам, великого изгнанника, — любить красоту — значит стремиться к свету». Интуиция и стремление к свету — вот две силы, способные привести странника к вершине истины, а значит — к красоте, коей, бесспорно, является Классик. Сия философская сентенция если и не навела пса Петрова на след, то, во всяком случае, успокоила его. К тому же звучала она столь абстрактно, что как бы и не требовала особых доказательств, а следовательно — и большой ответственности. «Да, Гюго все-таки молодец, — с восхищением и почти с завистью подумал пес Петров. — Не подкопаешься. А главное — все правильно!» Воодушевленный своим открытием, он нацарапал когтем большими печатными буквами на ближайшем заборе:

«ИЩУ КЛАССИКА!»

Правда, в отличие от Диогена, который «искал *всего лишь* человека», он не имел ни фонаря для поисков, ни даже дырявой бочки для ночлега. Подумав, он дописал снизу на латинском языке:

«LEONEM QUAERO!»¹

Ночью псу Петрову приснился его бывший хозяин, маститый писатель-фантаст Седовласов. Во сне они странным образом поменялись ролями: пес Петров был членом Союза Писателей и хозяином, а Седовласов — его псом, и теперь писатель Петров выгуливал пса Седовласова на поводке и в наморднике, кормил протухшей тушенкой и потчевал веником по хребту. От жалости к Седовласову Петров горько расплакался и тут же проснулся...

¹ «Ищу льва!» (лат.).

X ФАРФОРОВЫЙ ЛЕВ

...Казалось, эта распроклятая улица Саксаганского никогда не кончится. Изголодавшийся и до костей продрогший пес Петров едва переставлял лапы. В голове звучали «Strangers in the night»¹ в исполнении Фрэнка Синатры. Увлеченный песней, пес Петров был похож на блаженного с выпученными глазами. Он тихо подскуливал в тон мелодии, даже не замечая, как один за другим зажигаются фонари в рано опустившихся на город сумерках. Так вышел он к широкому перекрестку и остановился, чтобы догундосить последний куплет с припевом и, заодно, пропустить трамвай, который в эту минуту грохотал по вызолоченным в неоновом сиянии рельсам. В тускло освещенных окнах вагонов были смутно видны незатейливые людские судьбы с мужскими и женскими лицами, теснящие друг друга. Этот застекленный, скрежещущий и звенящий трехвагонный мир медленно переползал через перекресток, будто движимый электричеством фантом, не оставляя в душе пса Петрова ни малейшего душевного отклика. Нет, не должно так много людей скучиваться одновременно в одном месте. Это протiwоестественно. Впрочем, сейчас пса Петрова интересовал один лишь Классик, лишь его судьба, даже если теперь эта судьба — львиная.

Повернув налево и уже собираясь двинуться по Красноармейской вверх, в сторону площади Толстого, он почуял запах, от которого сердце его чуть не выскочило из груди. Запах Классика! Пес Петров замер на месте, страхась шевельнуть даже кончиком хвоста. Только бы не спугнуть этот великий, этот бесценный запах!.. Несколько прекрасных мгновений тот реял в осеннем сумраке, пока порывы северного ветра не принесли с собой ароматы мясных копченостей и кофе. Мучительно сопротивляясь сильнейшему искушению, источник которого находился двумя домами выше, в магазине «Українські ковбаси», пес Петров то и дело сглатывал обильную слюну. Взгляд его хаотично метался во все стороны в надежде обнаружить какой-нибудь более материальный след Классика, пока не остановился на огромных, ярко освещенных окнах антикварного магазина. Внутри горели, огнисто искрясь, помпезные люстры, а из двери, ко-

¹ «Путники в ночи» (англ.).

торая, несмотря на промозглую сырость, была открыта настежь, доносились голоса. Пес Петров подошел ближе и сквозь стекло увидел стоящего за прилавком продавца в сером твидовом костюме. Вытянутое книзу лицо его было декорировано пышными бакенбардами, подкрашенными в каштановый цвет. «Наверняка, “Лондестон”, — со знанием дела определил пес Петров. — Пошло и безвкусно». Таким же дерьмом в свое время красился и Седовласов, пока он его не отговорил и не посоветовал перейти на благородную хну. Продавец улыбался во весь рот («Ага, верхняя челюсть вставная, пластмассовая!»), жмурил глазки и с преувеличенной любезностью («Какая неискренность!») объяснял что-то одинокому посетителю в габардиновом плаще и шляпе, который стоял спиной к выходу, так что лица его не было видно, и, казалось, не слишком внимательно слушал, что ему говорят. Затем оба переместились к большому, во всю стену, стеллажу с разнообразным антиквариатом. «М-да, ничего стоящего», — опытным глазом быстро определил пес Петров и, широко и протяжно зевнув, уже хотел идти дальше, как вдруг заметил среди обилия бронзы, стекла и фаянса небольшую фарфоровую статуэтку льва. И, ей-богу, фарфоровый лев смотрел ему прямо в глаза, да при этом еще и улыбался! Казалось, сейчас он возьмет и скажет голосом Классика: «Ave, Petrovius! Ego nominor Leo»¹. Пса Петрова бросило в жар. От холодного ветра и сильного напряжения у него задергался зрительный нерв, глаза начали слезиться. Он замотал косматой головой, словно пытаясь смахнуть слезы. И тогда фарфоровый лев ему весело подмигнул... Господи Всевышний!.. Может, показалось?.. Глаза продолжали слезиться. Точно, показалось... Он подкрался к раскрытой двери и стал прислушиваться к разговору.

— Настоятельно рекомендую, молодой человек!..

Пес Петров осторожно высунул морду из-за дверного косяка и увидел, как продавец снимает с полки того самого фарфорового льва и с елеинной улыбкой, ставит его на широкий прилавок.

— Замечательная вещица. Стил, работа — все высший класс. Берите не раздумывая. И помяните мое слово: вам не придется краснеть за такой подарок.

¹ «Здравствуй, Петров! Я называюсь Львом» (лат.).

Статуэтка и в самом деле была хороша: белая, гладкая; хвост — кольцом, с золотой кисточкой, и грива тоже золотилась в ярком свете люстр.

— Такой тонкий фарфор, — сказал покупатель, голос его показался псу Петрову знакомым. — Странно...

— Что странно? — не понял продавец, уже готовый обидеться.

— Странно, что так недорого.

«Нет, голос незнакомый», — подумал пес Петров.

— Вот и я говорю: совсем недорого! — радостно подхватил продавец и затараторил скороговоркой: — А все почему, спросите вы? А все потому, что на статуэтке, вот, взгляните сами, нет клейма. Видите? Ничего нет! — он суетливо вертел льва в руках, не переставая говорить: — Даже год не указан. В каталогах — тоже ничего похожего. У меня тут эксперты просто с ног сбились — так ничего и не нашли. Сколько споров было! Вы не поверите... Но никто, повторяю, никто, даже сам Петушинский, и тот не рискнул сказать что-нибудь определенное! Ну, а раз так — цена, сами понимаете, чисто символическая. Вот если бы это была какая-нибудь *magot chinoise*¹ времен Юаньской династии, или, скажем, беттгеровский фарфор из Саксонии, или санкт-петербургский фарфор с росписями Свебаха — тогда, будьте покойны, цена была бы соответствующей...

Тут, словно что-то почуяв, продавец повернул голову в сторону пса Петрова, который едва успел отпрянуть от двери. Да уж, лучше наблюдать за происходящим через окно. Увы, о том, чтобы войти внутрь, не могло быть и речи, и на то у пса Петрова имелись веские причины: во-первых, он справедливо полагал, что для того, чтобы выведать нужные сведения, лучше всего оставаться неприметным; во-вторых, в *принципе* появление собаки в антикварном магазине скорее всего возбудит в продавце чувства отнюдь не гуманные, а это в девяти случаях из десяти приводит к рукоприкладству, чего пес Петров органически не выносил. Ну и в-третьих, очень даже к месту ему вспомнилась «Иллюстрированная история суеверий и волшебства», где в главе о суевериях древних халдеев Леманн цитирует более чем красноречивые тексты, начертанные на глиняных табличках. «Если серая собака, — было сказано там, — забежит во дворец, то он погибнет в пламени. Если желтоватая собака забежит во

¹ Китайская статуэтка (*франц.*).

дворец, то его ожидает насильственный конец», и так далее в том же духе. Будучи глубоко верующим, пес Петров отрицательно относился к суевериям, и вся эта чепуха вызывала в нем только ироническую усмешку. Но богатый жизненный опыт подсказывал ему, что воспитанные в духе воинственного атеизма советские граждане насквозь пропитаны суевериями, которые таким образом заменяют истинную веру, и в этом смысле они несколько не отличаются от древних халдеев; а эстетические вкусы их, никогда не видевших каменные палаты Палладио или Иниго Джонса, так сильно деградировали, что за дворцы они с легкостью готовы принять Центральный гастроном или, в лучшем случае, Дворец бракосочетаний, даже и не пытаясь понять, почему же в этих «дворцах» никто не живет. Словно ища подтверждения своим нелюбимым выводам о современности, пес Петров невольно оглядывался на прохожих, безнадежно погрязших в суете и невежестве: «Живут как кочевники — нигде. И, как кочевники, падки на все, что сверкает». Вот и здесь, за большими стеклянными окнами, такое обилие света и так много всякой пестрой утвари, что человек некультурный и невежественный, каковых в этом городе, к несчастью, подавляющее большинство, вполне может принимать второсортную антикварную лавку со всей ее сверкающей мишурой за роскошный дворец, в котором, следуя логике халдеев, пес Петров, как собака, совершенно неуместен, тем более что его масть соответствует описаниям на глиняных табличках: в ней есть и серые, и желтоватые оттенки. Горько вздыхая, пес Петров сравнивал свою трудную судьбу с судьбой апулеевского Луция, который, как известно, в конце своих долгих «ослиных» злоключений все же смело мог ходить, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, и радостно смотреть в лица встречных. Разительное отличие состояло лишь в том, что легкомысленный Луций был превращен в осла, от чего в дальнейшем претерпел многие страхи и горести, но, заручившись благоволением всемогущей Исиды, однажды вновь обрел прежнее человеческое обличье. А пес Петров уже изначально родился на свет в облике натуральной собаки и, полными лоханями вкушая те же несчастья, ужасы и страхи, похоже, так собакой и останется, невзирая на всю очевидность своей индивидуальной эволюции.

Поддавшись на уговоры елейного продавца, посетитель все-таки купил фарфорового льва и, ни минуты более не за-

держиваясь, покинул магазин. Лица его пес Петров так и не увидел: как назло, именно в эту минуту он задумался о своей судьбе, а незнакомец прошагал мимо очень быстро. А тут еще эта шляпа и высоко поднятый воротник габардинового плаща... Вообще-то со спины он напоминал псу Петрову какого-то персонажа из старой английской литературы. «Типичный викторианец!» — заключил он. Ко всем этим нерадостным обстоятельствам следовало добавить промозглый вечер и туман, скудно подсвеченный неоновыми фонарями, которые больше искажали окружающее, нежели освещали его. При таком освещении, думал пес Петров, любая дворняга может показаться собакой Баскервилей.

Стараясь не терять из виду спину незнакомца и одновременно опасливо озираясь по сторонам, он неотступно трусил следом, вверх по Красноармейской. Но, похоже, опасения были напрасными: прохожие не обращали на него внимания, разве что две облезлые дворняги, родом явно не из Дартмурских болот, однажды выскочили навстречу из подворотни и, подозрительно покосившись на пса Петрова, побежали дальше в поисках скудного пропитания своего.

В целом все шло нормально. Со стороны «викторианца» с фарфоровым львом под мышкой доносился хоть и слабый, но довольно стойкий запах Классика. Слабость запаха, вероятней всего, объяснялась тем, что статуэтка была завернута в плотную бумагу и перевязана золотистой ленточкой. Итак, оставалось только, проявляя мудрое терпение, не отставать ни на шаг, а затем, дождавшись удобного случая, когда никто не будет мешать, догнать этого человека, заговорить с ним и изо всех сил постараться как можно доходчивее объяснить суть своего необычного дела. Хуже всего то, что пес Петров не знал, каким способом вернуть Классика в прежнее человеческое состояние. К кому обращаться за помощью? К Исиде, как апулеевский Луций, или в церковь, куда его, конечно, не пустят?.. Шансы на успех были призрачными, ибо нелегко бороться и с чужим непониманием и догматизмом, и с чужой судьбой. Но шансы эти и вовсе свелись бы к нулю, если оставаться пассивным и дать фарфоровому льву исчезнуть в огромном, многомиллионном городе.

Таким образом, оба они — преследуемый и преследователь — добрались до площади Толстого, и здесь случилось нечто ужасное и необъяснимое. Совершенно неожиданно, будто увле-

каемый сильным порывом осеннего ветра, незнакомец ринулся на мостовую, ловко лавируя между рядами автомобилей. На мгновение его худошавая фигура ярко высветилась автомобильными фарами, и тут же, словно потухнув, исчезла в людской толпе на противоположной стороне улицы. В отчаянии пес Петров бросился следом, но, к стыду своему, сразу вернулся назад, испугавшись угодить под колеса. Когда же, преодолев малодушные и улучив момент, он все же перебежал дорогу, то, конечно, незнакомца уже и след простыл... О, нет таких слов, чтобы описать нечеловеческие страдания несчастного пса Петрова! Кляня себя на чем свет стоит, он метался по всему Крещатику, заглядывая в каждую подворотню, пока окончательно не выбился из сил. С понурой головой и безвольно повисшим хвостом, чуть не плача, побрел он вверх по малолюдной Прорезной. Куда и зачем, он и сам теперь не знал. Горе его было неизбывным. «У-у-у-уу!» — мысленно выл он, и если бы небо, янтарно-бурое от городских огней, услышало этот жалобный вой, оно пролилось бы морем слез.

— У-у-у-уу! — взвыл уже в голос пес Петров, плетясь мимо Золотых Ворот. — У-у-у-уу! Я потерял тебя, о Классик! Я старая, безмозглая, облезлая дурачина! У-у-у-уу!..

Мутной наружности гражданин, одиноко сидевший на скамейке и куривший папиросу, наверное, решив, что обращаются к нему, медленно обернулся. Но, увидев только печально удаляющийся хвостатый зад какой-то бродячей собаки, в изумлении уставился на свою дымящуюся папиросу, потом достал из кармана металлическую коробочку и еще долго внюхивался в ее содержимое, недоуменно качая головой. «Ничего себе, глючит!» — тихо произнес он и расслабленно откинулся на спинку скамейки.

XI ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Долго ли, коротко, но в конце концов пес Петров очутился подле входа в небольшое полуподвальное кафе, напротив которого яркими огнями сиял Оперный театр. Сегодня там, на его просторной сцене, среди великолепных декораций, давали «Трубадура». Пес Петров, разумеется, знал всю партитуру этой

оперы наизусть, но сейчас ему было не до бельканто. Движимый скорее животным инстинктом, нежели обычным своим высоким сознанием, он присел неподалеку от выхода из кафе в надежде дождаться здесь хоть какой-нибудь захудалой корки хлеба, хоть старой косточки, ибо голод становился нестерпимым. Так он сидел, словно печальное чучело, покачиваясь на ветру и уставившись в одну точку, и, вероятно, еще долго оставался бы в таком положении, если бы слуха его не коснулся разговор нескольких молодых людей, которые были явно навеселе, — они только что с шумом выбрались из кафе на воздух. Распространяя вокруг себя винные пары и перебивая один другого, они принялись громко декламировать стихи, а вернее то, что они называли стихами. Едва кто-нибудь начинал, как тут же все остальные обрывали его на полуслове, тискали в объятиях и кричали: «Хватит! Хватит! Ты — гений!» Тут же следующий подхватывал эстафету, но и ему тоже не давали закончить: «И ты гений! Хватит! Хватит!..» Так продолжалось мучительно долго. «Тьфу! — с досадой подумал пес Петров. — Да разве ж это стихи? Тоже мне, гении!» В кольчугу правды облекаясь смело, он уже хотел было подойти к этой нелепой компании и огорошить ее чем-нибудь настоящим. Например, из Горация:

...Ты работал амфору,
И вертел ты, вертел колесо, а сработалась кружка.

Но поймут ли эти самовлюбленные молодчики тонкий намек истинного поэта?.. Нет, нет! Лучше прочитайте им «Балладу состязания в Блуа» бродяги Вийона — она сейчас наиболее точно отвечала настроению самого пса Петрова, такого же бесприютного бродяги:

Je meur de seuf en cousté la fontaine,
Chault comme feu, et tremble d'end a dent;
En mon païs suis en terre loingtaine;
Lez ung brasier frissonne tout ardent;
Nu comme ung ver, vestu en president,
Je ris en pleurs et attens sans espoir;
Confort reprens en triste desespoir;
Je m'esjouÿs et n'ay plaisir aucun;

Puissant je suis sans force et sans pouvoir,
Bien recueully, debouté de chascun¹.

Причем пес Петров мог без труда воспроизвести эту балладу не только на старофранцузском, но и в переводе Эренбурга, — настолько вольном, что у переводчика, помнится, из-за этого даже случился конфликт с папашей Хэмом в осажденном Мадриде. Можно было, конечно, вспомнить и перевод Кожевникова — более точный, но, как это нередко случается, менее поэтический... Ах, все это лишнее! Пес Петров представил, как, не давая этим молокососам опомниться, он продекламировал бы им «Старых мастеров» Эмиля Верхарна, — разумеется, в оригинале:

Dans les bouges fumeux où pendent des jambons,
Des boudins bruns, des chandelles et des vessies,
Des grappes de perdrix, des grappes de dindons,
D'énormes chapelets de volaille farcies
Tachant de leur chair rose un coin du plafond noir,
En cercle, autour des mets entassés sur la table,
Qui saignent, la fourchette au flanc dans un tranchoir,
Tous ceux que pesamment la goinfreterie attable,
Craesbeke, Brakenburgh, Teniers, Dusart, Brauwer,
Avec Steen...²

¹ От жажды умираю над ручьем;
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя;
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная;
Я знаю все, я ничего не знаю;
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет;
Я сомневаюсь в явном, верю чуду;
Нагой как червь, пышней я всех господ;
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Перевод со старофранц. И. Эренбурга.

² В столовой, где сквозь дым ряды окороков,
Колбасы бурые и медные селедки,
И гроздья рябчиков, и гроздья индюков,
И жирных кашлунов чудовищные четки,
Алея, с черного свисают потолка.
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы
И кровь и сок текут из каждого куска, —
сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры:
Дюссар, и Бракенбург, и Тенирс, и Крассбек,
И сам пьянчуга Стен...

Перевод с франц. Г. Шенгели.

Но тут в пасти пса Петрова начала обильно выделяться слюна, голова закружилась, и от голода, а также от обиды за поруганную Поэзию он едва не разрыдался. «Боже мой! — мысленно схватился он лапами за голову. — Какой упадок! Какой провинциализм! О, покажите мне то срамное место, откуда берутся подобные поэты? Где эта *vagina poetum*?¹ И где истинный романтизм?! Где чувство собственного достоинства и преклонение перед Высшей Поэзией — Божественным Идеалом, к которому в неизбывной надежде должен стремиться дух каждого поэта? Где, наконец, благодарность за краткий миг прикосновения этого легчайшего дуновения, которое исходит от Абсолюта — одного только и могущего внушить нам нечто поэтическое? Где все это, спрашиваю я вас, бестолочи?! Вместо всего этого — шумливая гордыня, глупейший нарциссизм и все иссушающая жажда самоутверждения — вопреки даже самой Природе... “Гений! Гений!..” Да как смеете вы бросаться такими словами? Что знаете вы, невежды, о Поэзии? Ладно, я уж не говорю о вещах технических: о просодии вообще и о ямбах и хорях или о дантовых терцинах и спенсеровой строфе в частности. Тем более, готов я умолчать о ропалическом стихе, о котором вы, само собой разумеется, никогда не слыхали. Признайтесь честно: ведь не слыхали! И в глаза ничего подобного не видели! Ну так вот вам из “Илиады” Гомера, слепого и всевидящего:

Ω
μακαρ
Ἄτρείδῃ,
μοιρηγυνὲς,
ὀλβιοδαίμων².

Черт с ними, с ропалическими стихами! Я спрашиваю вас: где ваш поэтический дух? Где вдохновение? Где мороз по шкуре? Ах, Боже мой! Да загляните хотя бы в книгу старика Лонгина... Но уже по вашим глазам видно, что кроме как в бутылку вы никуда больше и не заглядывали. А надо бы ткнуть вас носом. Надо-надо! И в “Поэтику” Аристотеля, и в “Искусство поэзии”

¹ Лоно, рождающее поэтов (*лат.*).

² «О Агамемнон, счастливым родившийся, смертный блаженный!» (*греч.*). — Гомер, *Илиада*, III, 182. Перевод Н. Гнедича.

Горация. Вы думаете, будто открыли новые миры? Гав-гав! Как бы не так! Почитали бы “О поэтическом искусстве” Марка Иеронима Види или того же Рене ле Боссю (очевидно, пес Петров вспомнил это французское имя, в связи с популярным в конце XVIII столетия “Трактатом об эпической поэзии”), или хотя бы “Искусство английской поэзии” Эдварда Бисше... Ну хорошо, черт с вами! — мысленно согласился пес Петров. — Конечно, вы можете не знать, кто написал книгу “Поэтическая воронка для вливания немецкого стихотворческого и рифмотворческого искусства всего за 6 часов, в 3-х частях”, изданную в Нюрнберге в 1647–1653 годах. Да будет вам известно, что написал ее Харсдёрфер. Вы даже можете не знать трактата “Парини, или О славе”, сочиненного бесподобным Джакомо Леопарди, который устами великого Джузеппе Парини наставляет одного из своих учеников, избравшего путь литературного творчества. Так и быть, здесь можно сделать скидку на некоторую элитарность подобных текстов, и незнание их сегодня вполне простительно. Но как можно простить того, кто слыхом не слыхивал о знаменитом “Gradus ad Parnassum”?..¹ Впрочем, вы поразбиваете себе носы об эту “ступень”! Ибо взойти на нее могут лишь немногие избранные — счастливицы, окропленные живительными брызгами Ольмиона и Иппокрены, настоящие герметисты, ибо Поэзия — сродни алхимии. Она буквально и есть не что иное, как Деланье, с помощью которого можно проричдать будущее, летать в эмпиреях или спускаться в царство мертвых, умиротворять бури и прекращать чуму!»

С чувством глубочайшего презрения пес Петров посмотрел на кучку доморощенных рифмоплетов, которые, не обращая на него внимания, продолжали оглушать пространство своими беспомощными стишатами и восторгаться друг другом, и окончательно понял, что от них не то что путной строчки, но даже черствой корки хлеба не дождешься, а посему больше здесь делать нечего. «Какая все же горькая правда: плохие поэты — плохие времена!» В ту самую минуту, когда он повернулся к виновникам плохих времен задом, намереваясь покинуть сие скорбное место, слух его из шумного потока словесной чепухи выудил одно слово, и слово это было «Классик». «Ах, вот как! Они себя еще и классиками мнят!» — гневно подумал пес Петров; он уже готов был броситься на самозванцев и искушать их до полусмерти, но вовремя остановился.

¹ «Ступень к Парнасу» (лат.).

— Да что вы все заладили: Классик да Классик! — воскликнул один из самозванных поэтов, чернявый и красовитый. — Если уж на то пошло, мы тоже классики, черт подери! Вот вы, дорогой Впетлин, вы тут самый опытный и эрудированный, скажите же им: разве мы чем-то хуже? Менее талантливы?

Тот, кого назвали Впетлиным, отвечал не сразу. Он смотрел куда-то в летящий туман поверх голов своих товарищей, в руке его, будто вымпел, развевался длинный носовой платок. Впетлин уже хотел приложить его к породистому носу, но почему-то передумал.

— Кто ушел, тот ушел, — веско произнес он простуженным голосом. — Мы же те, кто остался... Пока остался.

— Недурно сказано! — обрадовался чернявый и красовитый.

— Может, сказано и не дурно, Лазарь, — возразил третий, маленький, прищурливый тип в шерстяном пуловере. — Я даже готов допустить, что сказано гениально, но...

«Опять это *гениально!*» — пробурчал себе под нос пес Петров, но тут же снова наострил уши.

— ...но мне не очень нравится это «пока», о котором пророчит наш дорогой друг Впетлин. — Прищурливый тип с приятностью поглаживал свою густую бороду, и по его тону никак нельзя было понять: шутит он или говорит серьезно. — Единственное, чего нельзя отрицать, так это того, что странным образом стали исчезать люди.

— Вот-вот! — подхватил еще один, тоже бородатый, с внешностью отдаленно напоминающей толстовца, только переодетого в короткое серое пальто «в елочку». — Шикарная фраза! Придумкин, подари.

— Какая еще фраза? — не понял Придумкин, рука его продолжала машинально поглаживать бороду.

— Ну, эта: «Единственное, чего нельзя отрицать, так это того, что странным образом стали исчезать люди». Прекрасное начало для какого-нибудь романа. Разве нет? Только я бы ее слегка укоротил и отредактировал.

— Знаешь что, старина, — отвечал Придумкин. — Если бы тебя звали не Гением Вишнуевским, а, скажем, Анной Редклиф, то я тебе эту фразу, конечно же, подарил бы за бутылку портвейна. Но поскольку «готика» не твое призвание, то ничего ты

не получишь. А вот кому я, пожалуй, и преподнес бы ее в дар за стакан мадеры, так это Иванову. Но, увы, он тоже исчез — и все это меня начинает изрядно беспокоить.

— И меня тоже! — горячо поддержал его Гений Вишнуевский, сразу позабывший о вожделенной фразе. — Классик исчез, Иванов исчез! А теперь вот еще эта непонятная история с Гермогеновым, если верить художнику нашему, Корбюзьевичу.

— Да вы что, в самом деле! — рассердился красовитый Лазарь. — Музыкантов не знаете? Загулял ваш Гермогенов с какими-нибудь девками зазорными, вот и вся история.

— А с каких это пор, Лазарь, ты стал говорить «ваш Гермогенов»? — спросил Гений Вишнуевский. — Что, стоило ему вляпаться, и ты уже отрещиваешься?

— Ничего я не отрещиваюсь! Я хочу лишь сказать, что от страха вы все окончательно свихнулись. Наслушались бредней Корбюзьевича... Лучше бы спросили у него, сколько «косяков» он сегодня выкурил?

При этих словах все посмотрели на молчаливого человека с большой картиной под мышкой. Картина была обернута в некоторые местах старым тряпьем. Человек, который, очевидно, и был художником Корбюзьевичем, виновато потупил взор.

— Ну, что я говорю! — саркастично воскликнул Лазарь. — Художники — они все наркоманы. Они вам еще не то расскажут. Вот и наш Корбюзьевич туда же: мистические крысы-убийцы!.. Что там еще?.. Ах да! Еще эта полоумная баба Кварта — соседка, которая, оказывается, не просто соседка, а королева тех самых мистических крыс. А супруг ее, старый склеротик, дед Какофоний, стало быть, с нею заодно. И вот все скопом они набрасываются на бедняжку Гермогенова и сжирают его вместе с его гениальной музыкой. Ха-ха-ха! Кому рассказать... Нет, я еще могу согласиться с тем, что баба Кварта порядочная крыса — но, друзья мои, только в переносном смысле, только в переносном! Иначе все это — ничем не оправданный кретинизм.

— Кретинизм не нуждается в оправдании, — резонно возразил Гений Вишнуевский.

— Постойте, друзья мои, — вмешался Придумкин. — Давайте оставим эмоции и обратимся к фактам. А они таковы: приходит Корбюзьевич и сообщает, что Гермогенов исчез, и не просто исчез, но был заживо съеден крысами, которые живут в его доме... Погоди, Лазарь, я еще не закончил! Итак, съеден крысами.

И не просто крысами, а бандой грызунов, которую возглавляет некая, скажем, колдовская сила. И не просто сила, а соседка баба Кварта. И не просто баба Кварта, которую мы все знаем и видели тысячу раз, будь она неладна, а королева крыс. Так?

Все слушали, как завороженные, покачиваясь в разные стороны.

— Так, — продолжал Придумкин. — Безусловно, как поэт, я не могу не отметить занимательности и даже эффектности истории, которую мы услышали из уст нашего, обычно немногословного, Корбюзьевича. И, клянусь полным собранием сочинений Лавкрафта, будь Корбюзьевич не художником, а писателем, фразу, которой так домогался Гений Вишнуевский и которая уже не понадобится Иванову, по причине его полного исчезновения, эту фразу я с легким сердцем подарил бы ему по праву, пока и он тоже не исчез при загадочных обстоятельствах и, слава Богу, пока он стоит тут, перед нами, что называется, во плоти.

— Черт возьми, Придумкин, ты можешь говорить коротко и по существу? — сердито перебил оратора Лазарь.

— Ну разумеется, старинушка. Я и говорю по существу.

— Пусть говорит. Может, мы видим его в последний раз, — скорбно сказал Впетлин и коротко высморкался в свой длинный платок.

— Так вот, — Придумкин погладил бороду. — В отличие от тебя, Флюидов (тут Лазарь в раздражении закатил глаза), и от тебя, Вишнуевский, и даже от вас, уважаемый корректор (в ответ Впетлин неопределенно высморкался), не говоря уж о художнике Корбюзьевиче, я — человек науки, точнее говоря, представитель научного практицизма, и это вам всем хорошо известно. Ни для кого не секрет, кто я такой и где работаю.

Корректор Впетлин снова высморкался, на этот раз вполне утвердительно. «Интересно, он когда-нибудь стирает свой носовой платок?» — подумал пес Петров, брезгливо воротя морду.

— Да, с крысами. Именно с крысами я и работаю каждый божий день.

— Резать крыс и работать с крысами — не одно и то же, — не преминул вставить Лазарь Флюидов.

— Однако следует сразу оговориться, — невозмутимо продолжал Придумкин, — что эти подопытные существа совершенно безобидны и, тем самым, абсолютно отличны от своих диких и злобных сородичей, которые населяют подвалы и чердаки нашего города.

— Тем хуже для тебя, убийца! — отрезал Лазарь Флюидов так жестко, что корректор Впетлин крякнул.

Придумкин же хладнокровно продолжал:

— Вам хорошо известно, что в Институте онкологии трудятся не убийцы, а ученые. И если кто-нибудь из вас придумал иные способы изучения онкологических заболеваний, более безобидные и дешевые, то милости просим к нам в лабораторию.

— Ну, будет тебе обижаться, Придумкин, — примирительным тоном промямлил Гений Вишнуевский и сильно качнулся вперед. — Скажи лучше, к чему ты клонишь.

— Я не клоню, а ответственно заявляю, что никакой бабе Кварте не под силу быть крысой, если она уже является человеком, пусть даже и мерзопакостным, ни, тем более, королевой крыс, ибо существа эти (повторяю, я говорю о серых представителях), своенравные и самодостаточные, имеют свою собственную, сугубо крысиную, иерархию, которая стоит в оппозиции ко всему человеческому, включая котов...

— Погоди! — удивился Гений Вишнуевский, несколько трезвея. — Если я тебя правильно понял, Придумкин, ко всему человеческому ты относишь и котов?

— Совершенно верно, старинушка! Коты, если можно так выразиться, движутся в русле человеческой эволюции, а крысы — нет; они полностью автономны, хотя и присутствуют всегда рядом.

Гений Вишнуевский недоверчиво хмыкнул.

— Так вот, — продолжал Придумкин, снова поглаживая бороду и так шурясь на художника Корбюзьевича, словно прямо сейчас собирался распять его на операционном столе, закрепив кожаными ремешками все четыре лапки его, и полоснуть вдоль по тельцу стальным скальпелем. — Все это совершенно очевидно, если жить по законам научного мировоззрения. А именно по таким законам я и живу, тем более находясь на своем рабочем месте. И если бы это было иначе, если бы крысы могли превращаться в людей, а люди — в крыс, то мне следовало бы согласиться с абсолютно абсурдным умозаключением, что зарплату от самого гуманного государства в мире я получаю за циничные и антигуманные эксперименты над...

— Поймите, — перебил Придумкина Гений Вишнуевский, — у меня все время такое впечатление, что вон тот приبلудный пес нас подслушивает.

— Вот видишь, Корбюзьевич, что ты наделал? — укоризненно сказал Лазарь Флюидов. — Теперь нам мерещатся всякие глупости.

— У меня у самого дома собака, — компетентно заявил Генний Вишнуевский. — Говорю вам, подслушивает.

— Вы разрешите мне закончить? — преувеличенно вежливо поинтересовался Придумкин.

— Дайте же ему закончить!

— Спасибо. Итак, друзья мои, рассказ Корбюзьевича, безусловно, прекрасен. Но прекрасен он исключительно с эстетической точки зрения, то есть только в системе ненаучного мировоззрения. Он не что иное, как метафора, с помощью которой мы, как и тысячу лет назад, постигаем унылую реальность. А точнее, пытаемся найти в ней хоть какой-то смысл. Я, между прочим, в лаборатории, когда режу крыс, думаю о Боге. И это — тот же поиск смысла. Так что, красивая метафора...

— Вот тут я с тобой полностью согласен! — откликнулся Лазарь Флюидов. — Но все равно можно было и лаконичнее.

— Лаконичнее нельзя, — отрезал Придумкин.

— Я знал, что никто мне не поверит, — впервые подал голос и сам художник Корбюзьевич, и было заметно, как сильно он волнуется. — Да и Гермогенов предупреждал... Метафора?! Чего бы я не отдал за то, чтобы все это было только метафорой...

Кто-то звонко икнул. И только сейчас пес Петров обратил внимание еще на одного поэта, маленького, лысого и в стельку пьяного человечка, который за все это время не проронил ни слова, но, похоже, вовсе не потому, что был здесь единственным настоящим поэтом, а потому, что, пророни он это слово, то сразу бы упал следом за ним.

— Думайте что угодно. Но все, что я рассказал, правда. — И неожиданно художник Корбюзьевич сорвался на крик: — Страшная правда!

Крик получился надрывный, девичий какой-то.

Лазарь посмотрел на него с нескрываемым сожалением, а корректор Впетлин — как на человека, последний час которого только что пробил, и ничего изменить уже нельзя. Некоторое время все молчали, о чем-то напряженно думая.

— Хватит про крыс, — нарушил молчание Генний Вишнуевский. — Меня уже тошнит. Непонятно только одно: куда и зачем исчезают люди? А?.. В этом что-то есть, что-то необъяснимое, —

и он вопросительно посмотрел на лысину маленького пьяного человечка, которого по-прежнему сильно штормило; покачнувшись, он с трудом приподнял тяжелую голову и тут же ее снова опустил, но пес Петров успел заметить, как в его больших глазах с по-детски длинными ресницами сверкнули слезы.

— Нет, во всем этом точно что-то есть, — повторил Гений Вишнуевский, отворачиваясь от маленького человечка.

— Да что ж тут может быть? — с досадой в голосе воскликнул Лазарь. — Впетлин, ну хоть вы скажите этим дуракам! Объясните же им, что никто никуда не исчезает! Все это небылицы и полный маразм, черт бы нас всех побрал!

В ответ корректор Впетлин звонко причмокнул губами. В желтушном свете фонарей он был похож на существо, если и имеющее отношение к человеческим особям, то очень уж отдаленное.

— Скажу как человек, привыкший жить в реальном мире, — произнес он, и смысл его слов настолько не вязался с его видом в эту минуту, что способен был испугать кого угодно. — А в реальном мире существует лишь две вещи, которые невозможно постичь: жизнь и смерть.

— Вы хотите сказать, что наши друзья не просто исчезли, а... умерли? — ужаснулся Гений Вишнуевский с какой-то поспешной готовностью.

Лоб корректора Впетлина покрылся испариной:

— Не будем забегать вперед. О смерти наших товарищей нам пока ничего не известно.

— Но и о жизни наших товарищей тоже ничего неизвестно! — не унимался Гений Вишнуевский.

— Кое-что все же известно.

— Как, и вы молчали?

— Постойте, вы кого имеете в виду? Уж не Классика ли? — спросил художник Корбюзьевич.

— Опять этот Классик! — обиделся Лазарь. — Ну почему всегда Классик?

— Потому что Классик — всегда Классик, старинушка, — вкрадчиво пояснил Придумкин.

— Да ну тебя!

— А что тебя так больно ранит? Не ты ли был ему другом? Не ты ли восхищался им, цитировал на каждом углу?

— Ну я! — подбоченился Лазарь Флюидов. — Но при этом я не делал из него идола, как некоторые. И, между прочим, всегда честно говорил ему в глаза, что пора бы спуститься на землю и все-таки обзавестись паспортом. То же самое ему и Впетлин говорил, и даже много чаще меня. Талант талантом, но должна же быть и ответственность.

— Ого! — восхищенно воскликнул Придумкин.

— Да, да! За свои поступки и образ мыслей надо отвечать, — распался Лазарь. — Так что я не удивлюсь, если окажется, что наш великий и загадочный Классик сейчас следует не каким-то там сакральным путем, который нам, дескать, и не снился, в чем нас силится убедить иные, слишком экзальтированные апологеты, а бредет себе пыльной проселочной дорогой где-нибудь за сто первым километром, питаясь украденной с колхозных полей капустой и ночуя в стогах сена. Или скрывается на каком-нибудь пыльном чердаке от представителей закона. И это я могу понять.

— Эх, старинушка, если бы я тебя хорошо не знал, то подумал бы, что ты и есть самый настоящий представитель закона.

— Ты на что это намекаешь?!

— На поэтизацию паспортного режима...

— Знаешь, Придумкин, я не стану терпеть твои грязные намеки!

— Да заткнитесь же вы оба! — разозлился Гений Вишнуевский. — Дайте сказать Впетлину. Ему что-то известно.

Корректор Впетлин сунул свой платок в карман пальто.

— Собственно, речь идет об Иванове, — ничего не выражающим тоном сказал он. — Два или три раза его видели...

— Видели?

— Его видели с какой-то девицей.

— Где его видели? Кто? — поинтересовался Гений Вишнуевский.

— Вот так-то! — торжествующе воскликнул Лазарь. — С девицей! Все слышали?

— А что тут плохого? — спросил Гений Вишнуевский, поддерживая под локоть маленького лысого молчуна, короткие ножки которого выписывали замысловатые кренделя в поисках равновесия. — Слава Богу, что с девицей, а не с гранитным истуканом или пластиковой куклой.

— Не поминайте Бога всуе, — успел вставить Придумкин.

— Напрасно иронизируете, — неожиданно спокойно возразил Флюидов. — Возможно, и жены Иванова хороши, и его новая пассия так же недурна во всех отношениях — я ее не видел, не знаю, и говорить ничего не буду. Но зато я точно знаю, что пока еще не встречал ни одной девицы, которая была бы достойна памятника...

— Хватит! Хватит! Мы уже обо всем этом наслышаны. От твоих памятников тошнит уже не меньше, чем от тех крыс.

— Только без хамства! — шляхетно вспыхнул Лазарь.

— Хорошо, Флюидов, без хамства. Ты тут заочно учил Класика ответственности. Так вот, надеюсь, когда-нибудь ты все же получишь свою гранитную бабу на постаменте, как награду за верность идеалу. А заодно — и штамп в паспорт. В графу «Семейное положение». Свадебку отгуляем, побухаем во здравие молодых, а потом родятся у вас маленькие истуканчики — флюидята минеральные. Будешь шлифовать их...

— Идиот! — огрызнулся Лазарь и, смерив Геня Вишнуевского презрительным взглядом, обратился к лысине маленького молчуна, который терся ею о плечо последнего. — Лучше посмотрите на Сашу Милого. Вот кто ведет себя в высшей степени мудро. И вздор всякий не мелет.

— А ты его и не спрашивал, — запальчиво сказал Геня Вишнуевский и тут же, хлопнув молчуна по плечу, спросил у него: — Ну-ка, Шура, брякни нам что-нибудь! Мы хотим знать твое мнение.

— Вы... вы...

Так и не выдавив из себя ни слова, Саша Милый уткнулся лицом в широкую грудь Геня Вишнуевского и горько разрыдался. Все почувствовали себя неловко.

— Ну, ладно, — согласился Лазарь Флюидов. — Натура чувствительная, лучше не трогать. Но вы все! Вы-то всегда были людьми трезвомыслящими...

— Старинушка! Какое трезвомыслие после ящика портвейна? — изумился Придумкин. — Вот я, например...

Он не успел договорить, потому что Саша Милый резким движением оторвался от груди Геня Вишнуевского и, хватая всех за руки, со страстью обличителя стал кричать:

— Вы!.. Не любите!.. Нет! Нет!.. Это вам не то!.. Не любите!.. Сердца укушены! Крысами изгрызены сердца!.. Огрызки!.. Недолобы!..

Он отпрянул в сторону, словно боялся, что друзья сейчас вцепятся зубами ему в горло.

— Огрызки! — повторил он и побежал вдоль домов, размахивая руками.

— Да, сегодня не столь впечатляюще, — печально заметил Придумкин.

— Ладно, пойду догоню его, — вздохнул Гений Вишнуевский. — Не то точно куда-нибудь влипнет.

И он побежал вдогонку за Сашей Милым.

Оставшись вчетвером, поэты еще некоторое время молча переминались с ноги на ногу, пока Придумкина не озарила идея сейчас же отправиться к «съеденному крысами» Гермогенову и уже на месте во всем разобраться раз и навсегда. Но в ответ художник Корбюзьевич решительно заявил, что он туда больше не пойдет — никогда и ни за какие богатства мира. Сухо раскладываясь, он ушел вместе со своей картиной, которую пес Петров, к своему сожалению, так и не успел рассмотреть и оценить, как она того заслуживала.

Впетлин, Придумкин и Лазарь Флюидов побросали окурки и в тягостном молчании погрузились в подполье кафе, откуда еще полчаса назад вышли такими легкими и гениальными.

Из всего вышеприведенного разговора, бестолкового и почему-то часто переходящего в перепалку, пес Петров ничего толком не понял, ибо слышал лишь его обрывки. Крепко озадаченный, он поплелся дальше, сердито ворча себе под нос: «Какие-то сумасшедшие!»

Он постепенно разгонял шаг и вскоре уже мелкой трусцой следовал вниз по Андреевскому спуску. Фонари не горели, и было так тихо, что цоканье когтей по кирпичному тротуару оглушало всю улицу. Откуда-то сверху доносились слабые звуки расстроенного фортепьяно: кто-то одним пальцем наигрывал «Мурку». Может, показалось?.. На минуту он остановился, навострив правое ухо, по которому, слава Богу, в отличие от левого, не успел съездить своим железным кулаком боцман Хробак. О, как же захотелось — до спазмов в горле, до дрожи в хвосте, — сейчас же, немедленно, услышать прелюдию Шопена из какого-нибудь одиноко светящегося окна!.. Или романс Шуберта... Пес Петров представил себе кремовые занавески,

лампу под зеленым абажуром, старый белый «Bösendorfer»¹ и свои прекрасные лапы на пожелтевших клавишах. «Ах, поручик, как чудно вы играете!..» И вот уже сами закрылись глаза, и в невыразимом блаженстве увидел он и даже услышал, как восхитительно, как вдохновенно поет Заяц шубертовскую «Гретхен за прялкой». На ней вечернее платье с глубоким декольте, алмазное ожерелье, и сама услада льется из ее уст... Пение внезапно оборвалось. Где-то неподалеку отчаянно дрались коты. В иное время и в ином месте их истошные вопли оскорбили бы абсолютный слух пса Петрова, и тогда драчунов следовало бы разогнать, но сейчас он только снисходительно усмехнулся. Он потянул воздух ноздрями, а затем метнулся во двор дома № 34, где, полный праведного презрения к ханжеству и снобизму, принялся исследовать внушительный ряд мусорных контейнеров. Конечно, на любимую котлету «по-киевски» с «пюрешечкой» (то есть с картофельным пюре) рассчитывать не приходилось, но и эти не очень свежие объедки, — вероятно, со скромного стола опального писателя Тютюнника, — были вполне съедобны. Пес Петров поглотил их с аппетитом поистине духовно здоровой собаки, после чего, наслаждаясь процессом пищеварения, предался размышлениям о евгенике и френологии. «Интересно, что сказал бы о моих умственных способностях доктор Шпурцгейм? Наверняка, свихнулся бы!» Справив нужду под молодым, почти полностью облетевшим грабом и попутно утвердившись в реакционности вышеупомянутых наук, он покинул гостеприимный двор и по узкой тропинке, начало которой пряталось у подножия старой голубятни, взобрался на Флоровскую гору, обитель тишины и покоя. Пройдя подальше от голубятни, чтобы не слышать монотонного воркования ее обитателей, пес Петров остановился у густого кустарника. Здесь он и заночевал, на куче сухих листьев — прекрасных останках осени, — собранных кем-то, очевидно, для кремации.

Развевая туман, ветер угомонился. В ночном небе мерцали звезды. С наслаждением вытянув натруженные за день лапы, пес Петров разлегался под кустом бузины, головой к Андреевской церкви, и некоторое время сосредоточенно прослушивал эфир: нет ли каких-нибудь сигналов с Сириуса или, на худой конец, с

¹ Рояль «Бёсендорфер» (нем.).

Луны? «Э-хе-хе!..» — С грустью он вспомнил, что в детстве мечтал стать космонавтом. Как там пелось в песне: «На пыльных дорогах далеких планет останутся наши следы». Все тогда рвались в космос. Такое было время. «Долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей!..» Гагарин, Петя Рыжик, Незнайка на Луне... Столько героев! Да, такое уж было время — героическое, романтическое, не то что теперь... Где-то неподалеку каркнувшая ворона вернула пса Петрова из космоса на грешную Землю, а точнее, на святую Флоровскую гору. Ну и ладно! В сущности, далеко не худшее место в нашем мире, подумал он. Действительно, в каком-то смысле гора эта располагалась между небом и землей. Немного ниже, слева, вырисовывался силуэт дома с остроконечной башней-эркером — в холодном блеске осенней ночи он был похож то ли на космический корабль в ожидании утреннего старта, то ли на зачарованный замок в ожидании возвращения своего короля. А еще ниже, под самой горой, поскрипывая форточками, дремал Андреевский спуск. Пес Петров бросил сонный взгляд на Поскотину, неясные очертания которой едва виднелись в свете звезд, — славное место, где в погожий день благополучные псы выгуливают своих хозяев, — глубоко вздохнул и, прикрыв нос теплым хвостом, сразу уснул.

А пока он спал крепким сном праведника, у дома №13 копошились какие-то подозрительные личности. С тихим хлопьям они макали большие малярные кисти в жестяное ведро с черной краской и на цоколе этого двухэтажного кирпичного дома вымалевывали огромные буквы, то и дело тревожно оглядываясь и изъясняясь между собой лишь знаками. Было их трое — три мутные тени, под покровом ночи лишенные индивидуальности и половых признаков.

XII

ЯНТАРНАЯ ЛИХОРАДКА НА АНДРЕЕВСКОМ СПУСКЕ

Нередко псу Петрову снились кошмары. Например: ночь, ураганный ветер, боцман Хробак, свесившись за борт корабля, держит его на вытянутой руке за хвост над мерцающим далеко внизу городом; «Отпускаю тебя на волю!» — слышен голос чер-

ного Альгакобиллы; «Не хочу на волю! Не хочу!..» — позорно верещит холодеющий пес Петров. «Хочешь! Хочешь!» — и проклятый Хробак разжимает пальцы... А чего стоило бесконечное вылизывание языком покрытой клейкой слизью корабельной палубы?! И тогда в ужасе он вскакивал на все четыре лапы, ошалело отгавкиваясь во все стороны, с гнусным привкусом в пасти... Снились и другие, не менее жуткие кошмары. Но в этот раз, слава Богу, ночь выдалась спокойной, если не считать явления мадам Блаватской. Надо отдать ей должное, она сразу начала с комплимента, заявив, что пес Петров является отпрыском древнейшего царского рода, который несколько миллионов лет назад правил на Сириусе; у его предков-царей были голубые глаза, и шерсть отливала серебром, поскольку серебро, а не железо, составляло основу их крови. Что ж, такая родословная многое проясняла! Уверенной рукою Елена Петровна разворачивала перед взором пса Петрова на ультрамариновом небосводе полный астрологический септемер во всех его многообразных духовно-энергетических связях, из чего можно было заключить, что учение о карме распространяется на жизнь планет, равно как и на всякую собачью жизнь. И объединяет их одна цель — утончение живой природы и создание тонких тел. Единственно, с чем не согласился пес Петров, так это с тем, что Луна якобы почти полностью истощилась, излив на Землю все свои жизненные и духовные силы. Ах, если бы Елена Петровна (не в обиду ей будь сказано) была собакой, ни за что на свете не утверждала бы она подобную ересь! Но, несмотря на этот досадный казус с ночным светилом, на которое в разные времена, по меткому замечанию пса Петрова, «каких только собак не вешали», и невзирая на тщетные усилия мадам Блаватской опрокинуть христианскую доктрину, в остальном — беседа прошла в сердечной и дружественной атмосфере. Да и не велика заслуга — спорить с женщиной, да еще и снящейся, и, стало быть, абсолютно не жизнеспособной.

Наутро пес Петров проснулся весь в молочном тумане, так что долго не мог сообразить, где находится. А сообразив, наконец, что его лохматое тело всю ночь согревало одну из пядей Флоровской горы, он покинул листовое ложе под кустарниковым балдахинном и, совершив несколько дыхательных упражнений, которые выразились в затяжных зевках во всю пасть, принялся за свой туалет, выгрызая зубами еще сонных блох и при-

говаривая: «Дурачье! Кто рано встает, тому Бог дает». К немалому своему изумлению он обнаружил у себя на хвосте несколько прелестных серебряных шерстинок, и они ему понравились. «Похоже, Елена Петровна была права: в моей крови еще осталось немного царского серебра! — не без удовольствия подумал пес Петров. — Но и железом не следует пренебрегать. Так что отнесемся к нему с должным почтением...» Затем — о, что за наслаждение! — вывалявшись в прохладной утренней росе, попутно вознося благодарности ночной Луне за этот ее щедрый дар, он вздохматил освеженную шерсть и бодро отправился исследовать гору.

Зажатая между Андреевским спуском и Воздвиженской улицей, Флоровская гора состояла из двух разной высоты холмов, южного и северного, волнообразно перетекающих друг в друга. Южный — тот, что поменьше, почти голый — скудная трава с проплешинами да редкий кустарник, — уже успел сослужить добрую службу псу Петрову, став местом его скромного ночлега, а другой, северный — раза в полтора выше и шире, имел на вершине своей небольшую рощу, уже тронутую багрянцем и золотом. Следуя тропой, круто сбегавшей в миниатюрную долину и так же круто возносившейся вверх, и таким образом соединявшей оба холма, пес Петров совершил по ней спуск, затем — подъем и, уже вступая в рощу, полную осенней тишины и грусти, невольно, в каком-то тревожном предчувствии вспомнил две первые терцины «Божественной комедии», открывающие дорогу в Ад. Впрочем, они также сулили и встречу с великим Вергилием, думал пес Петров, представляя, как из-под сени сумрачных деревьев к нему выходит Классик: «Какой-то муж явился предо мной, от долгого безмолвья, словно томный»¹.

Пройдя еще немного, он оказался на заброшенном старинном кладбище. В зарослях чертополоха виднелись полузатоптанные холмики, а то и вовсе пустые ямы с обвалившимися краями. Выщербленные надписи на расколотых могильных плитах, поросшие мхом развалины склепов, покосившиеся кресты и сломанные и изъеденные ржавчиной ограды торчали тут и там. Потрясенный до глубины души, пес Петров печально бродил по этому умирающему миру мертвых (в котором, похоже,

¹ Данте, «Божественная комедия», «Ад», Песнь первая. — Перевод М. Лозинского.

дела обстояли не лучше, чем в мире живых), пока не наткнулся на довольно неплохо сохранившийся склеп. Он был сложен из массивных, хорошо отшлифованных глыб черного лабрадорита. Крепкая металлическая решетка с увесистым навесным замком закрывала вход. Подталкиваемый любопытством, пес Петров просунул голову между прутьев. Изнутри пахло сыростью и сладковатым запахом прелых листьев. Но вместо ожидаемого величественного саркофага, в котором полагалось бы поживать вечным сном какому-нибудь знатному покойнику, в склепе лежали сваленные в кучу метлы и лопаты, а рядом — одна в другой, плетенные из ивняка большие корзины — всего штук пять-шесть. «‘T was far too strange and wonderful for sadness¹... — вспомнились псу Петрову дивные стихи Китса. — Уж не этими ли самыми метлами выметали отсюда прах несчастного, не в этих ли корзинах выносили?»

На Андреевский спуск он бежал той же тропой, мимо голубятни. Потревоженная его появлением, избушка эта на четырех деревянных сваях, с покатою крышей, захлопала множеством голубиных крыльев, так что, казалось, сейчас взлетит над горой...

Очувшись на мостовой, вымощенной грубо отесанным булыжником, пес Петров для начала решил отправиться вниз, на Подол, и поискать там чего-нибудь на завтрак. Шансы на успех представлялись немалыми. Один Житный рынок чего стоит с его мясными рядами! «Может, перепадет телячьих обрезков», — думал он, сглатывая слюну... В этот ранний час Андреевский спуск был безлюден, и только возле дома №13, обветшалого двухэтажного особняка с боковой пристройкой в виде застекленной деревянной веранды, собралось несколько людей. Выглядели они довольно официально — в плащах туманного покроя и при галстуках неопределенной расцветки. Короче, обычная чиновничья серость. «В сумме четверка, — взглянув на номер особняка, подумал пес Петров, который считал себя неплохим нумерологом. — Число Урана. Хорошее число: с одной стороны — упрямство и своенравие, а с другой — стремление к реформам, гуманизм, внутренняя независимость, нестандартный образ жизни и стремление к духовности...» Рассуждая таким образом, пес Петров подошел ближе и, к своему изумлению, уви-

¹ «Это было слишком странно и удивительно, чтобы быть печальным...» (англ.). — Джон Китс, «Эндимион» (перевод И. Гончаровой).

дел еще два дома под таким же номером 13. Это были типичные белостенные одноэтажные мазанки прошлого века, только не под соломенными, а под жестяными кровлями. Над одной из них раскинула голые ветви столетняя липа, росшая прямо у входной двери. Убогие домишки, казалось, от дряхлости в любую минуту могли завалиться. «Три тринадцатых номера!» — такое пес Петров видел впервые. Это, конечно, в корне меняло дело. Теперь речь шла уже о трех четверках, которые в сумме давали число двенадцать, что с точки зрения нумерологии соответствовало уже тройке. Следовательно, этим скромным жилищным фондом управлял не Уран, а Юпитер, который сообщал ему оптимизм, одарял любовью и отводил прочь сложные ситуации и конфликты. И вообще, благодаря Юпитеру, место сие должно притягивать к себе как магнит. И уж не по этой ли причине возле одного из тринадцатых номеров собрались все эти люди, вопреки даже своему абсолютно антихудожественному виду? Не о влиянии ли Юпитера дискутируют они столь шумно? Пес Петров готов был поклясться, что так оно и есть, тем более что люди оживленно размахивали руками и показывали пальцами то на дом, то на небо, то друг на друга.

Еще немного приблизившись, но так, чтобы не слишком обращать на себя внимание, он увидел прямо на высоком цоколе дома, под самыми окнами первого этажа, намалеванную едкой черной краской корявую надпись:

«ЗДЕСЬ ЖИЛ БУЛГАКОВ»

— Так пошлите за дворником! Пусть уберет это безобразие! Сотрет, соскоблит, замажет — мне все равно! — тоном, не терпящим возражений, приказывал один из собравшихся — солидный гражданин в дорогом пальто цвета гусяного помета и в такого же цвета фетровой шляпе, по виду — большой начальник. — Кстати, почему на месте происшествия не дворник, а я? Или мы уже поменялись с ним местом работы? Я вас спрашиваю!

Остальные трое беспомощно перешмыгивались носами.

— Ну? Что будем делать? — с какой-то садомазохистской интонацией в голосе вопрошал грозный гражданин в дорогом пальто. — Или мне лично пойти и позвать дворника?

— Кого? Бабу Маню? — в один голос изумились все трое.

— А-а-а-а, так он еще и баба Маня!

«Нет, на мента не похож, — подумал пес Петров. — Скорее всего, кто-то из Верховной Администрации... Какое-нибудь Их Высокотоварищество».

— Мы за ней уже послали...

— Не вижу результата.

— Так не хочет она ничего соскабливать и замазывать!

— Что значит — не хочет?! — Большой Администратор расстегнул пальто. — Я, что ли, должен соскабливать и замазывать? Кто из нас дворник, черт побери, я или баба Маня?

«Во распекает!» — злорадно посмеялся про себя пес Петров.

— Она говорит, что она дворничиха... — начал один.

— Неужели?! — перебил его Большой Администратор. — Это уже радует.

— Да, но она говорит, что она...

— Что она! Что она! Что вы все мямлите?

— Что она дворничиха, а не маляр.

Большой Администратор так и оцепенел в злобном изумлении.

— Неслыханно, — только и выговорил он.

— Вот и я говорю, — согласился другой, ничем, собственно, внешне не отличавшийся от первого, как, впрочем, и от третьего, который скромно отмалчивался, переминаясь с ноги на ногу, так что для пса Петрова все трое были как те японцы с фотоаппаратами. — Уж сколько раз одно и то же, одно и то же... соскоблим, замажем, а они опять за свое!

— Ага, значит, вы сами и соскабливаете, и замазываете! — саркастично заметил Большой Администратор. — Так, может, вас и назначить дворниками, а бабу Маню над вами командиром поставить? А? Молчите? Не нравится? — Он засунул руку в карман пальто и казенным голосом начал жестко излагать: — Значит, так. Первое: мне делать здесь больше нечего. Второе: немедленно послать за этой вашей бабой Маней, черт бы ее побрал. И третье: вызвать участкового, пусть разберется и доложит. Я вам здесь наведу порядок.

Большой Администратор резко развернулся и зашагал вверх по Андреевскому спуску, осыпая ругательствами его корявые бульжники, к черному лакированному администробусу, который ждал своего грозного хозяина подальше от трех домов с их проклятыми тринадцатыми номерами. От зорких глаз пса Петрова не ускользнуло, как в ту же минуту навстречу ему дви-

нулся какой-то огромный кряжистый дядька в стеганом ватнике и шапке-ушанке, надвинутой на самые брови, так что видны были только мясистый нос и мощные, поросшие жесткой золотистой щетиной, челюсти. Шел он неспешно, в развалку, и от его шумного дыхания исходил такой жар, словно внутри у него клокотала вулканическая магма. «Ого!» — пес Петров нервно почувал у себя за ухом; в сравнении с этой огнедышащей горой Большой Администратор показался ему пигмеем в шляпке. Когда оба поравнялись на булыжной мостовой, как раз у самого администробуса, кряжистый мрачно ослабилась, обнажив два ряда золотых зубов, и, не останавливаясь, продолжил свой путь. «Ничего себе!» — пес Петров чуть не гавкнул. Но не эта странная усмешка и даже не полный рот золотых зубов поразили его, хотя такого количества драгоценного металла ему еще никогда не приходилось видеть ни в одном из человеческих ртов. Поразило его то, что левая нога кряжистого была обута в валенок с черной резиновой калошей, а правая — в сафьяновый сапог со сверкающей шпорой из желтого металла — должно быть, тоже золотой. Шпора звенела при каждом шаге, а калоша шаркала, но... почему-то никто этого не видел и не слышал! Вот так чудеса! На всякий случай пес Петров приветливо завилял хвостом, и ему даже показалось, что кряжистый слегка подмигнул в ответ. Как бы перекатываясь с ноги на ногу из-за разнобоя в обуви, он подковылял к дому №13 и остановился за спинами продолжающих громко спорить людей. Минуту-другую он с угрожающим любопытством следил за их прениями; пару раз по его лицу промелькнула хмурая усмешка, если не сказать — злоеца.

— Э, нет! — кричал один из спорщиков. — К бабе Мане я больше пойду!

— Пойдешь! Как миленький, пойдешь! — отвечал ему второй.

— Сказал, не пойду — и точка! Делайте со мной, что хотите, а я все равно не пойду!

— Тогда ты уволен! По статье!

— Ха-ха! Лучше статья, чем оторванные уши!..

Кряжистый понимающе кивнул, и уши на его шапке совершили крылатое движение.

— Какие еще уши? Ванька, ты слышал?

— Не помню, — отозвался третий неуверенно. — Кажется, что-то такое было... С Митрофановым в прошлом году...

— Ну все, мое терпение лопнуло, — сквозь зубы процедил второй.

— Лопнуло?! — завопил первый. — И почему, как к бабе Мане, так всегда я?! Вон Ванька Налий — он еще ни разу не ходил! Пускай он и сходит разок.

— У товарища Налия другие задачи, — ответственно заявил второй.

— Ага, и уши у него тоже другие?

— Да что ты со своими ушами, в самом деле! — возмутился Ванька Налий. — Сказано тебе, у меня другие задачи.

— Заливаешь, как всегда! — не унимался первый.

— Дурак, у меня через полчаса заседание бюро.

— У тебя каждый день какая-нибудь пакость случается.

— Ну, это уже слишком! — возмутился второй. — Придержи язык, не то...

— Стучать побежишь? Да не боюсь я! После бабы Мани мне уже ничего не страшно. Но к ней я все равно не пойду. И не проси!

Слушая эти препирательства, пес Петров невольно вспомнил реплику разозленного Вольтера: «*Quand la populace se mele de raisonner, tout est perdu!*»¹.

— Так! — постановил второй. — Товарищ Налий, идите на заседание бюро, мы тут сами разберемся.

— Ну так я пошел? — с готовностью переспросил Ванька и, не дожидаясь подтверждения, вприпрыжку поскакал вниз по Андреевскому спуску.

Ох, каким же недобрým взглядом кряжистый смерил Ваньку Налия! А потом еще и двинул за ним следом, громко позвякивая золотой шпорой и шаркая калошей. «Ага, тут что-то не так! — подумал пес Петров. — Пойду-ка я за ними».

Поскольку путь к гипотетическому завтраку все равно лежал на Подол, то есть в том же направлении, пес Петров потрусил вниз, стараясь, однако, держаться от страшноватого кряжистого на солидном расстоянии.

Впереди, на перекрестке Андреевского спуска и Боричева Тока, под сенью еще не облетевшего гигантского тополя, желтым пятном маячила цистерна с пивом в виде бочки на двух резиновых колесах. «Свежее пиво! Не пиво — янтарь! — громко за-

¹ «Когда чернь начинает рассуждать — все пропало!» (франц.).

зывал продавец, щекастый и пузатый увалень в клеенчатом переднике, сидевший на раскладном стульчике рядом. — Не стесняемся! Подходим!» Вокруг бочки, вяло перетаптываясь, отирались пожухлые осенние дядьки образца сороковых годов. Нисколько не стесняясь, они разливали в большие стеклянные кружки с пивом водку, видимо, дабы придать «янтарю» больше «сияния»... Ванька Налий уже допивал свое пиво, а кряжистый еще только приближался, словно грозовая туча к солнечному оазису. Поставив пустую кружку на стоявший тут же общепитовский стол, бледно-голубая поверхность которого была сплошь завалена рыбьими головками и костями, Ванька вытер губы носовым платком и поскакал дальше, а кряжистый, наоборот, неожиданно притормозил у бочки, словно о чем-то раздумывая. Тут, заметив пса Петрова, одинокого и худющего, обдуваемого холодным ветром с Днепра, кряжистый сунул огромную свою ручищу в карман ватника и вытащил оттуда, словно Санта Клаус праздничную гирлянду, связку копченых охотничьих колбасок — ароматных и лоснящихся от жира. И вдруг, вместо того, чтобы вкусить этой роскоши, он бросил гирлянду к самым лапам пса Петрова, который от неожиданности весь съежился. «Это мне?!» — чуть не вырвалось из его пасти.

— Хряцай, парень! — пророкотал кряжистый и страшно улыбнулся.

«Не может быть!» — подумал пес Петров и едва не лишился чувств.

Словно бы в ответ на сей вопиющий акт милосердия, возле бочки воцарилась мертвая тишина: осенние дядьки, и без того не отличавшиеся особой вербальностью, теперь и вовсе потеряли дар речи и только с болью в глазах поглядывали то на колбаски, то на пса Петрова, но на колбаски все-таки чаще. Пресекая малейшие сомнения на этот счет, пес Петров молниеносно накинулся на копченую гирлянду. Жадно улетая ее за обе щеки, он не переставал, однако, одним глазом контролировать ситуацию. И вряд ли его можно было за это упрекать, ибо будь осенние дядьки попроворнее, очень вероятно, они и сами с лаем бросились бы на четвереньки и тогда уже не известно, в чью пользу решилась бы судьба деликатеса. «А он парень ничего! — сладко чавкая, думал о кряжистом пес Петров. — Толковый мужик».

— Угости-ка пивком, сынок, — обратился «толковый мужик» уже к пузатому продавцу.

— А чего ж не угостить, папаша! — задорно подмигивая оторопевшим дядькам, отвечал тот. — Пей, пока пьется!

Он задвинул пол-литровую граненую кружку под краник, слегка наклонив ее, подождал, пока спадет пена, и затем уже наполнил до краев.

— Пей, папаша! Не пиво — янтарь!

Кряжистый угрюмо принял кружку из рук толстяка и поставил ее на краешек общепитовского стола, подальше от рыбьего могильника.

Вслед за тем произошло нечто уже и вовсе непонятное: пиво в кружке начало быстро затвердевать... Буквально на глазах! А когда оно совсем затвердело, кряжистый легонько тюкнул кружкой об стол, так что стекло брызнуло во все стороны, а на бледно-голубой его поверхности, среди рыбных костей и требухи, остался внушительный монолит чистого янтаря — правильной цилиндрической формы и красоты неопишуемой. От изумления пес Петров даже перестал чавкать, а дядьки почему-то вытянулись во фрунт. Не обращая на них ни малейшего внимания, кряжистый подхватил своей огромной рукой этот горящий в лучах низкого осеннего солнца янтарный монолит и запихнул его целиком в свою широко раскрытую пасть — у пса Петрова, при всей его интеллигентности, язык не повернулся бы назвать эту разверзнувшуюся бездну «ртом». Небритые щеки кряжистого ходили ходуном, словно старые вулканические горы, покрытые выжженными травами и колючками. Так что рядом с ними жирные отвислости на лице пивного продавца казались мокрыми от дождя глиняными оползнями. Страшный хруст и утробный гул свидетельствовали о той нечеловеческой силе, которая сокрушала, крошила и перемалывала скрытую от глаз твердыню. Одолев, таким образом, пол-литра или, точнее будет сказать, полкилограмма чистого янтаря, кряжистый прохрипел:

— Спасибо, сынок! За янтарь в пору золотом платить!

С этими словами он хлопнул по столу широкой, как лопата, ладонью, так что вся рыба требуха взлетела в воздух, после чего круто развернулся и поковылял вниз, в сторону Контрактной площади, шаркая калошей и позвякивая шпорой. На столе осталась лежать, ослепительно сверкая, великолепная золоточеканная монета. «Дублон!» — сразу определил пес Петров.

Вид у продавца был такой, словно у него кто-то умер. Он машинально взял монету и долго держал ее на ладони. Монета была

тяжелой и блестящей. В сравнении с ней лица безмолвствующих осенних дядек выглядели серыми, будто присыпанными пылью, как у землекопов.

— Пейте пиво... — как-то малоубедительно произнес продавец, несколько оправившись от первого потрясения и засовывая монету под передник, в карман засаленных штанов. — Не пиво — янтарь...

И тут со всех сторон к нему потянулись нетерпеливые руки с пустыми кружками. На поднос со звоном посыпались медяки, и продавец не успевал их даже считать. Кружка за кружкой бесследно исчезали в лесу рук; краник на бочке не закрывался ни на секунду, так что тягучая прозрачно-желтая масса уже заливала все вокруг. А толпа быстро прибывала, множилась, и вскоре над перекрестком поднялся такой гвалт, что, отойдя куда-нибудь в сторону и закрыв глаза, можно было получить неплохое представление об океанском прибое — с завыванием ветра и криками бакланов. В нем потонули, растворились все остальные природные звуки, от века и до сей поры обитавшие на перекрестке и столь милые сердцу всякого романтически настроенного пешехода: веселое чириканье воробьев и воронье карканье, хлопанье форточек и таинственный шелест опадающей с тополей листвы. «Все же как странно устроен мир! — думал пес Петров, укоризненно покачивая головой. — Словно в театре, когда на одной и той же сцене еще вчера страдал король Лир, а уже сегодня шумят и суетятся Голохвастовы... И зачем только князь Игорь, выступая против половцев, избрал именно эту дорогу? История смеется над нами?»

Массовое битье кружек происходило в течение следующих пяти минут: едва вылупившиеся из своих грубых стеклянных скорлуп благородные янтарные цилиндры тут же подхватывались множеством алчущих рук и судорожно рассовывались по карманам плащей, пальто и курток. Исчерпав весь запас кружек, «взбесившийся плебс», как назвал хлынувшие сюда народные массы пес Петров, пустил в ход все, что хоть как-то имело полую форму, и таким образом пиво-янтарь разливалось уже в целлофановые кульки, многие из которых, не выдерживая тяжести, тут же разрывались; счастливики, что проживали по соседству, сломя голову, носились туда-сюда с банками, кастрюлями, чугунками, котелками и ведрами, и даже с большущими выварками для белья; а те, кто волею судьбы оказались здесь случайно,

подставляли под пенящуюся янтарную струю сумки, портфели, карманы, ладони, сложенные «лодочкой», а кое-кто — и туфли, здраво рассудив, что лучше быть босым, но богатым.

Шагах в десяти от пивной бочки на Боричевом Токе мирно дремал пункт приема стеклопосуды — нелепая конструкция, напоминающая о временах гражданской войны и кровавых походах «победителя Украины и Бессарабии» жестокого генерала Муравьева — «красного наполеона революции». На железной двери висел внушительных размеров замок, а объявление гласило: «Нэма тары». «Як цэ нэма?! — горланила взбесившаяся толпа. — Як цэ нэма?!» — «Нэма — так нэма! На дидька нам та дырява тара?» — «А бутылки шо — не тара? Вот мы зараз проверим!» Вдохновляемые дружным бабьим ревом трое самых отчаянных мужчин набросились на хлипкую хибару, как медведи на спящую красавицу, и несколькими волшебными взмахами шести немых волосатых рук сбросили с нее покрывало сна в виде замка и железной двери; в пропахший спиртом полумрак, в котором, как орудийные снаряды, мерцали стройные ряды пустых бутылок, ворвался ликующий народ. «Должно быть, вот так же пала Бастилия!» — промелькнуло в голове пса Петрова, и на всякий случай, от греха подальше, он перебежал на другую сторону улицы.

Длинная вереница любителей дармового янтаря уже выстроилась от бочки к «павшей Бастилии» и обратно. В этих «местах силы», как и следовало ожидать, все чаще стало преобладать право сильного. То тут, то там возникали потасовки. Появились первые пострадавшие с оттоптаннами ногами и разбитыми в кровь носами. Самые активные и чувствительные к социальной справедливости (их пес Петров тут же окрестил «комиссарами») старались придать этому народному брожению хоть какую-нибудь видимость порядка: они требовали честного соблюдения очереди, составляли списки и обязали продавца больше трех литров в одни руки не отпускать. Но рук этих оказалось такое несметное количество, что очумевший продавец, которому уже повсюду мерещились многорукие чудовища, бросил бочку им на растерзание, а сам в ужасе стал пробиваться сквозь толпу, словно какой-нибудь сказочный герой сквозь зачарованный лес. Тут народ начал бунтовать против списков, поскольку никому не хотелось вскакивать ни свет ни заря с теплых постелей и занимать очередь — тем более что до утра янтарь мог

и закончиться. «Э, нет! Так не пойдет! — гневно кричали наиболее опытные. — Знаем мы эти ваши списки: каждый как притащит с собой по двадцать родственников! Дудки! Сейчас янтарь давай! Никаких списков!»

Стыдно было псу Петрову видеть и слышать все это. А особенно обидно было за Державу, граждане которой, едва прикоснувшись к красоте, вместо того, чтобы любоваться ею, грубо хватают и тащат ее домой, как мыло, масло или сахар по разнарядке! И зачем кряжистый устроил весь этот сыр-бор? Что, собственно, он хотел этим сказать? Чего хотел добиться?.. Пес Петров недоумевал. Может, этот янтарь каким-то образом связан с охотничьими колбасками, которыми кряжистый зачем-то угостил приглянувшегося ему пса? Может, это как-то связано с... Нет, ничего не понятно! Похоже на какую-то провокацию.

Пенная струя из краника весело разбивалась об узкие горлышки бутылок, пиво лилось по мостовой, заполняя выбоины и растекаясь вокруг бочки, быстро сгущалось, превращаясь в сплошную вязкую янтарную массу, которую безжалостно месило множество человеческих ног. В некоторых, еще не истоптанных местах, сквозь прозрачную желтизну просматривались рыбы головы и скелеты; час назад они были обыкновенными обедками, а теперь стали настоящим артефактами и раритетами. Какой-то бородач с рюкзаком за спиной, в спортивной шапочке и гетрах, — видимо, геолог, — пытался отколоть эти ценные напластования тяжелым бульжником, вывороченным прямо из мостовой.

А что же наш продавец пива? Во всем этом хаосе пес Петров заметил его не сразу. Еще совсем недавно такой беззаботношумный, такой щедрый, служитель культа Гамбринуса сидел неподалеку на обочине, подобно изгою у развалин оскверненно-го и разграбленного варварами святилища, и, рассеянно глядя на беснующуюся толпу, беззвучно шевелил губами. Его задевали ногами, толкали, но, казалось, он ничего не чувствовал. Иные идолы теперь возводились на прежнем капище, иные жрецы совершали ритуал, и ритуал этот, а точнее — разлив, был так непохож на прежний! Ведомый сочувствием, жалостью и даже уважением, пес Петров подобрался к отверженному продавцу и завилял хвостом, не смея заговорить, но все же как бы выражая свою солидарность и восхищение тем, что толстяк не поддался всеобщему помешательству, не стал набивать себе карманы янтарем, очевидно, предпочтя высокую духовность низменному материализму...

— Кыш, дохлятина! — зло заорал на пса Петрова продавец, жирные щеки его всколыхнулись, покрываясь рябью. — Мало тебе колбасы — еще и пива подавай? А ну пошел вон!

От неожиданности пес Петров даже присел. Он уже открыл пасть, чтобы самым решительным образом заверить глупого толстяка в ошибочности его суждений, но вовремя спохватился. И то правда: одно дело — брутально покусать обидчика, и совсем другое — интеллигентно сделать ему устное замечание. Иной раз словом можно и убить. В особенности, если слово это извергнется из собачьих уст. Нет, не имел права пес Петров брать на себя такую ответственность. Презрительно повернувшись к пивному толстяку хвостом, он отошел на свое прежнее место. Однако обида уже обожгла его сердце. Это правда: менять мнение о человеке в лучшую сторону всегда было для него любимейшим занятием и величайшим наслаждением — в такие минуты он острее ощущал полноту жизни и заряжался оптимизмом. Но в данном случае явно случилась досадная осечка, и теперь пес Петров горько сетовал на свою неизлечимую наивность, для которой за столько лет пребывания на грешной земле, казалось бы, уже не должно было остаться в его израненной душе ни малейшего местечка. Ан нет! Какими еще рукописями тебя должны отлупить по мордасам, чтобы развеялись все иллюзии? Какими распоследними словами охаять? Праведный гнев молниеносно охватил все его существо, готовый выплеснуться через край. Ненормативная лексика так и клокотала в его пасти, а в голове рождались яркие картины: вот он коршуном подлетает к ненавистному пивному толстяку, цапает его своими острыми клыками за щекастую морду и сразу дает стрекача... Шерсть на загривке пса Петрова вздыбилась, он глухо зарычал, уже готовый к атаке. «*Cave canem!*»¹, как говорится. Но тут, ему вспомнилась мудрая и спокойная сентенция Пьера-Клода-Виктора Буата: «*La plus douce vengeance, est un bien-fait*»². Гнев как лапой сняло! В следующую минуту пес Петров проникся таким глубоким умилением, что чуть не расслакался. Озаренный снаружи и вдохновленный изнутри столь очевидной истиной (ему даже показалось, что на правой его передней лапе появилось несколько свежих серебряных шерстинок, которых утром еще не было), он поглядел по сторонам, словно новоиспеченный святой, как бы ища, с чего начать свое *bien-fait*³. И — о удача! В трех шагах от себя он увидел валяв-

¹ «Берегись собаки!» (лат.). — Мозаичная надпись в Помпеях.

² «Самая сладкая месть — благодеяние» (франц.).

³ Благодеяние (франц.).

шуюся на желтых кирпичках тротуара прекрасную белую хризантему, казалось, только что оброненную животворящей рукой Фрины, богини нежных цветов, буйной весны и бесшабашно-наивной юности. Смущало лишь то обстоятельство, что хризантема олицетворяла собой не весну, а осень, и, скорее, могла быть подброшена коварной рукой Гекаты, а не Фрины... Плевать!

Отринув прочь сомнения, пес Петров осторожно, так, чтобы не повредить, взял цветок в зубы и понес через дорогу, словно благовую весть. Бесстрашно подойдя к продавцу почти вплотную, он положил хризантему у самых его ног, а затем, полный покоя и величайшего достоинства, отправился на Подол, ни разу не обернувшись. Сейчас он был абсолютно счастлив, ибо, великодушно простив нанесенную ему обиду, сумел возвыситься или — можно сказать иначе — снизойти до понимания тех неосознанных инстинктов, которые управляли слепыми чувствами его обидчика — человека дремучего, неотесанного. Было совершенно очевидно, что, оказавшись в центре столь невероятного события, как то публичное объентарение пива, за которое он, между прочим, нес материальную ответственность, толстяк распался как человеческая личность и проявил чисто животные наклонности, в результате вылившиеся в злобу и грубость. Да что говорить! Людей куда более интеллектуальных имел в виду тот же Шопенгауэр, когда писал о подобных стрессовых ситуациях в том смысле, что созерцать их бывает приятно, но отнюдь не самое приятное занятие — переживать их самолично.

— Эй! — закричал толстяк вслед псу Петрову. — Эй, собака, как там тебя кличут? Постой!.. Да не жалко мне для тебя пива! Да хоть все выпей! Но это же не пиво, растудыть его в корень! Подохнешь ведь, дурень!.. Господи, да что же это такое, граждане! Что делается? Пиво в янтарь превращается, собаки цветы дарят!

Толстяк то заливался нервным смехом, то плакал. Он вскакивал и снова садился на обочину, сотрясаясь телесами, а в его пухлой руке сияла белизной хрупкая хризантема...

Дальнейшего развития «янтарной лихорадки» на Андреевском спуске пес Петров так и не увидел, ибо до позднего вечера рыскал по старому, пропахшему сыростью и карболкой Подолу, при этом уже и сам толком не понимая, кого он теперь разыскивает: Классика в образе Льва, или таинственного кряжистого дядьку с золотой шпорой, или своего возлюбленного Зайца Белого Пушистого?..

А события вокруг пивной бочки сгущались похлеще пива, приобретая все более серьезный оборот. В четыре часа пополудни к месту происшествия в пешем порядке прибыл бледный от волнения участковый инспектор Пришивалов. И бледность, и волнение необычайно красиво шли к его новой милицейской форме. Он что-то выкрикивал и пронзительно свистел в свой свисток, но в общей неразберихе никто его не слышал и не замечал. Вдобавок какой-то гражданин, пытаясь сохранить равновесие в образовавшейся свалке, схватился за служебную голову инспектора и сорвал с нее форменную фуражку. Как впоследствии излагалось в рапорте, «хищение хворменого головного убора типа “хвуражка” было содеяно ниапознанным злоумышленником с целью низакононого наполнения данной йомкости государственной собственностью ввиде пивообразного янтаря со слабым олкогольным содиржанием». Так или иначе, но, лишившись фуражки, искать которую среди сотен ног было совершенно бесполезно, участковый инспектор Пришивалов кинулся к ближайшей телефонной будке. Позвонив «куда следует», он вернулся на исходную позицию и, запасшись терпением, — как свидетельствовал все тот же рапорт, — принялся отслеживать «творящиеся на перикрестке улиц андреевский спуск и боричев ток беспорядки шобы ни дать им выйти из сибя и вовремя присечь одиначным выстрилом из табельного оружия в случае если те придпримут попытку перекинуцца на другие близлижасчие улицы...» Забегая вперед, следует сказать, что хоть рапорт и был составлен с точки зрения жанра безупречно и заслуживал называться своего рода шедевром, даже невзирая на абсолютно индивидуальную грамматику и полное отсутствие знаков препинания, но и он не спас инспектора Пришивалова от больших неприятностей. Вышестоящее начальство провело служебное расследование его действий во время «янтарных беспорядков», признало их неудовлетворительными и вlepило ему строгий выговор с занесением в личное дело. Но все это случилось потом, а сейчас, спустя минут пятнадцать после телефонного донесения, на перекресток подоспело подкрепление в составе двух бравых сержантов и десятка «дружинников» — и уже все вместе, под командованием участкового инспектора Пришивалова, они принялись «наводить порядок», в чем, надо признать, весьма преуспели. Граждане были оттеснены от бочки, которая вся полностью, вместе с колесами, стала совершенно янтарной, а

толстого продавца пива в янтарном переднике задержали на месте происшествия. Собственно, задержать продавца не составило никакого труда, поскольку он и не пытался скрыться. Сначала передник, тяжестью своей тянувший его к земле, пришлось разбивать молотком, а затем инспектор Пришивалов лично учинил ему допрос. Три раза продавец повторил одну и ту же небылицу про кряжистого гражданина с охотничьими колбасками, которую засвидетельствовали дядьки образца сороковых годов, но доверять им не представлялось возможным, по причине их исключительно нетрезвого состояния. Дядьки, однако, дружно настаивали на своем, и, за неимением других весомых аргументов, пытались красноречивыми жестами и звуками описать золотую монету, которая в их интерпретации разрослась чуть ли не до размеров метательного диска. Смекнув первым, о чем идет речь, толстый продавец с готовностью достал из кармана штанов золотой червонец; монету тут же изъяли в качестве «вещдока», что и было зафиксировано в Акте об изъятии ценностей, после чего задержанным была предпринята попытка подарить инспектору Пришивалову белую хризантему — попытка тщетная, поскольку, находясь при исполнении служебных обязанностей, инспектор от подношения категорически отказался и даже пристыдил задержанного.

Ровно в шесть часов пополудни, когда уже начало смеркаться, к янтарной бочке подкатил внушительных размеров черный администробус, из которого вышли ответственные представители Городской Администрации, как и положено, с серьезной озачеченностью в глазах. Впереди, в распахнутом пальто и шляпе, шагал Большой Администратор — тот самый, что сегодня утром распекал своих подчиненных возле дома № 13. Только сейчас он был еще злее, поскольку распроклятое граффити на цоколе дома до сих пор никто не стер, не соскоблил и не замазал и теперь, понимаешь, любой недоумок мог сколько угодно его читать и перечитывать, и при этом задаваться идиотскими вопросами: «А кто такой этот Булгаков? И зачем он здесь жил?» Но еще сильнее у Большого Администратора свербело внутри оттого, что за целый день так и не выполнили его высочайшее распоряжение, вследствие чего был нанесен чувствительный удар по его неоспоримому администратету. Нет, к подобному разгильдяйству он не привык! Да что разгильдяйство — здесь попахивает умыслом!.. Он готов был прямо сейчас стереть в порошок весь Андре-

евский спуск — этот вечный рассадник крамолы и безответственности. А тут еще в придачу какая-то несурзная история с янтарем. Как раз ее-то и не хватало!

— Доложите, — сухо бросил он участковому инспектору Пришивалову, с отвращением глядя куда-то в сторону.

Пока инспектор докладывал, над перекрестком царила трепетная тишина. Вокруг, переминаясь с ноги на ногу, толпились в основном граждане, которые еще не успели отовариться янтарем. Они бережно прижимали к груди пустые бутылки и банки в привычном и столь же безнадежном ожидании «решения свыше». Выслушав сбивчивый доклад Пришивалова, Большой Администратор задумался.

— А как вел себя народ? — поинтересовался он.

Инспектор Пришивалов замялся в нерешительности. Vox populi¹, в свою очередь, тоже помалкивал. На пунцовых скулах Большого Администратора задвигались желваки. Впервые в жизни он не знал, что и подумать, и вообще, как следует реагировать на случившееся. Гнев его возрастал еще и потому, что остатальная администрация пребывала в полной прострации, видимо, как всегда, покорно ожидая его ответственных распоряжений. «Ничтожества! Бездари!» — Большой Администратор с какой-то злобной тоской посмотрел в пронзительное осеннее небо, холодно сиявшее над багряно-желтыми холмами, и сделал глубокий вдох. «Да, — подумал он, — такого еще не было...» Напрашивался вопрос: кто эти сволочи, в смысле, кто все это устроил? Диссиденты? Недобитые бандеровцы?.. Тогда, причем тут янтарь? Черт! Как же быть?..» Вопросов становилось все больше, один за другим влетали они в голову Большого Администратора, сотрясая мозг, и, как назло, — ни одного ответа навстречу. И уже одного того, что все это безобразие происходит в эпоху всеобщего покоя и порядка, да еще и в двух шагах от его эпицентра на Десятинной улице, было достаточно, чтобы положить партбилет на стол и — в Тмутаракань. Вся жизнь — насмарку! Наверху ему этого не простят, это уж точно: «Мы тебе культуру доверили, а ты что же, сукин ты сын? Похерил все?..» Интересно, Главному уже донесли?.. Наверняка донесли. Подсидживают, твари. Всё не дождутся, когда же он скovyрнется. Но ничего, он с ними еще разберется...

¹ Глас народа (лат.).

Большой Администратор презрительно зыркнул на свою свиту, потом бегло пролистал взглядом обмерших в ожидании граждан.

— Журналисты есть? — настороженно спросил он.

— Ну я журналист, — послышался голос из толпы.

— Сюда! — с плохо скрываемой ненавистью сказал Большой Администратор, мысленно уже представляя, каких побасенок может наляпать в своей гнусной газетенке этот борзописец. — Сюда подойди.

Толпа расступилась, и вперед вышел человек лет тридцати, в очках и с копной русых волос на крупной голове. Вид у него и так был независимый, а толстые линзы очков делали его и вовсе вызывающим. «Журналага, борзописец проклятый! Тебе бы на лесоповале вкалывать, а не клеветнические статейки кропать! — зло размечтался Большой Администратор. — Совсем обнаглел народ: шляется где попало, нос свой сует, куда не следует, да еще смотрит эдаким... Ну, ничего, ты у меня посмотришь, пижон! Я тебе рога пообломаю!»

— Из какой газеты? — едва сдерживая гнев, спросил он.

— Из «Рабочей». Отдел писем.

«Этого еще не хватало!» — Большой Администратор смерил «борзописца» ледяным взглядом:

— Фамилия?

— Смага... Корреспондент Смага.

— Где-то мне уже встречалась эта твоя фамилия.

— Может быть, в газете? — с оттенком легкого сарказма предположил корреспондент.

— Возможно. Так вот, товарищ Смага, — сурово продолжал Большой Администратор, застегивая пальто на все пуговицы. — Завтра утром — ко мне на прием. Куда, знаешь?

— Знаю, — вздохнул Смага.

— Вот и хорошо. И никакой самодеятельности. Все ясно? Вопросы есть?

Корреспондент ничего не ответил, только криво ухмыльнулся и передернул плечами.

— Пока свободен, — многозначительно сказал Большой Администратор и для большей убедительности извлек из внутреннего кармана пальто блокнот и демонстративно записал в него фамилию корреспондента.

— Можешь идти, — жестко отрезал он, продолжая писать.

Корреспондент развернулся и побрел прочь, что-то цедя сквозь зубы.

— Эй! — окликнул его Большой Администратор. — Тебе известен некто спецкор Кутищев?

С минуту Смага стоял в нерешительности.

— Нет, такого не знаю, — сказал он.

— А ты подумай хорошенько. До утра есть еще немного времени.

Повернувшись к янтарной бочке, а затем к своему ближайшему окружению, Большой Администратор с отвращением спросил:

— Ваши соображения, товарищи?

Похоже, соображения полностью отсутствовали.

— А ты что скажешь, инспектор?

Пришивалов густо покраснел, что, кстати, также неплохо шло к его форме, и снова завел свою бестолковую тягомотину все про тот же янтарь да про золото.

— А где твоя фуражка, инспектор? — перебил его Большой Администратор.

— Хворменная? — зачем-то уточнил инспектор Пришивалов.

— А что, бывает еще какая-нибудь другая фуражка? Или на службе ты носишь кепи?

— Нет, я был в хвуражке, — очень тихо и честно признался участковый инспектор, краснея еще больше.

— Ну, и где же она?

— Украли...

Большой Администратор тоже покраснел и сдвинул шляпу на затылок.

— А что еще у тебя украли?

— Больше ничего, — как школьник пролепетал инспектор Пришивалов.

— Будь сейчас военное время, — ностальгически произнес Большой Администратор, — я бы тебя к расстрелу приговорил, и сам лично всадил бы пулю тебе в лоб. — Последние слова он просто-таки смаковал. — Ну а ты, дитя цветов? — резко повернулся он к продавцу пива, смиренно ожидавшему своей участи с хризантемой в руке. — Как объяснишь весь этот... — И не найдя должного определения, он едко спросил: — Бочка твоя?

Толстяк сначала замотал головой, имея, очевидно, в виду, что бочка не принадлежит ему лично. А потом несколько раз кивнул, как бы соглашаясь, что все же несет за нее определенную ответственность, но только в том случае, если речь идет о бочке с пивом, каковая именно и фигурирует в его трудовом соглашении. А вот за бочку с янтарем он ответственности не несет, что он тут же и подтвердил новым яростно-отрицательным мотанием щекастой головы. Участковый инспектор Пришивалов в оба глаза следил за всеми этими размахиваниями руками, качаниями головой и телодвижениями толстого продавца, совершенно не представляя, каким образом можно зафиксировать их в Акте об изъятии ценностей. В целом, всю эту немую тираду можно было выразить одними лишь диактрическими знаками вперемешку со знаками препинания. Но, увы, о диактрических знаках инспектор не имел ни малейшего понятия, да и со знаками препинания отношения у него всегда были непростыми и запутанными.

В свою очередь, Большой Администратор, просмотрев от начала и до конца всю пантомиму и вполне уразумев ее общий смысл, угрожающе поинтересовался:

— А золотой червонец? Как прикажете это понимать?

Толстяк развел руками. Большой Администратор заскрежетал зубами, и желваки его опять задвигались.

— Что ж, подведем неутешительные итоги, — сказал он. — Среди бела дня у вас тут творится черт знает что такое: на стенах поклепы пишут, бочками государственный янтарь распродают, копчеными колбасами и золотом разбрасываются и в довершение при всем честном народе раздевают участковых инспекторов... И никто ничего не может объяснить!

Конечно, если бы в этот час и в этом месте присутствовал благородный пес Петров и если бы он вдруг пожелал нарушить свой принцип и публично заговорил человеческим языком, то можно с большой долей вероятности предположить, что он напомнил бы всем собравшимся здесь одну уайльдовскую цитату: «For try as we may, — сказал бы он с классическим оксфордским произношением, — we cannot get behind the appearance of things to reality. — И не без иронии добавил бы: — And the terrible reason may be that there is no reality in things apart from their appearances»¹. Но, как известно, пес Петров давно слонялся где-

¹ «Как бы ни старались, [...] мы не можем обнаружить за видимостью вещей их реальную сущность. [...] И весь ужас заключается в том, что вещи, должно быть, не обладают иной реальностью, кроме своей видимости» (англ.). — *Оскар Уайльд, «Упадок лжи».*

то по Подолу. Да и надежда на то, что он вот так просто возьмет и начнет глаголом жечь плебейские сердца, представлялась полной утопией. В сущности, ведь что есть дар речи? Для пса Петрова он был величайшим таинством, а слова — драгоценнейшим бисером, который совсем не следовало метать перед теми, кто все равно не способен правильно оценить ни его стоимости, ни щедрости мечущей лапы, не говоря уж о милости и могуществе Провидения, которое сделало его, пса Петрова, главным субъектом этого таинства. И если бы даже ему грозила лютая смерть, он все равно стоически молчал бы, вспоминая и укрепляя свой дух словами из одиннадцатой книги «Метаморфоз» столь горячо любимого им Апулея: «Я бы сказал, если бы позволено было говорить, ты бы узнал, если бы слышать было позволено». Другими словами, золотым бы устам еще и верно настроенное, открытое правде ухо. Только где же его взять в этой толпе жертв социально-генетической революции и рабов обстоятельств?.. В любом случае псом Петровым в этот час и в этом месте даже не пахло — ни в прямом, ни в переносном смысле, — а посему, все эти «если бы да кабы» — не более чем ворожба на собачьем кале, который, если соблюдать точность и не приукрашивать жизнь, он оставил после себя, — как скромное воспоминание об охотничьих колбасках, — уже довольно далеко от янтарной бочки, а именно — в сквере на Контрактной площади, под молоденькой елкой с обломанной верхушкой, но на почтительном расстоянии от памятника Сквороде.

Сильно затянувшуюся паузу на перекрестке двух старых киевских улиц прервал ужасный вой сирен. В следующую минуту возле администробуса остановился защитного цвета автофургон с красной надписью на борту:

«ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

— Наконец-то, — устало произнес Большой Администратор. — Кто будет проводить экспертизу?

— Я! — глухо донеслось из автофургона; слегка пошатываясь, из него вылез щуплый человечек в коротком клетчатом полупальтишке и в беретике, натянутом на оба уха.

Скорчив недоверчиво-презрительную гримасу, Большой Администратор зычно спросил у одного из своих подчиненных:

— Человечишка твой?

— Так точно, мой! — последовал энергичный ответ.

— А он достаточно квалифицирован? Что это за беретик на нем?

— Не извольте беспокоиться, — последовал ободряющий ответ. — Беретик казенный. И полупальто тоже. Все со склада — совершенно новое...

— Да что ты мне тут!.. Я спрашиваю, достаточная ли у этого товарища квалификация?

— Так точно! Профессионал высшей категории. Он у нас на вес золота.

— Золота? — насторожился Большой Администратор. — Ну-ка, взгляни — ты ведь тоже профессионал. Это настоящее? — и он протянул на ладони великолепный золотой червонец.

— Что тут смотреть? — последовал уверенный ответ. — Тут и смотреть нечего. И монета настоящая, и золото высокой пробы. Я бы сказал, высочайшей. Да, как на моих зубных коронках...

— Причем тут твои коронки? — Большой Администратор нервничал: время шло, а всему этому непотребству конца и края не было видно. Щупленький человечек из «Химической лаборатории» неторопливо возился подле янтарной бочки; на фоне светящегося в сумерках янтаря он постепенно тускнел и размывался. — Что он там канителится, этот твой эксперт?

— Внюхивается, — последовал успокоительный ответ. — Стандартная операция. Но необходимая.

— Какого хрена? — воскликнул Большой Администратор, окончательно теряя терпение. — Что тут еще нюхать?

— Ну как же, — последовал уверенный ответ. — Замечательный специалист. Обоняние, осязание и прочие вещи. Не доверяет никаким инструментам, химикатам...

— То есть?

— Все испытывает на себе лично, — последовал гордый ответ. — Исключительно на себе. Отменный специалист. Лучший в городе.

— Скажите, пожалуйста! — ухмыльнулся Большой Администратор. — Ну-ну, посмотрим.

Сумерки быстро сгущались. Лучший в городе специалист по экспертизе, наконец, подступился к бочке вплотную и, все так же пошатываясь и икая, долго смотрел на нее в изумлении. Минуту спустя, однако, приняв вид человека, которому все абсолютно ясно и понятно, он со знанием дела наклонился к кранику и заглянул снизу вверх в его маленькое отверстие. В таком не

слишком удобном положении он оставался несколько долгих мгновений, после чего, оттопырив край беретика, плотно приложился ухом к янтарному боку бочки и, закрыв глаза, стал вслушиваться. Толпа застыла в напряженном ожидании.

— Бродит, — спустя несколько минут констатировал эксперт.

По рядам граждан прокатилось дружное: «Бродит! Бродит!..» Банки и бутылки оживленно зазвенели.

— Что-то он у вас все бродит вокруг да около, — раздраженно заметил Большой Администратор. — Ох уж эти мне специалисты! Вечно с выкрутасами. Ну никак не можем мы без проводочек, без раскачки, без опозданий. Два часа я тут с вами торчу, и что? А? Теперь вот еще этот ваш Шерлок Холмс будет до утра с бочкой целоваться! Неужели обычным глазом не видно, что это янтарь?

— Прошу прощения, — последовал вкрадчивый ответ. — Обычный глаз — он и есть обычный глаз. В этом вся загвоздка. Такому глазу все едино: что — янтарь, что — крашеное стекло.

— Ну, ладно, ладно! Делайте, как знаете. Завтра утром — ко мне с докладом, — и, посмотрев исподлобья на остальных подчиненных, Большой Администратор скомандовал: — Поехали!

Как раз в ту минуту, когда черный администробус, включив яркие фары, тронулся вверх по Андреевскому спуску, увозя с места происшествия ответственных лиц, участковый инспектор Пришивалов по просьбе эксперта отвернул краник, еще не подзревая о его дальнейших действиях. Да и кто мог подозревать? Наполнив с краями свой личный складной стаканчик янтарным пивом, эксперт тут же опрокинул его в себя под всеобщий возглас не то изумления, не то восхищения. О, какими словами живописать то, что случилось потом?! На глазах у всего народа лучший в городе эксперт перестал шататься и икать. Он как-то сразу весь выпрямился, будто кол проглотил, глаза его широко открылись и стали ядовито-желтыми. Причем они пожелтели так быстро и характерно, что инспектор Пришивалов подумал: «Печень не выдержала!» Но когда зрачки эксперта приобрели еще и необыкновенную стеклянную прозрачность, инспектор не на шутку испугался. Эксперт стоял неподвижно, выпучив янтарные глаза. Ногти на его руках тоже стали янтарными. А когда он открыл рот в попытке что-то сказать, все увидели два ряда великолепных янтарных зубов. Уже через три минуты эксперт объ-

янтарел полностью. В панике толпа бросилась врассыпную, и ее беспорядочное бегство сопровождалось звоном бьющихся об мостовую бутылок и банок.

— Как же так? — услышал инспектор Пришивалов у самого уха взволнованный голос. — Как же так? Лучший специалист! Выдающийся профессионал!

— Я не виноват, — на всякий случай начал оправдываться инспектор Пришивалов. — Я не думал... Он же сам выпил это! Сам!..

— Жена! Двое детей! — отозвался сокрушенный голос. — Что я им скажу?

— Он еще живой! Живой! — засуетился инспектор Пришивалов. — Надо вызвать скорую! Сержант!

— Не надо, я сам, — последовал ответ. — Я сам вызову. Ах, Господи, Господи!..

Но на том беды, свалившиеся в этот вечер на голову участкового инспектора Пришивалова, далеко еще не кончились. Пожалуй, правильной будет сказать, что они только начались. Едва он успел выставить возле янтарной бочки с янтарным экспертом охрану из двух дрожащих от страха сержантов, а сам вместе с дружинниками помчался в участок докладывать по телефону вышестоящему начальству обо всем случившемся, на улице Флоровской загорелось сразу три дома. Это были одноэтажные, в основе своей деревянные постройки, но огня и жара они дали столько, что уже через полчаса зарево пожара освещало большую часть Подола, и пепел черными хлопьями летал над Днепром.

К утру пламя и пожарники сделали свое дело, и на месте Флоровской улицы лежали дымящиеся развалины. Погорельцы, измазанные копотью, словно черти из преисподней, медленно стягивались к Контрактовой площади, перетаскивая туда спасенную мебель и пожитки. Поговаривали, сгоревшие дома были битком набиты янтарем, и он так горел и плавился, что над Флоровской горой, а особенно над кладбищем, рядом с которым еще прошлой ночью ночевал пес Петров, возникали всякие ужасные видения. Всему, дескать, виной — нечистая сила, которая давно уже подкатывается к Флоровскому монастырю. Как водится, не упустили случая и об инопланетянах посудачить. Но большинство горожан, обитавших поблизости от рокового места, склонялись к мнению, что пожар был устроен намеренно, самими же погорельцами — с целью получить новые квартиры.

«Зачем же таким жестоким способом?» — недоумевали одни. «Самый быстрый и верный способ! — посмеивались другие. — Пожили бы вы лет тридцать без воды, газа и отопления, вы бы такой же костер развели!»

Кстати, видел этот грандиозный «костер» и пес Петров. «*Tua res agitur paries cum proxima ardet!*¹ — с присущей ему мудростью воскликнул он, глядя на зарево над Флоровской горой и снопы искр, что взмывали ввысь. — Достоин кисти Ланселота Блонделя...» Невольно он сравнивал себя с этими искрами, вспыхивающими и гаснущими на ветру. В великой задумчивости побрел он своей дорогой, о которой знал теперь еще меньше, чем когда-либо прежде. Он чувствовал себя таким заброшенным и одиноким, что хотелось выть. Эх, никому не нужен он на этой пустой, холодной земле! Классика он не нашел. Зайца потерял... В ночном небе, осиянное холодным светом Луны, медленно проплывало облачко — казалось, единственное в целом мире. В его клубящихся очертаниях пес Петров явственно увидел Белого Пушистого Зайца — с ушами, лапками... На месте глаза горела одинокая звезда. «Сириус! — горестно воскликнул пес Петров. — Звезда моя!» Слезы навернулись на его глаза, и ночной город расплылся радужными кругами. «Может, оставить все эти бесплодные мечты о прекрасном Зайце *Candidus*'е?² — размышлял он, уныло бредя трамвайными путями по Константиновской мимо домика Петра I, такого маленького и уютного под своей зеленой крышей. — Может, лучше вернуться к хозяйской похлебке, к всегда сухой и теплой подстилке, вернуться, покаяться и, стиснув клыки, с закрытыми глазами упасть в объятия пинчерихи Кнопы?.. Да, она темная и необразованная. Ну и что из того? — спорил пес Петров сам с собой. — Зато она любит меня и восхищается мной. И ее не надо долго и безнадежно искать по всему городу. В конце концов, я буду далеко не единственным скандальным примером в истории культуры: женился же великий Гете на банальной мещанке Христине Вульпиус! А супругой великого Гейне была самая что ни на есть деревенская баба с ужимками инфантильной кокетки, и к тому же помешанная на своем попугае, будучи не на много его умней. За всю жизнь она не прочитала ни единой строчки, написанной ее гениальным мужем. Она даже не представляла, с каким поэтом разделяет

¹ «Дело коснулось тебя, коль пылает стена у соседа» (лат.). — Из Горация.

² Белоснежном (лат.).

супружеское ложе! И ведь ничего — оба были счастливы, каждый по-своему. Конечно, моя пинчериха не такая молодая и красивая, как гейневская Матильда, но зато и не такая толстая, как гетевская госпожа Вульпиус, и она совсем не пьет спиртного...» Так размышлял несчастный пес Петров, и чем больше уговаривал он себя взять в супруги пинчериху Кнопу, тем большим отворачиванием к ней проникался. И чем больше думал о доме писателя-фантаста Седовласова со всеми его благами, тем дальше от него уходил...

Что касается янтарной бочки и янтарного эксперта — о них на следующий день почти никто не вспоминал, кроме разве что двух сержантов из охранения, которые теперь находились под арестом, и участкового инспектора Пришивалова, который, собственно, их и арестовал. А дело было так. Завидев страшное зарево над Флоровской горой, сержанты бросили охраняемый ими объект, разумно посчитав, что он все равно никуда теперь не денется, потому что и бочка, и эксперт пребывали в янтарном и, следовательно, нетранспортабельном состоянии, — и сломя голову помчались разбираться с пожаром. Вернувшись из участка, инспектор Пришивалов к своему немалому удивлению не обнаружил ни сержантов, ни бочки, ни эксперта. Все они исчезли бесследно! Правда, сержанты утром нашлись — чумазые, оборванные и до беспамятства пьяные, они выползли на четвереньках из подполья какой-то хатки на Боричевом Токе, где прятались от греха подалее у сердобольной старушки с пятью литрами самогона, настоянного на хрену, — и дальнейшую их судьбу предсказать было не трудно: как минимум, увольнение из органов. Инспектору Пришивалову, в свою очередь, грозило понижение в должности...

На этом рассказ о необычных событиях этого дня можно было бы и закончить, если бы не еще одно тревожное обстоятельство. В тот самый промежуток времени — между прибытием «Химической лаборатории» на перекресток Андреевского спуска и Боричева Тока и пожаром на Флоровской горе — произошло еще кое-что необъяснимое.

Подпрыгивая на горбатой брусчатке, черный администробус медленно карабкался вверх по Андреевскому спуску. Погруженный в свои размышления, Большой Администратор молча смотрел в окно, а подчиненные затаились на заднем сиденье: тя-

гостное ожидание неминуемой бури угнетало их. Возле дома № 13 Большой Администратор приказал остановиться. Выйдя из администробуса, он направил свои тяжелые стопы к усадьбе с застекленной верандой, желая лично удостовериться, что хотя бы к ночи его распоряжение выполнили и — «Булгаков здесь больше не жил!» Более того: «не живет и жить не будет!» Уж об этом есть кому позаботиться, ядрена вошь! И действительно, прежняя надпись была ликвидирована, но зато на ее месте появилась новая, еще пахнущая краской:

«ТРУП ДОМА БУЛГАКОВА»

С минуту Большой Администратор стоял в оторопи, что было ему совершенно не свойственно — ни по характеру, ни по должности. Его бросило в жар, потом в холодный озноб и снова в жар, и только после этого прорвало. «Завтра же!.. — мысленно заорал он и затопал ногами. — Завтра же эту хренову бабу Маню уволить! Ко всем чертям собачьим!.. И всех! Всех до одного — к чертям! Что, по железной руке стосковались, говнюки?! Так я вам устрою! Вы у меня в ногах, в ногах будете ползать, гниды! Вы у меня вместе с этим вонючим спуском, с этим гнойником... этим рассадником... В пыль сотру!..» Внезапно адская боль черным пламенем объяла его голову, и откуда-то сверху прямо в эту голову, будто в раскаленный добела пустой чугунный горшок, свирепый голос произнес: «Ужо пужать нас! Мы ужо пужатые!» После этих загадочных слов боль в голове как рукой сняло. Боясь сдвинуться с места и обливаясь холодным потом, Большой Администратор по-прежнему стоял перед закрытой наглухо дверью дома № 13 (который теперь, в самом деле, и пожалуй, более чем когда-либо, был похож на «труп дома Булгакова»). Ноги его дрожали, в глазах туманилось. «Я слишком много работаю», — подумал он. А что еще он мог подумать? «Как каторжный! Не помню, когда в отпуске был... Может на все плюнуть и съездить на воды?.. Черт!» — в ту же минуту он почувствовал непреодолимое желание сходить по малой нужде. Надо признать, весь последний год проклятый мочевого пузыря не давал ему покоя. А все почему?.. А все потому же! Все из-за полного отсутствия этого самого покоя! Вот и доктора в один голос твердят, как попки: «Надо больше отдыхать, меньше работать!» Но как, спрашивается, можно работать меньше, если вокруг во-

обще никто не работает?.. А на последнем осмотре — и вовсе настаивали на операции. «Им бы только резать! Сволочи! Ну да ничего, я и до вас доберусь, айболиты сраные!..» Эта последняя мысль несколько успокоила Большого Администратора.

— Ждите! — многозначительным тоном бросил он подчиненным и тут же скрылся во дворе между двумя тринадцатыми номерами.

Подчиненные ждали молча, исполненные благоразумия. Шофер открыл окно и закурил сигарету. Так прошло минут пять...

— Куда он пошел? — тихонько спросил один из подчиненных.

— По нужде, — со знанием дела протянул шофер, выпуская дым.

В администробусе опять воцарилась напряженная тишина. Прошло еще пять минут.

— По большой или по малой? — попытался уточнить все тот же подчиненный.

— Это уж как он сам решит, — уважительным тоном отозвался шофер.

Когда прошло еще десять минут, всеобщее волнение начало быстро нарастать. Шофер озадаченно чесал в затылке и говорил, что другого такого случая он не помнит. Обычно шеф возвращается через пять-шесть минут. Нет, здесь явно что-то не то!.. После короткого совещания было решено идти на поиски. Вся команда, за исключением шофера, покинула администробус и ринулась во двор. Но Большого Администратора там не оказалось. Свет в окнах не горел, и густая темень существенно осложняла поиски.

— Сюда бы того эксперта, — несмелым шепотом сказал кто-то из подчиненных.

— Это еще зачем?

— Не мешало бы обнюхать все углы.

— Зачем эксперт? Мы и сами можем обнюхать.

Увы, обнюхивание ни к чему не привело: пахло исключительно кошачьей мочой. Подчиненные недоумевали:

— Зачем же он сюда пошел?

— А где шофер? Это ведь он говорил насчет нужды...

Вся команда вернулась к администробусу. Шофер все также невозмутимо курил.

— Его там нет, — тактично намекнул ему один из подчиненных.

Шофер опять почесал в затылке.

— Ну нет — так нет! — философично ответил он после некоторого раздумья. — Значит, домой пошел.

— Домой?! — в один голос воскликнули все.

— А почему бы и нет? Уж больно расстроен был. Я его знаю. Мы вместе не первый год работаем.

— И что же теперь?

— Да ничего. Поехали! — и шофер включил зажигание.

Администробус громко зафыркал и грузно пополз вверх, сотрясаясь на корявых булыжниках, — мимо Замка, мимо Аптекарского сада, мимо Андреевской церкви. А вслед ему откуда-то с вершины древней горы Уздыхальницы неслась странная песня, которую тянуло несколько заунывных голосов в сопровождении монотонного треньканья арфы:

Во саду ли, в огороде
Цакирола колобродит.
Плюнь на паспортный режим,
И — куда-нибудь бежим!

А министры — прямо дети! —
Подбоченясь, режут марш,
Цакиролу не заметив,
Целиком идут на фарш.

В прах рассыплются портфели,
С треском лопнут пиджаки...
По Днепру, белей Офелий,
Проплывают мужики.

Полумертвы, полуживы
Министраторы плывут.
Что стоишь-глядишь, служивый? —
Министраторам — капут!

Хватит им шнырять волками
Под Андреевской горой
И нечистыми делами
Пачкать Город Золотой!

Ночь пройдет, затихнут стоны.
Не горит окно, фонарь...
Разливает перезвоны
Зачарованный звонарь.

Стайку дальнюю колышет
Птичье небо поутру,
И привольно Замок дышит
На серебряном ветру...

ПРИМЕЧАНИЯ

КНИГА ГОРОДА

Корбюзьевич и Руна

Штокгаузен Карлхайнц (1928–2007) — немецкий композитор и музыкальный теоретик, один из лидеров музыкального авангардизма. Стремясь к созданию универсальной «музыки всего мира», Штокгаузен обращается к разнородным музыкальным средствам, включая электронную музыку, различные технические приспособления.

Нововенская школа — творческое содружество А. Шёнберга и его венских учеников (А.Берг, А.Веберн, а также Э.Веллес, Х.Эйслер), сложившееся в 1900-х гг. Композиторы этой школы радикально обновили художественный язык и стиль, связанный с отказом от мажора и минора, от традиционных тональных планов и модуляционного развития (атональность), разработали метод додекафонии.

... *гастроном на углу Ярославова Вала и бывшей Маловладимирской улицы...* — Гастроном, о котором говорится в романе, не сохранился.

... *глаза, зеленые, как у каладрия...* — Каладрий — в средневековых bestiaries чудесная птица с диковинными зелеными глазами, обладавшая способностью предсказывать будущее. Как правило, каладрий предсказывал рождение и смерть королей.

Если ты прошел мимо розы, то не ищи ее более... — Здесь — переосмысленная пословица, сложившаяся у древних греков, т. к. роза, которую они носили на голове и на груди в знак траура, выступала символом кратковременности нашей жизни, которая так же быстро увядает, как и душистая роза.

Мортификация — умерщвление плоти; преимущественно достигалась постоянной молитвой, строгим постом и ночными бдениями.

Лукас Кранах Старший (1472–1553) — немецкий живописец и график. Здесь — игра слов.

... *трактат Стендаля «О любви»*. — «О любви» (1822) — известный психологический трактат французского писателя Стендаля (1783–1842).

Делириум — (или делирий) — бредовое состояние со зрительными галлюцинациями.

Каллипида — «имеющая красивый зад», «прекраснозадая» (греч.) — название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в Золотом Доме Нерона и перешедшей из собрания герцогов Фарнезе в неаполитанский музей, в котором она хранится и поныне.

Фра Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле, по прозвищу Беато Анджелико, ок. 1400–1455) — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения, доминиканский монах и настоятель монастыря; всю жизнь провел в монастырях, для которых писал фрески и иконы.

Фра Филиппо Липпи (1406–1469) — один из известнейших флорентийских художников XV в., учитель Боттичелли и др.; был кармелитским монахом.

... *Джованбатисту Россо, прославившегося под именем maitre Roux, в 1541 году посадили в каменный мешок...* — Джованбатиста Россо (1494–1541), флорентийский художник. В 1534 г. по приглашению короля Франциска I переехал во Францию, где получил известность под именем maitre Roux. В тюрьму был посажен за клевету, где и отравился в 1541 г.

Леоне Леони из Ареццо (1509–1590) — итальянский золотых дел мастер и скульптор. В 1540 г. изувечил папского ювелира Пеллегрино де Леути, за что был приговорен к отсечению правой руки. Этот приговор заменили галерами. Позднее он был помилован и стал придворным скульптором Карла V.

Пьеро Торриджани (1472–1522) — итальянский скульптор, изгнанный из Флоренции за то, что нанес увечье Микеланджело Буонаротти. Закончил свою бурную жизнь в Испании, где, возмущенный тем, что ему заплатили меньше обещанного, в гневе разбил изваянную им статую Мадонны, за что был обвинен в кощунстве и погиб в тюрьме, уморив себя голодом.

...*сколь щедро позолотил он одного бедного мальчика?* — Известен случай, когда Леонардо да Винчи для одного из праздников покрыл мальчика золотой краской, отчего тот умер.

А кубисты, насилюющие Природу... — Кубисты — художники, работавшие во Франции (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис и др.) и выдвинувшие в 20-е гг. XX в. на первый план конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр) и разложение сложных форм на простые. Пикассо говорил: «Если Природа существует, надо ее изнасиловать».

Дадаисты — группа поэтов и художников: румыны Т. Тцара, М. Янко, немцы Г. Балл, Г. Хюльзенбек, француз Г. Арп и др., объединившиеся в 1916 г. в Цюрихе. Тристан Тцара в журнале «Дада» проповедовал «чистый идиотизм». М. Рэй продемонстрировал на выставке утюг с припаянными шипами («Подарок», 1921), а М. Дюшан — ночной горшок и писсуар. Они объявили изделия массового производства произведениями искусства, считая, что художнику достаточно только вырвать простой предмет из обычного его окружения, несколько видоизменить его и дать ему название — и этот предмет превратится в произведение искусства.

Сюрреалисты — группа французских поэтов и художников (П. Элюар, Л. Арагон, М. Эрнст, Х. Миро, М. Дюшан и др.) во главе с А.Бретоном, объединившаяся в 20-е гг. XX в. вокруг журнала «Литература». Позднее к ним присоединились С. Дали и Р. Магритт. В 1925 г. молодые сюрреалисты так сформулировали свое кредо: «Он (сюрреализм) является средством полного освобождения от ума и всего того, что его напоминает...» Они эпатировали буржуа своим оскорбительным поведением, скандалами, драками, угрозами и провокациями.

Если послушать старину Бретона ... — А. Бретон писал: «Простейший сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьвером в руке выйти на улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу».

... папа Дали... — Сальвадор Дали (1904–1989) — испанский живописец, график, скульптор, режиссер, один из самых известных представителей сюрреализма.

... загадывали ему такие загадки, что не всякий жрец или царь осилил бы их. — Сфинкс — в древнегреческой мифологии крылатая полуженщина, полульвица, обитавшая на скале близ Фив; предлагала прохожим неразрешимую загадку и затем, не получив ответа, пожирала их. Загадку («кто утром ходит на четырех ногах, в полдень на двух, вечером на трех») разгадал царь Эдип (его ответ: «человек — в детстве, зрелости и старости»), после чего сфинкс бросилась со скалы.

... по примеру античного Аттиса ... — Аттис — во фригийской мифологии бог плодородия; в безумии, которое наслала из ревности его бывшая возлюбленная богиня Кибела, оскопил себя на собственном брачном пиру и умер; из его крови прорастает весенняя зелень.

Лоренцо Валла (1405 или 1407–1457) — итальянский гуманист, приверженец философии и этики Эпикура, которую противопоставлял христианскому аскетизму и этике стоиков.

... междуцуну Корбюзьевичу... — Меджнун («безумец») — прозвище арабского поэта Кайса ибн-ал Муллаваха (умер ок. 700 г.), любовь которого к Лейли стала темой поэтической легенды.

... фантастикум, согласно Блаженному Августину... — «Фантастикум» (по Августину Блаженному, христианскому теологу и церковному деятелю, 354–430) — отделяющаяся во сне душа человека.

... ария доктора Вагнера... — Ария из оперы французского композитора Шарля Гуно (1818–1893) «Фауст».

... у самого Зарецкого... — В. И. Зарецкий (1925–1990) — украинский график и живописец, работал в области станковой и монументальной живописи. Имел свою школу рисования, пользовавшуюся у молодых киевских художников большим авторитетом.

Назвавшись академиком Свампусом... — Имя академика образовано от слова «свампы». Свампы — болота, схожие с европейскими торфяными болотами.

Гамадриады — в древнегреческой мифологии смертные нимфы деревьев. Это те дриады, которые умирали вместе с деревом.

По примеру Тициана, который изобразил Карла II, играющего на музыкальном инструменте возле ложа своей возлюбленной... — Речь идет о картине итальянского живописца Тициана (ок. 1476/77 или 1489/90–1576) «Венера дель Трибуна».

... в конце Сретенской улицы... — Улица Сретенская (в советское время — Полины Осипенко) расположена между Стрелецкой улицей и Львовской площадью. Здесь описывается место, где Сретенская улица упирается во Львовскую площадь.

... бродили по заброшенному брусчатому руслу Киянки... — Киянка, или Киянь, — ручей в древнем Киеве. Начинаясь с родников под Старокиевской горой, протекал между Кудрявской возвышенностью и Замковой горой по урочищам Гончары и Кожемяки на Подоле близ Житнего базара. Впоследствии он обмелел и высох. От наименования ручья сохранилось лишь название — Кияновский переулок.

Детинец — центральная укрепленная часть древнего Киева. Размещался на Старокиевской горе. Сейчас на этом месте — Десятинный переулок, остатки фундамента Десятинной церкви, Исторический музей.

... старый тополь на перекрестке Андреевского спуска и Боричева Тока... — Этот тополь был спилен в 90-е гг. XX в.

... неподалеку от Старого Ботанического сада... — Ботанический сад имени академика А. В. Фомина. Заложен в 1839 г. на пустыре, в глубоких оврагах и на холмах.

Гризайль — вид живописи (преимущественно декоративной), выполняемой в разных оттенках какого-либо одного цвета (чаще серого).

Бык Фалариса... — Фаларис (Фаларид, VI в. до н. э.) — тиран в Агригенте, где он захватил власть хитростью после своего изгнания с острова Астипалеи (около Родоса). Рассказ о медном быке, созданном скульптором Периллом, в котором тиран поджаривал своих врагов, пользовался большой известностью. Сам Фаларис был убит в Агригенте во время всеобщего восстания, поднятого после его шестнадцатилетнего правления.

Катерина Прекрасная — былинная и сказочная жена старого боярина Пермяты (Бермяты), любовница Добрыни Никитича. Их обоих застает на постели Бермята и отрубает Добрыне голову. Тот же рассказ повторяется в былинах, с заменой Добрыни — Чурилой Пленковичем.

Эмпузы — (или эмпусы) — в древнегреческой мифологии чудовища, которые входили в свиту богини колдунов и привидений Гекаты. Эмпузы могли принимать вид животных или прекрасных девушек. Соблазняя мужчин, они «сосали из них жизненные силы до тех пор, пока те не умирали» (Р. Грейвс. «Мифы древней Греции»).

Ламии — сказочные злые духи в женском облике, пожиравшие по ночам тела молодых юношей и пившие их кровь.

Рога Менелая поразили Троя. — Менелай, царь Спарты, ради возвращения похищенной троянцем Парисом жены, прекрасной Елены, добился сбора греческого войска и сам отправился в поход на Троя.

Клодия — возлюбленная римского поэта Катулла, которую он в своих стихах называл Лесбией. В любовных стихотворениях, посвященных

отношению поэта к Лесбии, его увлечение и пылкая страсть сменяется горем и затем омерзением, которое внушила ему любимая женщина изменой и низким падением.

...*Блодуэдд, сотворенная из цветов благородного дуба, ракитника, таволги и еще шести других трав и деревьев, и та изменила Ллеу Ллоу Гиффесу!*... — В мифологии кельтов Блодуэдд, прекрасная девушка, имя которой переводится как «Цветочный лик», была создана чародеями Гвидионом и Мэтом из растений и предназначалась в жены богу-воину Ллеу Ллоу Гиффесу, чтобы избежать заклятия, наложенного на него его собственной матерью, Аранрод, и состоявшего в том, что он не должен жениться ни на одной из смертных женщин до тех пор, пока Аранрод сама не найдет ему достойную супругу, чего она никогда не сделала бы. Блодуэдд оказалась неверна Ллеу, изменив ему с Гронви Педбиром, и они вместе задумали убить Ллеу. Но попытка оказалась неудачной: Гронви пал от руки Ллеу, а Блодуэдд превратилась в сову и сделалась изгнанницей.

Кандаула Феодуловна — героиня народных русских сказок и старинных повестей о богатырях; царевна и затем жена Ивана, русского боярина, брата Еруслана Лазаревича.

Фридерика из Зазенгейма. — Фридерика-Елизавета Брион (ок. 1752–1813), третья дочь зазенгеймского пастора Бриона, известная под именем «Фридерики из Зазенгейма», прославилась своей любовью к Гете. Он описал впоследствии эти дни юности в своих воспоминаниях «*Dichtung und Wahrheit*» («Буря и натиск»). Летом 1771 г. Гете был вынужден покинуть семью пастора Бриона. Для Фридерики это было жестоким ударом. Она перенесла тяжелую нервную болезнь. Однако она осталась верна памяти Гете и впоследствии, несмотря на многие предложения, не вышла замуж. Немецкий поэт Зигфрид Ленц, например, получив от Фридерики отказ, лишился рассудка.

...*любовь — больше не «болезнь века»*... — Определение любви как «болезни века» впервые встречается у Альфреда де Мюссе (1810–1857) в его книге «Исповедь сына века».

...*закончил свои «гимны к ночи»*. — Намек на знаменитую книгу «Гимны к ночи» немецкого поэта и философа йенской школы романтизма Новалиса (1772–1801).

... *тост за египетского царя Бинотриса*... — Бинотрис (Binothis) — третий египетский фараон из 2-й династии. Этому фараону приписывается предоставление женщинам права наследования престола.

Прекрасная снизу женщина кончается сверху глупейшей рыбой... — У Горация: «Прекрасная сверху женщина кончается книзу уродливой рыбой» (Гораций. «Наука поэзии», 4).

Кукана — (от *франц.* Кокань) — по средневековым легендам, сказочная страна дураков и лентяев.

... *идиллические картины де Хоога и Бурсе*... — Питер де Хоог или де Хох, де Хоох (Pieter de Hoogh, Hoogh или Hooghe; 1629 — после 1684) — голландский живописец дельфтской школы, который специали-

зировався на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. Эсайас Бурсе (1631–1672) голландский живописец, последователь де Хоога.

Рихард Бишоп (Richard Bisschop, 1849–1929) — голландский живописец.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Сад Придуманых Птиц и Цветов

I. Г-н Филин и герметический образ Вселенной

Философское яйцо — «яйцо философов» (алхимический символ Вселенной) — модель макрокосма — стеклянный сосуд, в котором осуществляется заключительная стадия приготовления философской субстанции.

«*Ты сфера! Ты темница! Ты перегонный куб и брачная комната!..*» — синонимы философского яйца на языке алхимиков.

II. Вверх по Древу

... *козлоногий бородач потерял свои тростинки...* — Речь идет о древнегреческом мифе о любви Пана, бога лесов и пастбищ, к нимфе Сиринге и о создании панфлейты. Испугавшись уродливого Пана, Сиринга после тщетных попыток убежать попросила своих сестер, речных нимф реки Ладоны, о спасении, и те превратили ее в болотный тростник. Колблемый ветром, он испускает свисящие, похожие на жалобу звуки. Пан вырезал из него первую пастушью свирель, получившую впоследствии название пан-флейта или сиринга (*греч.* сиринкс).

... *стать кипарисом и оплакивать мертвых...* — Кипарис — дерево, символизирующее смерть. Из его листьев был сплетен венок Плутона. В Древней Греции у дверей умершего вешали ветвь кипариса, а на могилах сажали молодые кипарисы. Из ветвей этого дерева делали также погребальные костры, на которых сжигали тела умерших.

... *осколком горного хрусталя...* — Из горного хрусталя часто делали так называемые «магические зеркала».

Замок-Сиринкс — Сиринкс (*греч.* Syrinx, «трубка», «свирель») — греческая транскрипция латинизированного имени Сиринга, являющегося, в свою очередь, научным названием сирени (*Syringa vulgaris*).

Драгонет де Мондрагон — историческое лицо, рыцарь при тулузском дворе, видный участник партизанского движения в эпоху Альбигойских войн (XIII в.).

III. Висячее Озеро

Хриностат — по магическим представлениям, растение, оберегающее путешественников; «подчиняется» Луне.

Витрувий Марк Поллион — великий римский архитектор (I в. до н. э.); изобрел нажимные клавиши. Первые органные клавиши были огромного размера — очень широкими и тяжелыми. Поэтому органист играл не пальцами, а сжатыми кулаками, даже локтями, надевая специальные кожаные перчатки, чтобы не было больно.

«*Халуппа Качума*»... — «Халуппа» — искаженное от «хулушпу». В сказании о Гильгамеше (шумерская версия) описывается дерево хулушпу (обычно отождествляемое с ивой), растущее на берегу Евфрата; в его корнях жила змея, в ветвях — птица Анзуд, а в стволе — Лилит (в иудейской мифологии — первая жена Адама — демоница). «Качум» — на жаргоне музыкантов — отдых, бездействие, пауза.

... *сапфировый сосуд с морским ладаном*... — Сапфир нередко называли камнем мореплавателей. Сапфиры помогали избежать кораблекрушения, вызывали ветер и т.д. Одновременно — камень верности, целомудрия и скромности. Морской ладан — в старину одно из названий янтаря.

... *со дня Клян-моря, который «обладает силой могучей и силе той нет конца»*. — Цитата из старинного знахарского заговора.

В немецких милях, или в английских? — Немецкая, или географическая, миля равна 7420 м. Английская, или морская, миля — 1853 м.

... *перстень с крупным аквамаринном*. — Аквамарин служил профессиональным талисманом моряков, т. к. обеспечивал победу в морских сражениях и безопасность в путешествиях.

В ванне через Ла-Манш... ... *даже в гробу ходили, я сам в газетах читал*. — Английский студент Аллен Уитт переплыл пролив Ла-Манш в обыкновенной ванне, укрепив на ней мотор. Скорость этой моторизованной ванны достигала 10 км в час. Другой англичанин — Роберт Платтон переплыл Ла-Манш в кровати, поставленной на понтоны, и обещал повторить этот рейс в гробу. (По материалам советской прессы 70-х гг. XX в.)

IV. Сад и его Старый Садовник

... *Филиппычем*... ... *называл Александра Македонского*... — Филипп II (ок. 382–336 до н. э.) — царь Македонии с 359 г. до н. э., отец Александра Македонского (356 — 323 до н. э.).

... *о садовнике Абдолониме*... — Абдолоним (IV в. до н. э.) — потомок сидонских царей, которого Александр Македонский, завоевав Сидон, возвел на престол. Был простым садовником.

... *шляпа, украшенная мшаным агатом*. — Мшаный агат с научной точки зрения является не агатом, а прозрачным халцедоном. Он считался счастливым камнем для лесничих, садовников и крестьян.

... *подобно северному Дедалу, распознавал в них полеты человеческих мыслей*. — Северным Дедалом называли Эммануила Сведенборга (1688–1772), который в своих сочинениях писал об аналогии между по-

летом птиц и человеческими мыслями. В древнегреческой мифологии Дедал — самый искусный из смертных, прославился как ремесленник, художник и скульптор. Он соорудил крылья для своего сына Икара.

... *о серинетах для нудного обучения пению*. — Серинет — маленький органчик высокого строя, с рукояткой; служит для обучения птиц пению мелодий, в особенности чижигов (*франц. serin*) и канареек.

... *перископ Уоддингтона*... — Перископ, изобретенный Дж. Уоддингтоном (Канада) для изучения роста корневой системы растений.

Сент-Илер Этьен-Жоффруа (1772–1844) — французский зоолог. Занимался сравнительной и эмбриональной зоологией. Среди открытий — объяснение происхождения полулунной складочки на веках у *Homo sapiens*'а (человека разумного) как рудимента мигательной перепонки; открыл рудиментарные зубы у птиц.

... *истории о страшной Гидре*... — Лернейская Гидра — в древнегреческой мифологии чудовище, обитавшее в болоте Лерна. У нее было девять голов, и на месте отрубленной вырастала новая. Победить Гидру удалось лишь Гераклу.

Тифон — в древнегреческой мифологии чудовище, у которого было сто змеиных голов, которые лаяли, рычали и шипели; сын Земли и Тартара. Низвергнутый под землю за бунт против Зевса, он лежал там связанный, извергал пламя и сотрясал почву.

Уранбад — сказочное чудовище вроде дракона, живущее на горе Ахермана, где собирались злые духи (Ахерман, или Ариман, также — злое божество зороастрийцев, враждебное доброму божеству Ормузду).

Бриарей — прозвище Эгеона, сторукого великана, сына Урана и Геи (т.е. Неба и Земли).

... *маркиз де Сад* (1740–1814) — французский писатель, автор скандально известных произведений («Жюстина» и др.), от фамилии которого произошел термин «садизм». Здесь — игра слов.

V. Орнитологические изыскания Старого Садовника

Congnosco stilum, как говорили классики. — Полностью латинское выражение звучит так: «*Congnosco stilum curiae romanae*» («Узнаю стиль римского двора»).

VI. Путешествие по Саду

Палинология — раздел ботаники, изучающий пыльцу и споры растений, их форму, строение и развитие, закономерности рассеивания и захоронения.

... *тайнобрачие или явнобрачие*... — Тайнобрачные растения, или споровые, размножаются спорами (грибы, лишайники, водоросли, хвощи, папоротники и т. д.), т. е. мелкими, большей частью одноклеточными крупинками, и не развивают ни семян, ни плодов, ни цветов. Явнобрачные (цветковые или семенные) размножаются цветками и семенами.

... пояснениями к доктору Цезальпину... — сочинение под названием «*De Plantis*»... — Андреа Цезальпин (1519–1603), итальянский врач и философ. В сочинении «*De Plantis*» (1583) дал классификацию растений, основанную на разновидностях их семян.

... у Седира в его книге «*Магические растения*»... — «Магические растения» («*Les Plantes Magiques*») — книга французского оккультиста Поля Седира (1871–1926), состоящая из трех частей: «Оккультная ботаника», «Герметическая медицина», «Палингенезия. — Универсал из росы», с приложением: «Ботанический словарь герметической медицины».

... в сочинениях уважаемого Плиния, или того же Альберта Великого... — Единственное уцелевшее произведение Плиния Старшего — «Естественная история». Альберту Великому (Альберт фон Больштедт) приписывают апокрифические сочинения вроде «Книги работ Альберта Великого о некоторых свойствах трав, камней и животных».

Левенгук Антони ван (1632–1723) — нидерландский биолог-микробиолог. Открыл различие в строении у одно- и двудольных растений.

... *Леонардо, великий мастер*... — Т. е. Леонардо да Винчи. Описанная история является историческим фактом.

Камерариус — Рудольф-Яков Camerarius (1665–1721) — немецкий врач, ботаник, профессор в Тюбингене; известен своими работами по физиологии растений. Его главное произведение — «*De sexu plantarum epistola*» (Тюбинген, 1694).

Нежнейшие стебли оберонусов... — «Оберонус» — авторский неологизм, производный от имени Оберон. Оберон — король фей, который помог молодому рыцарю сэру Хьюону из Бордо (герой старофранцузской поэмы XIII в.) завоевать сердце красавицы леди Эсклермонд, дочери эмира Вавилона. Некоторые темы этой поэмы нашли отражение в творчестве Э. Спенсера, У. Шекспира, К. Виланда.

Камала — индийское название цветка лотоса, прилагаемое как эпитет к имени богини Лакшми (и одно из ее имен).

Камери — индийская кукушка, постоянный спутник бога любви Камы. Пение ее монотонно, но приятно.

Кандарпа — одно из имен индийского бога любви Камы.

Альдиран — по астрологическим представлениям, звезда, образующая как бы передние лапы созвездия Льва.

VII. Любиния, руководителей и другие...

... *Агриппа предупреждал*... — Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма (1486–1535) — немецкий натурфилософ, богослов, юрист, дипломат, военный, профессор и врач, человек универсальной учености. В своем сочинении «Об оккультной философии» (1536) он защищал, как и его учитель Иоганн Тритемий, «естественную» магию. Он утверждал, что птицы приносят счастье, если садятся справа и число их четное.

... *манизоловую ветвь...* — Манизола («Утешение через Мани», т. е. высшей Любовью) — старинный праздник катаров (альбигойцев) в Провансе. Манизола также — священный камень. Альбигойцы видели в камне Мани духа-утешителя (Параклета, по-гречески), высшую Любовь — и в то же время Деву Марию, женственный дух, принцип всепоглощающей любви к людям. С падением замка Монсежюр (1244), в котором, по преданию, хранилось сокровище альбигойцев, идеалы хранителей Грааля не умерли, но под рукой инквизиторов-хронистов название праздника «Манизола» («Утешение высшей Любовью») превратилось в «Мализолу» («Утешение злом»).

... *память об Альбигойских войнах...* — Альбигойские войны 1209–1229 гг. Отлученные от Церкви, катары (альбигойцы) подверглись гонениям мирских и церковных властей, что вылилось в масштабную войну в Провансе и Лангедоке. Папа Иннокентий III объявил против альбигойцев крестовые походы, поводом к которым послужило убийство папского легата Петра де Кастельно, совершенное одним из приближенных вождя еретиков графа Раймунда VI Тулузского. Состоявшее в основном из северофранцузского рыцарства, войско крестоносцев под предводительством графа Симона де Монфора жесточайшим образом расправлялось с еретиками. К концу 20-х гг. XIII в. альбигойская трагедия завершилась окончательно. Богатейший цветущий край Прованс с его замечательной цивилизацией был разорен, а сами альбигойцы исчезли с исторической арены.

... *хронический катар легких, желудка...* — Здесь — игра слов: катары («чистые») — во Франции и Германии (то же, что и альбигойцы) последователи гностико-манихейского учения в Южной Франции (XII–XV вв.).

VIII. История последнего трубадура

Пампаригусто — сказочная страна в южно-французском фольклоре.

... *страшными бамбарушами, мармальями и румеками...* — Бамбаруш — черный зверь, сказочное существо из южнофранцузских поверий, которым пугают детей. Мармаль — то же, что и бамбаруш. Румек — сказочное существо, аналогичное вампиру.

... *под натиском человеческой злобы и жадности пал заоблачный Монсежюр...* — Речь идет о крестовых походах против альбигойской (катарской) ереси в Южной Франции (Прованс, Лангедок) в 1209–1229 гг., получивших название Альбигойских войн. Замок Монсежюр, последний оплот катаров, был не просто крепостью, но своеобразной обсерваторией, храмом Солнца — огненного символа Добра. Он был взят крестоносцами в 1244 г. Все защитники замка погибли. Двести пятьдесят мужчин, женщин и детей взошли на костер.

... *прекрасная владычица... .. великую тайну.* — Подразумевается Эсклармонд, графиня де Фуа. Известно старинное предание пиренейских

горцев об Эсклармонд, хранительнице Грааля. Когда Грааль был спасен (от крестоносцев), она поднялась на вершину горы, превратилась в белую голубку и улетела к горам Азии. «Эсклармонд не умерла. Она и сейчас живет там, в земном раю».

...удалось бежать одному-единственному человеку. — Из протоколов инквизиции известно, что в последнюю ночь из осажденного Монсежюра бежали четверо альбигойцев и унесли свое главное сокровище. Что это было, никто не сказал даже под пыткой.

... поминал своих друзей — Фигейру и Рюделя, и Гираута де Борне... — Знаменитые провансальские трубадуры. Гильом Фигейра (1215 — ок. 1250) проклинал в одной из своих сирвент церковный Рим за то, что папские слуги лукавыми речами похитили у мира свет. Джауфре (Жофруа) Рюдель (ок. 1140–1170) — французский трубадур, из рода графов Ангулемских; жил при дворе Жофруа, графа бретанского, брата английского короля Генриха II. Мотив «любви издалека» проходил через всю лирику этого трубадура. Гираут де Борне (Гиро де Борнейль) — трубадур, расцвет творчества которого пришелся на 1175–1220 гг.

Тарн, Альби и Тулуза — города на юге Франции, центры альбигойской ереси (до XIV в.).

... магазина «Сяйво» и Библиотеки Вернадского... — «Сяйво» — популярный в Киеве книжный магазин писателей на улице Красноармейской; прекратил свое существование в 2010 г. Библиотека имени Вернадского — Национальная библиотека Украины, находится на Московской площади в Киеве.

Лемниската — (∞) — символ бесконечности.

IX. «Хвалебник» Майонеза Провансальского

Сузинон — ароматное масло, которое древние египтяне изготавливали из цветков лилии.

... чудесных Афинских садов Фрины... — Фрина — афинская красавица гетера (IV в. до н. э.). Прославившийся в веках ее сад утопал в розах, гиацинтах, нарциссах, однако первенство принадлежало лилиям.

Флора — богиня растительного мира. На ежегодных празднествах, посвященных богине Флоре женщины состязались в беге, и победительниц украшали венками из лилий.

Авлós — древнегреческий язычковый духовой инструмент: две трубки из тростника, дерева, кости, позднее из металла с пальцевыми отверстиями (от трех и более).

Королевство Лилий — Франция. Лилия изображалась на скипетре первых французских королей. Со времен Людовика VII белое знамя с изображением трех лилий становится во Франции символом государства.

... все музыканты — Люлли... — Жан Батист Люлли (1632–1687), итальянец по происхождению, французский композитор, основоположник французской оперной школы, создатель национального музыкально-театрального жанра лирической трагедии.

... до сказочных Суз... — Сузы — «город лилий». Так древние персы называли свою столицу (зимнюю резиденцию персидских царей) между притоками Тигра, Хаоспом и Евлеем, а на ее гербе было изображено несколько лилий.

Primum mobile — перводвигатель (лат.), источник жизни. Солнце обладает в высшей степени очистительными и оздоравливающими свойствами, т.к. восходит к «*primum mobile*». Это также последняя (одинадцатая) сфера в системе мира Птолемея, расположенная за сферой неподвижных звезд и давшая движение всем остальным сферам.

Глобус Киева

Супранатурализм — вера в сверхъестественное, сверхчувственное; в частности учение о том, что истины веры покоятся на Божественном откровении.

Кататонический ступор — кататония — вид психического расстройства (наряду с кататоническим возбуждением) с преобладанием двигательных нарушений.

... некий горестный селекционер Цветов Зла... — Имеется в виду французский поэт Шарль Бодлер (1821–1867), предшественник французского символизма, написавший книгу стихов «Цветы Зла» (1857).

A fine excess... — «Чудесные крайности» (англ.) — с точки зрения английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821), важнейший принцип искусства.

... подарок великого Гермеса — волшебную лиру... — Гермес считался изобретателем и покровителем музыки. Он изготовил лиру, которую у него выпросил Аполлон.

... подобно Эпимениду, плавно погружаются в глубокий пещерный сон... — Эпименид — легендарный древнегреческий жрец и философ, о котором рассказывается, в частности, что он проспал в пещере более пятидесяти лет без перерыва.

Приап — крестьянское божество плодородия, изображавшееся безобразным приземистым стариком с неестественно могучим, восставшим фаллосом; символизировал сладострастие в римской мифологии.

... о татарском следе с его жуткой «куявой». — Существует предположение, что топоним «Киев» происходит от тюркского «куява». «...М. Ижбулатов, пересказывая мнимый памятник 882 года, сообщает (Мидхат Ижбулатов. «Киев — столица древней Булгарии»), что «Киев основан... Шамбат ханом по приказу его старшего брата Кубрат хана». Позднее братья поссорились. «После ссоры братьев Кубрата и Шамбата старший прозвал младшего Кием, что в переводе означает 'отрезанный, отделённый', и поэтому город Шамбатос со временем стал называться Киевом». [...] В польском языке сохранилось слово «Куюва», означающее «песчаный холм». Исходя из всех этих фактов, С. Роспанд пришел к обоснованному выводу, что свое название город Киев получил не от личного имени, а от топографического термина. А. М. Ижбулатов, не будучи зна-

ком с этими исследованиями, по-прежнему старается произвести топоним Киев от имени человека, которого якобы должно считать основателем города. Неверно объяснив происхождение названия “Киев”, историк-краевед этим не ограничился. “В ходе исследований, — сообщает он, — я пришел к выводу, что Киев был не просто основан булгарами, а являлся столицей Великой Булгарии”». (Владимир Кучкин. «Кем и когда был основан Киев». Татарский мир. № 3, 2004 г.)

«Эфемерные цветы» — цветы, остающиеся открытыми менее суток, через несколько часов после раскрытия они уже отцветают.

Тан — династия китайских императоров (618–907), основанная Ли Юанем.

Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий историк и географ, написавший «Исторические записки» и «Географию» (в 17 книгах), до нас не дошедшие.

... манускрипты из некогда утерянной библиотеки Гомелесов... князя Потоцкого... — Гомелесы — некий мавританский род шейхов в романе «Рукопись, найденная в Сарагосе» польского ученого и писателя Яна Потоцкого (1761–1815).

Аль Хидр — мусульманский пророк, наиболее популярный персонаж арабского и персидского средневекового фольклора. Обычно играет роль «бога из машины» (т.е. непредвиденного обстоятельства) в сказках и «народных романах», выручая героев в самые трудные моменты. Аль Хидр обладает чудесными свойствами мгновенно доставлять героя в самые отдаленные страны.

... дело рук преподобного Роджера Бэкона... — Роджер Бэкон (ок. 1214–1292) — монах-францисканец, профессор в Оксфорде, универсальный ученый, прозванный «*doctor mirabilis*» («удивительный»), ранний представитель научного эмпиризма, математик, оптик, астроном. Существует легенда о том, как он вместе со своим учеником, монахом Бунгеем, изготовил говорящую бронзовую голову. Согласно этой же легенде, в конце жизни Роджер Бэкон покаялся и стал отшельником.

... истинный творец следует мудрому совету Фомы Кемпийского: «Ama nesciri»... — Цитата из латинского сочинения «*Imitatio Christi*» («О подражании Христу») Фомы Кемпийского.

... игрушечный Мадуродам — одна из достопримечательностей Гааги (Нидерланды) — город-музей, в котором все как настоящее, только в одну двадцать пятую часть натуральной величины. Был основан родителями Георга Мадуро, погибшего в борьбе с фашистами, — отсюда и его название.

Оболонь — жилой массив в правобережной пойме Днепра (Минский район). Название — древнеславянского происхождения; означает низкий берег реки, заливаемый весенним половодьем (оболонь, болонье). Оболонь упоминается в летописях под 1096, 1151, 1161, 1174 гг. в связи с отражением нападений кочевников и княжескими междоусобицами. Заливные луга Оболони использовались под пастбища. Основная застройка жилого массива выполнена в 1974–1980 гг.

Авалон — известный еще из кельтских преданий мифический остров «где-то на западе», «страна блаженных», куда якобы удалился легендарный король Артур. Позднее остров Авалон помещали в местности, где был расположен монастырь Гластонбери; там в 1190 г. была «обнаружена» могила Артура.

... из сочинения *Гальфрида Монмутского «Vita Merlini»*. — «Жизнь Мерлина» (*лат.*) — стихотворное сочинение Гальфрида Монмутского (ок. 1100–1154 или 1155), английского писателя (уроженца Уэльса), о жизни которого сохранилось очень мало сведений. Он также автор «Истории бриттов», в которой дал свою версию жизни короля бриттов Артура, завоевавшую впоследствии большую популярность и легшую в основу будущего артуровского цикла.

... *insula vitrea* *Гиральда Камбрейского*. — Гиральд Камбрейский (ок. 1146–1220) — известный хронист, обосновавший в своем латинском сочинении «*De principis instructione*» (1192) значение слова «Авалон» как «Стеклянный остров» (*лат.* «*insula vitrea*»), рассказывая о раскопках, которые производили монахи Гластонберийского аббатства в 1190 г.

... *Авалон находится на территории Гластонберийского аббатства*... — «Гластонбери, как ее называют теперь, звалась в прошлом островом Авалоном; это действительно почти остров, со всех сторон окруженный болотами» (Гиральд Камбрейский, «*De principis instructione*»). Помимо Гиральда Камбрейского, теории Гластонбери-Авалон придерживались Роберт де Борон («Перлесво») и особенно сами монахи Гластонберийского аббатства.

В Пуцу-Водицу? На охоту? — Пуца-Водица — дачно-курортная местность на северной окраине Киева. Название происходит от слова «пуца» (густой труднопроходимый лес) и наименования реки Водица. С XI в. Пуца-Водица известна как место княжеской охоты.

Куренёвка — историческая местность в Подольском районе, между Подолом, Приоркой и Сырцом. Известна с середины XVII в. как предместье, где размещались курени, т.е. шатры (отсюда и название) казацкого гарнизона.

...в эпоху *Каролингского Возрождения*... — «Каролингским Возрождением» называется культурный подъем в империи Карла Великого и в королевствах династии Каролингов в VIII–IX вв., выразившийся в организации школ, привлечении к королевскому двору образованных деятелей (Алкуин, Эйнгард), в развитии литературы, изобразительного искусства, архитектуры.

... с их *острыми gabers*... — *Gab* (*старофранц.*) означает насмешку, шутку, осмеяние, особенно как вступление к вооруженной схватке, однако имеет отношение и к праздничной трапезе. Во времена Карла Великого и его палатинов *gabers* был целым искусством.

... *поединки в хуле*... — Своеобразные поединки в хуле, или «Тяжба мужей», встречаются в древнегерманской традиции.

Алкуин (ок. 730 — 804) — англосакс знатного рода, поэт. В 781 г. Карл Великий привлек его к своему двору. С 793 г. Алкуин — руководи-

тель придворной школы в столичном городе Аахене и глава Академии. Активная деятельность Алкуина во многом способствовала тому, что двор Карла стал главным культурным центром Франкского государства.

... *принципы своих «Капитуляриев о поместьях»*... — Речь идет о своде законов и распоряжений Карла Великого и других франкских королей династии Каролингов (VII–IX вв.).

Трамвайный парк имени Красина... — Один из старейших в СССР трамвайных парков; находится на Куренёвке, на улице Фрунзе.

А вот и Рейтарская, и Стрелецкая... — Улицы в историческом центре Киева.

... *Северная Троещина — с Южными Осокорками*... — Троещина — современный жилой массив (с 1981 г.), построенный на месте древнего поселения, на левом берегу реки Десёнки и пролива Черторой; северная часть левобережного Киева. Осокорки — посёлок на левом берегу Днепра. В настоящее время — жилой массив (Харьковский район); южная часть левобережного Киева.

Ошеломительная история рождения Котомыша Лаврентия Печерского

Карл Линней (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира, первый президент Шведской Академии Наук (1739). Автор трудов «Система природы» (1735), «Философия ботаники» (1751) и др.

... *господина Мышлаевского*... — Капитан Мышлаевский — персонаж романа М. А. Булгакова (1891–1940) «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».

КНИГА СТРАНСТВИЙ

В небе и на земле

I. Классик

Дромомания — непреодолимое стремление к бесцельному блужданию, перемене мест, бродяжничеству.

... *вслед за вещим Вакенродером, сравнить себя*... — Далее — цитата из сочинения немецкого романтика Вильгельма-Генриха Вакенродера (1773–1798) «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств».

... *Золотые Ворота, которые рубил своей саблей Боняк Шелудивый*. — Боняк (кон. XI — нач. XII вв.) — половецкий хан, прозванный русскими летописцами «шелудивым хищником» за свои частые и губительные нападения на Киевскую Русь. В одной из легенд XII в. говорится о том, как Боняк рубил саблей Киевские Золотые Ворота.

Ибн аль-Фарид (1181–1234) — арабский суфийский поэт. Обратившись к суфизму, несколько лет провел в уединении на горе Мокаттам (под Каиром), в аскезе, предаваясь размышлениям. В дальнейшем много странствовал в поисках истины.

Святой Брендан (484–577) — ирландский монах, по свидетельству многих средневековых легенд, совершивший плавание к «Обетованному острову» (раю), герой жития «Плавание Св. Брендана» (X в.) и англо-норманнской поэмы «Путешествие Св. Брендана» (1121).

Густрата — в древних германских мифах место захода солнца. Это загадочное название до сих пор не получило бесспорной расшифровки. Встречается в немецкой эпической поэме XIII в. «Кудруна» (XXIII авентюра, 1164 ст.).

... *Архистратиг Михаил с целой ратью ангелов в золотых шлемах.* — Архистратиг Михаил — небесный покровитель города Киева. В этом эпизоде подразумевается разрушенный в 1934 г. Михайловский Златоверхий собор.

Святополк-Михайловский переулочок — дореволюционное название Михайловского переулка; расположен между Михайловской и Ирининской улицами.

... *интригам Красного Герцога...* — Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585–1642), кардинал (с 1622), фактический правитель Франции. Способствовал укреплению абсолютизма. Вовлек Францию в Тридцатилетнюю войну. «Красным Герцогом» назван по цвету кардинальской мантии.

Радомски Пауль — штурмбанфюрер СС, в 1941–1943 гг. комендант Сырецкого концлагеря для военнопленных близ Бабьего Яра. Был известен своей садистской жестокостью по отношению к заключенным.

... *две таинственные буквы «ТЖ»...* — Аббревиатура «ТЖ» означает: «Товары для женщин». Парфюмерный магазин, о котором здесь идет речь, находился на ул. Владимирской, № 41; не сохранился.

«*Театральный*» — один из старейших киевских ресторанов. Находился на Владимирской улице.

... *строили его как Дворец Труда...* — Действительно, здание, в котором располагался КГБ (в романе — Серый Терем), первоначально строилось как Дворец Труда.

Ниневия — столица Ассирийского государства (ок. XIV–VII вв. до н. э.), занимавшая огромную территорию, известная в древности богатством и аморальным поведением своих жителей.

Тиглатпаласар — под этим именем истории известны два ассирийских царя-завоевателя: Тиглатпаласар I — царь второй ассирийской империи (ок. 1114 — ок. 1076 до н. э.), совершивший ряд завоевательных походов в Малую Азию, Сирию, Финикию, и Тиглатпаласар III — царь Ассирии в 745–72 до н. э., который также проводил жестокую завоевательную политику.

Поднебесная — в китайской литературе одно из традиционных названий Китая.

... с бывшей Бульварно-Кудрявской улицы ... — Ныне улица Воровского, одна из старейших улиц Киева. Пролегает от Львовской площади до площади Победы. На этой улице находится Институт ортопедии.

... пьет кофе на Пьяном углу. — «Пьяным углом» киевляне называли угол Большой Житомирской и Владимирской улиц, где располагался популярный у художников и литераторов гастроном с кулинарным отделом (Большая Житомирская, 8/14).

... поживает кофеек великий Глуценко... — имеется в виду Глуценко Н. П. (1901–1977), известный советский живописец, который жил в описанном выше доме с угловым гастрономом (Большая Житомирская, 8/14), т. е. на «Пьяном углу».

... хранит акварели запрещенного немецкого художника Адольфа Шикльгубера... — Речь идет о Гитлере (настоящее имя Адольф Шикльгубер, 1889–1945), который в молодости мечтал стать художником. Известно, что он действительно подарил Н. П. Глуценко несколько своих акварелей.

... забегает в гастроном Василь Касиян... — Советский художник-график Касиян В. И. (1896–1976) также жил доме на «Пьяном углу» (Большая Житомирская, 8/14).

... педагогического учения Фребеля... — Фридрих Фребель (1782–1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработал идею детского сада и основы методики работы в нем. С 70-х гг. XIX в. в Российской империи существовали так называемые Фребелевские общества, объединявшие педагогов дошкольного воспитания. Они открывали главным образом платные детские сады и Фребелевские курсы. Киевское Фребелевское общество (1908) имело Фребелевский женский педагогический институт (высшее трехгодичное учебное заведение, после 1917 года преобразованное в Институт народного образования).

... на всех городских рынках — от Владимирского до Никольской слободки... — Владимирский рынок в Киеве находится между улицами Красноармейской и Горького. Никольская слободка — историческая местность, входившая в состав нынешних Дарницкого и Днепровского районов. В 1508 г. стала собственностью Пустынно-Никольского монастыря (отсюда и название). В настоящее время на территории Никольской слободки — Левобережный жилой массив с большим рынком «Юность» и др.

... в одной из типографий Маркса... — Маркс Адольф Федорович (1838–1904 гг.), крупнейший российский издатель.

... в Обществе слепых на Подоле... — Имеется в виду УТОС (Українське товариство сліпих).

... так называемые «кукиши»... — «Кукиши» — члены всероссийского комитета помощи голодающим (распущен В. И. Лениным в 1921 г.), названные так по имени его участников. Среди последних были Е. Кускова, впоследствии активный деятель белоэмиграции, сионист Н. Кишкин, один из лидеров партии кадетов.

... на углу Игоровской и Набережной улиц... — Старые улицы на Подоле возле Днепра.

... одновременно и король Ричард... и верный Блондель, что распевает песенку-пароль под стенами всех «бургов»... — Ричард Львиное Сердце Плантагенет (1157–1199), король Англии; участник Третьего крестового похода. На обратном пути в Англию, в декабре 1192 г. Ричард недалеко от Вены был схвачен герцогом Леопольдом IV Австрийским и заключен в темницу в Дюрренштейне, затем выдан императору Генриху IV; последний продержал Ричарда в замке Трафельзе до февраля 1194 г., когда его за выкуп в 150 тысяч марок серебром выпустили на свободу. Блондель, прозванный Блондель де Нель, по месту своего рождения (Nesle в Пикардии), знаменитый трубадур конца XII в. По преданию, он был любимцем короля Ричарда Львиное Сердце, его учителем в музыке и поэзии, спутником в крестовом походе. Когда на обратном пути из Палестины Ричард был заточен Леопольдом Австрийским в крепость Дюрренштейн, Блондель отправился на поиски без вести пропавшего друга. Распевая под стенами городов и замков известную только ему и Ричарду песню, он открыл, наконец, место заточения короля. Блондель поспешил в Англию и сделал все возможное, чтобы добиться выкупа Ричарда. (Реймская хроника второй половины XIII в.).

... легендарной книги Фламель... — По легенде, эту книгу знаменитому французскому адепту алхимии Николаю Фламелью (1330–1418) показал ангел, явившийся во сне.

Иерихонская роза — растение, распускающееся только во время дождя.

Пи-и — в китайских легендах птицы, сросшиеся парами и летающие вместе на правом крыле самца и левом крыле самки.

Imperfetto Fabulativo — «имперфетто фабулативо» (*umal.*) — имперфект, употребляемый в сказках. Термин придуман итальянским писателем-сказочником Джанни Радари. В своей книге «Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывать истории» он писал: «Чтобы познать себя, надо иметь возможность себя вообразить».

Ксерион — греческое название универсального вещества-эликсира, способного превращать любой металл в золото.

... магических квадратов Абра-Мелина... — Речь идет об известной «Священной магии» египетского мага Абра-Мелина, первой книге «Святой магии», которой пользовались Моисей, Авраам, Давид, царь Соломон и др. В квадрате «Быть любимым» текст гласит: MIDODODIM.

... печальный оникс... — В древности арабы называли оникс «эль-джазо» — «печальный». Он вызывал у них суеверный ужас, ему приписывали мрачные свойства. По Аболаису («Лапидарий Короля Альфонса X Мудрого», XIII в.): «Что же касается названия “оникс”, то на языке страны, где встречаются эти камни, оно означает “уносящий радость”, потому что у всех разновидностей этого камня есть одно общее свойство: тот, кто носит его при себе, начинает испытывать беспричинный страх...».

II. Летающий корабль

... *круглый купол Александровского костела...* — Александровский костел на улице Костельной. Назван в честь императора Александра I. Сооружен на месте сгоревшего деревянного костела и открыт в 1842 г. Во времена, описываемые в романе, в здании костела находился планетарий (с 1952 г.).

Экстирпация — радикальное удаление какого-либо органа.

Бак — корабельная носовая надстройка для защиты верхней палубы от заливания встречной волной, размещения служебных помещений. На баке находятся якорное и швартовое устройства.

... *повизгивания талей.* — Таль — подвесная подъемная лебедка.

... *на бизани неожиданно треснул гафель...* — Бизань — третья мачта на судне, считая с носа. Гафель — наклонный рей, закрепляемый на верхней части мачты.

Фортик — крайний носовой отсек судна, где обычно размещается цистерна для водяного балласта.

Бейдевинд — курс парусного судна при встречно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна и линией направления ветра меньше 90°.

... *концы бом-брам-стенъга...* — Стеньга — продолжение верхнего конца судовой мачты, служащее для крепления сигнальных реев, судовых огней, гафелей, парусов. Продолжение стеньги — брам-стенъга, продолжение брам-стенъги — бом-брам-стенъга.

... *и небесные собаки Фу...* — Собаки Фу (или Небесные львы Будды) в древнем Китае были охранителями от злых духов, и связывались с пожеланиями счастья и благополучия. Они являлись мощным символом защиты дома и известны тем, что обладали способностью не пускать в дом неблагоприятные энергии и злых людей. По силе защиты, этих животных можно сопоставить с зеркалом Ба гуа.

Цербер — в древнегреческой мифологии сын Тифона и Ехидны. Вергилий в «Энеиде» и Овидий в «Метаморфозах» представляли его, как трехглавого пса со змеиным хвостом, который охраняет вход в Ад. У Данте Цербер не только охраняет вход в Ад, но и терзает души чревоугодников.

Собака Семи Спящих — согласно Корану, в наказание за непослушание по воле Аллаха семеро юношей были погружены в сон, длившийся 300 лет. Их сон охранял пес Китмир, лежащий у входа в пещеру, где они спали. На Ближнем Востоке эта легенда известна еще с V в. В христианской традиции с ней перекликается легенда «О спящих в Эфесе»: семь эфесских юношей-христиан укрылись в пещере от преследований римского императора Деция (III в.), уснули там и пробудились лишь при ревнителе христианства, императоре Феодосии II (V в.).

Иероним Рорарио (1485–1556) — итальянский ученый, писатель, автор труда «Почему неразумные животные существа лучше пользуются разумом, чем люди».

III. Альгакобилла

Октан — угломерный астрономический инструмент. Применялся в мореходной астрономии.

Угломер-алидада... — линейка с верньерами и линзами на концах, поворачивающаяся вокруг центра угломерного лимба.

Астролябия — угломерный прибор, употреблявшийся в астрономии до XVIII в. для измерения долгот и широт, расстояния до светил, а также горизонтальных углов при землемерных работах.

Армилла Фалеса — армиллярная сфера — астрономический прибор, предназначенный для измерения углов, состоящий из комбинации нескольких окружностей, которые посредством регулировочных винтов и других приспособлений располагаются в соответствии с основными кругами небесной сферы. Изобретение армиллярной сферы приписывается Фалесу или Анаксимандру (IV в. до н. э.).

«*Hic sunt Leones*» — «Здесь обитают львы» (*лат.*). Такая надпись встречается на географических картах XV в.: в углу карты на изображении большого безымянного пространства.

... *Козьма Индикоплов со своей плоской топографией*... — Козьма Индикоплов, т. е. «плаватель в Индию» (сер. VI в.), византийский писатель, купец из Александрии, позднее монах на Синае. В своей «Христианской топографии» — богословско-космографическом трактате, посвященном устройству мироздания, — Козьма отвергал представление о шарообразности Земли. Обитаемый мир он представлял в виде прямоугольника, окруженного океаном и стенами с небесной твердью в форме двойной арки, где укреплены небесные светила, которыми управляют особые ангелы, следящие за сменой дня и ночи. Солнце движется вокруг конусообразного возвышения в северной части земной плоскости. Видимое небо, или твердь небесная, скрывает за собой невидимые небеса, где пребывает на седьмом небе Бог.

... *карта Луны, снабженная таблицами Ганзена*. — Петер Андреас Ганзен (1795–1874) — немецкий астроном и геодезист. На основе усовершенствованных теорий движения Луны составил Лунные таблицы высокой точности.

Я — Альгакобилла. — Альгакобилла (от *Algacowila*) — стручковые плоды (маленькие, чечевицеобразные, черноватые бобы), растущего на севере Чили и в Колумбии кустарника *Juga Marthae*. Содержат в себе много дубильной кислоты и употребляются для окрашивания в черный цвет и приготовления чернил.

«*Nigrum nigro nigrius!*» — «Чернь чернее черной ночи!» (*лат.*) — здесь эти слова употреблены в прямом смысле. Символически — это состояние мира до Рождества, а в алхимии — начало первой стадии всякого преобразования, стадия *nigredo* (напр., по Николя Фламелю, «*Figures Hieroglifiques...*»).

Альдрованда Дрозераца — Альдрованда (*лат.* *Aldrovanda monti*) — растение из семьи росянковых (*лат.* *Droseraceae*); единственный вид ее,

растущий в прудах средней и южной Европы, а также в Индии и Австралии. Маленькая, многолетняя, погруженная в воду трава с нитевидным стеблем и густо расположенными, маленькими листьями. Это невзрачное растение, цветущее в июле и августе, принадлежит к растениям-хищникам, ловящим, с помощью своих чувствительных к раздражению листьев, маленьких животных и их, вероятно, переваривающим.

IV. Пес Петров

«*Нах, рах, тах!*» — Старинный заговор против укуса бешеной собаки.

Марко Поло (ок. 1254–1324) — итальянский путешественник. В 1271–1275 гг. совершил путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. Написанная с его слов «Книга» (1298) — один из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии.

Престициар — (лат. «фокусник», «чародей») — имя пса Мефистофеля, черного пуделя, в народных сказаниях о Фаусте.

Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) — немецкий филолог, философ, языковед.

Марр Н. Я. (1864/65–1934) — русский советский востоковед и лингвист; автор «яфетической теории» («Новое учение о языке»).

Костомаров Н. И. (1817–1885) — русско-украинский историк, писатель, исследователь и пропагандист украинского фольклора, древних авторов.

Плотин (ок. 204/205–269/270) — древнегреческий философ, основатель неоплатонизма («Энеады»).

оба Плиния — Старший и Младший... — Плиний Старший (23 или 24–79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории» (энциклопедии естественнонаучных знаний античности в 37 книгах). Плиний Младший (61 или 62 — ок. 114) — римский писатель, консул (сохранились сборник писем в 10 книгах и похвальная речь «Панегирик» императору Траяну).

Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк, изучавший историю Рима и римское право («Римская история»).

Фробенус Лео (1873–1938) — немецкий этнограф-африканист, выдвинувший теорию культуры как социального организма.

Грейвс Роберт (1895–1985) — английский писатель и историк («Божественный Клавдий», «Рубайят», «Белая Богиня» и др.).

Хёйзинга Йохан (1872–1945) — нидерландский историк и философ, исследовавший историю средних веков и Возрождения («Осень Средневековья», «Homo ludens» и др.).

Единственно, кого я на дух не выносил, это картезианцев. — Картезианцы — последователи учения французского философа Декарта (1596–1650); придерживались мнения, что все животные суть простые машины.

«Естественная история» Бюффона... — «Естественная история» (1749–1788) — основной труд французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (1707–1788), в котором он развивал идею о единстве органического и неорганического мира на Земле.

... хотелось мне, чтобы сказанные мною слова никогда не были сказаны и чтобы я никогда не жил среди людей... — Цитата из сочинения Фомы Кемпийского «О подражании Христу».

Dixi et animam meam salvavi — «Я сказал и спас (облегчил) свою душу» (лат.). Источник этого выражения — Библия, книга пророка Иезекииля (33, 9): «Если ты вразумлял нечестивца, а он не обратился от пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты освободил (*liberasti*) душу свою».

Eloquentia canima — «Собачье красноречие» (лат.) — об острой и злой манере полемизировать с противником. Выражение принадлежит Квинтилиану (ок. 35 — ок. 96). — Из его произведения «Наставление в ораторском искусстве» (XII, 9,9).

... английских лейкистов ... — Лейкистами, или поэтами «озерной школы» (от англ. lake — «озеро») обычно называют английских поэтов Уильяма Вордсворта (1770–1850) и Сэмюэля Тейлора Кольриджа (1772–1834), поскольку они долгое время проживали в живописной местности Кэмберленд, изобилующей озерами. В Оксфордском университете к лейкистам присоединился Роберт Саути (1774–1843).

Буктехуде Дитрих (1637–1707) — датско-немецкий композитор, органист; писал светскую и духовную музыку.

... как старый Аргус Одиссея... — Здесь имеется в виду Аргус — пёс Одиссея, узнавший своего хозяина, когда тот, переодетый нищим, через двадцать лет странствий вернулся на родную Итаку (Гомер. «Одиссея»).

V. История великой любви Пса Петрова

... в «Трубе» или возле «Кулинарки», что на углу Институтской и Крещатика... — «Трубой» киевляне в шутку называют подземный переход на Майдане Незалежности (площадь Октябрьской Революции в настоящее время) с кофейнями и продуктовыми киосками. «Кулинарка» — просторечное название популярной у художественной богемы в 70–90 гг. XX в. «Кулинарии» на углу улиц Крещатик и Институтской.

Центральный Гастроном — в описываемую эпоху находился на углу улиц Крещатик и Ленина (бывшей Фундуклеевской, ныне Богдана Хмельницкого).

... витрину охотничьего магазина... — Охотничий магазин на Крещатике; не сохранился.

Per vezer e per auzir — «Мною самим и видено и слышано собственными моими глазами и ушами» (старопрованс.) — одна из формул достоверности, употреблявшихся авторами трубадурских жизнеописаний.

Herz, mein Herz!.. — «Сердце, мое сердце!..» (нем.) — первая строка из элегического стихотворения Гете «Новая любовь, новая жизнь», посвященного Анне Элизабет Шёнеман, которую поэт воспевал под именами Лили и Белинды.

Пьер Абеляр боготворил свою Элоизу... — Пьер Абеляр и Элоиза. О своей любви к Элоизе и о трагических последствиях этих отношений (Абеляра насильно осклопили по наущению родственников Элоизы) Абеляр рассказал в своей «Исповеди».

Паоло — свою Франческу... — Франческа да Римини, дочь Гвидо да Полента, владельца Равенны в XIII в., против воли выданная замуж за уроду Малатесту да Римини, полюбила его сводного брата Паоло. Разоблачив любовников, Малатеста убил жену и брата. История Паоло и Франчески увековечена Данте («Ад», песня 5).

Сегуин — свою Валенсию... — Сегуин и Валенсия — герои-любовники не дошедшего до нас средневекового романа, упоминаемые несколькими трубадурами (напр., графиней де Диа).

... *образы кустодиевских баб...* — Кустодиев Б. М. (1878–1927), русский советский живописец, изображал красочные сцены крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта с дородными, пышущими здоровьем женщинами.

Голосеевский парк имени Максима Рьльского — один из самых больших киевских парков; заложен в 1957 г. на базе лесного массива в Голосеево. Парк назван в честь украинского советского поэта М. Ф. Рьльского (1895–1964).

Олений парк имени Людовика Четырнадцатого, или Шервудский лес имени Робина Гуда... — Олений парк — место резиденции и любовных походов французского короля Людовика XIV. Шервудский лес в Англии, где обитал легендарный разбойник Робин Гуд вместе со своими лесными братьями.

... *профессора Басова, или того же Павлова...* — В. А. Басов (1812–1879) — русский хирург, впервые произвел наложение фистулы на желудок собаки (1842). И. П. Павлов (1849–1936) — русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности. С помощью разработанного им метода условных рефлексов (эксперименты проводились на собаках) установил, что в основе психической деятельности лежат материальные физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга.

КНИГА СТРАНСТВИЙ

(продолжение)

В небе

VI. Продолжение истории Пса Петрова

Святой Варфоломей — один из двенадцати апостолов Христовых. По наущению языческих жрецов брат царя Астиаг схватил апостола в городе Альбане (ныне Баку) и распял вниз головой. Затем с него содрали кожу и отсекли голову.

... что-нибудь из «Волшебной флейты» или из «Женитьбы Фигаро»... — «Волшебная флейта» (1791) и «Женитьба Фигаро» (1786) — оперы Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир, автор всемирно известных мемуаров «Жизнеописание Бенвенуто, сына Джованни Челлини, флорентийца, написанное им самим во Флоренции».

... «О живописи» *Ченнино Ченнини*... — Ченнино Ченнини (посл. четв. XIV века), итальянский художник, автор книги «Трактат о живописи». В настоящее время — ценнейший источник сведений о технике живописи эпохи Возрождения.

... книгу *Кандинского*, который так любил всадников и все синее ... — Речь идет о книге «О духовном в искусстве» (1912) В. В. Кандинского (1866–1944), русского живописца и графика, одного из основоположников абстрактного искусства. В 1911 г. в Мюнхене он вместе с Францем Марком (1886–1980) создал объединение художников-экспрессионистов «Синий всадник».

Давид д'Анже (1788–1856) — французский скульптор и медальер. Портреты его работы написаны в романтическом стиле.

... *розовым и голубым шедеврам*... — Имеются в виду так называемые «голубой» и «розовый» периоды (до 1907 г.) в творчестве французского художника (испанца по происхождению) Пабло Пикассо (1881–1973).

И я вслед за Горацием говорю вам... — Далее в тексте романа приведена цитата из оды Горация («Оды», III, I, 1–4).

Сфумато — в живописи, дымчатая светопись, «чтобы тени и свет сливались без линий и контуров»; смягчение очертаний предметов с помощью живописного воссоздания окружающей их световоздушной среды. Этот прием разработал Леонардо да Винчи.

Гюстав Курбе (1819–1977) — французский живописец, произведения которого отличаются статичностью форм, насыщенностью тонального колорита.

Альфьери Витторио (1749–1803) — итальянский драматург, создатель жанра итальянской трагедии в стиле классицизма.

Хлоя — пастушка, и ее возлюбленный пастух Дафнис — персонажи романа «Дафнис и Хлоя» древнегреческого писателя Лонга (между II–IV вв.).

Бавкида — жена Филемона; по древнегреческой легенде, супружеская чета, сохранила взаимную привязанность до глубокой старости.

Эпонина — легендарная галльская героиня, жена Сабина, вождя восстания галлов против Рима; когда император Веспасиан приговорил Сабина к смерти, Эпонина добровольно пошла на казнь вместе с ним.

Animal ridens — «смеющееся животное» (*лат.*) — знаменитая формула Аристотеля, характеризующая человека.

«*Pacta sunt servanda*» — «Договоры следует выполнять» (лат.) — одно из основных положений международного права, принятого Карфагенским собором в 483 г.

... *сцену из романа Стивенсона...* — Речь идет об эпизоде из приключенческого романа «Похищенный» (1886) английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).

«*Ancho'io sono pittore!*» — «И я тоже художник!» (итал.). Источник выражения — предание о восклицании Корреджо (1489–1534), увидевшего картину Рафаэля «Святая Цецилия».

Это же знаменитое описание «Моны Лизы» в книге Вазари. — Речь идет о книге флорентийского живописца Джорджо Вазари (1511–1574) «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

Вазарелли Виктор (1908–1998) — французский художник венгерского происхождения, один из создателей «Оп-арта» («оптического искусства»).

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Караван-сарай

Маттоид — то же, что и психопат.

... *мономаньяк!*.. — Мономанией на языке психиатрии XIX века назывались душевные заболевания людей, помешавшихся на почве какой-нибудь навязчивой идеи.

... *вереница лунных дервишей, звездных факиров и солнечных суфиев...* — Факиры и суфии — члены религиозных сект или братств, называвшиеся также дервишами. Дервиши, странствовавшие по разным странам Ближнего и Среднего Востока, пользовались большой популярностью среди народа, им приписывалась нередко роль чудотворцев.

... *полнозвучными рубаями и газелями...* — Рубай и газели — стихотворные формы. Слово «рубаями» — иронично искаженное «рубай».

Атар-гулла (тур.) — эфирное розовое масло.

Ифриты — сказочные крылатые чудовища, сотворенные из огня, которые встречаются в арабских сказках. Принадлежат к породе джиннов, демонов мужского и женского пола, иногда злых, иногда добрых, занимающих в мусульманской мифологии среднее место между людьми и ангелами.

Медина — один из священных городов мусульман, находящийся на Аравийском полуострове.

... *цвета фиروزы...* — Т. е. бирюзового цвета. Фируза — бирюза.

Шейх — старец, старейшина, вождь племени; обращение к старейшему по возрасту или духовному лицу.

... *принесли кувшин с песком и тахт для гадания.* — Тахт — доска для гадания на песке. Один из самых популярных видов гадания у арабов.

Касыда — длинное лирическое стихотворение, наиболее распространенный жанр арабской древней и средневековой поэзии.

Буали — Абу Али, или Ибн Сина, он же Авиценна (980–1037), персидский врач и философ, таджик по происхождению. В персидских сказках выступает под именем Буали. Знаменитый труд Ибн Сины «Канон врачебной науки» превратился в сказках в волшебную книгу. Сюжет о чудесном излечении.

Джиннистан — (от арабск. джинн — «дух, демон») — в арабских и персидских сказках фантастическая страна, где обитают духи; счастливая страна грез в романтической поэзии.

Он превращался то в сокола, то в нежную девушку... — «Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змея и сердцем льва» (Ибн Сина. «Канон врачебной науки»).

... успокоил больного, снял с него чувство страха и даже поднял ему настроение. — В своем «Каноне врачебной науки» Ибн Сина придавал большое значение необходимости успокоить больного и поднять ему настроение.

Только в красноречии истинное волшебство... — Цитата из Корана.

... из всех врачевателей выбирать тех, кто искуснее рассказывает байки... — «Если есть несколько врачей, из которых один лечит травами, другой — ножом, а третий — словом, сначала обратитесь к тому, кто лечит словом» (Гиппократ).

Какуллийское алоэ — благоуханное дерево, растущее в Индии.

Кинокефалы — мифологические человекоподобные существа с собачьими головами.

Симург — гигантская птица в восточных сказаниях. Птица Симург упоминается в «Шахнаме», в повести о «Синдбаде-мореходе». Известна она также по средневековым легендам об Александре Македонском, Марко Поло и т. д.

Хафизизм — авторский неологизм от имени Хафиз. Шамседдин Хафиз (ок. 1325–1389 или 1390) — персидский поэт, мастер газели. «Диван» Хафиза состоит из суфийских поучений в форме газелей.

КНИГА СТРАНСТВИЙ (окончание без окончания)

В небе и на земле

VII. Побег

... «Новеллу о беседе собак», в которой... Сервантес... — Упомянутая новелла входит в книгу испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) «Назидательные новеллы».

... «Известия о дальнейших судьбах собаки Берганца» из второго тома «Фантазий в манере Калло»... — «Фантазии в манере Калло» — книга новелл немецкого писателя-романтика и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822).

... *ведомые Капеллой, звездой оникса*... — С древности считалось, что между звездами и минералами существует магическая связь. Так, Капелла, по Аболаису («Лапидарий Короля Альфонса X Мудрого», XIII в.), звезда оникса. Под влиянием этой звезды человек стремится в неизведанные страны, чтобы добиться там авторитета и признания. Она стимулирует старательность, любознательность.

... и *Мандевиль, и Кадамосто — со всеми их «чудесами мира»?* — Мандевиль (Иоганн де Монтевилла, или Джон Монтвилл, ок. 1300–1372) — реально существовавшая в средние века личность. Написал книгу о якобы предпринятых им длительных путешествиях по Азии и Африке (впервые издана на французском языке в 1350–1352 гг.). Алоизий Кадамосто (1432–1480) — итальянский путешественник, оставил обстоятельные описания своих путешествий. «Чудеса мира» — манускрипт XIV в., в котором были сведены все популярные книги о путешествиях (в том числе М. Поло, Мандевилья, Кадамосто).

«Тут от покойного сна пробудил Телемах Писистрата, пяткой толкнувши его...» — цитата из «Одиссеи» Гомера (стихи 44–45, книга XV). Телемах и Писистрат — герои мифологии и эпоса Гомера.

Quod bonum felix et faustum — «Да будет на благо, счастье и удачу» (лат.) — формула пожелания успеха начатому делу в Древнем Риме.

VIII. Свобода

Брест-Литовский проспект — в настоящее время проспект Победы.

... *ветеринара Людвиг Филипповича Буссе*... — Л. Ф. Буссе (1803–1874) — русский ветеринар, австриец по происхождению. Один из главных его трудов — «Собака в главных и побочных ее породах» (1859).

Макс Гендель (1856–1919) — американский эзотерик, один из ярких представителей розенкрейцерства; автор «Космогонии розенкрейцеров» (1909), «Философии розенкрейцеров в вопросах и ответах» и др.

Аскольдова могила — часть паркового комплекса на склонах правого берега Днепра в Печерском районе Киева. Согласно легенде, вблизи этого места в 882 г. князь Олег убил киевских князей Аскольда и Дира. Первый из них, как считают, похоронен на месте гибели. Над Аскольдовой могилой возведена каменная церковь-ротонда (1810, арх. А. И. Меленский).

... *если Туллианум и означает источник*... — Туллианум — подземная часть государственной тюрьмы в Риме. Название это происходит, вероятно, от слова *tullius* («источник»), так как первоначально на месте Туллианума находился колодец.

... *Сен-Жак в Люксембурге*... — Замок Сен-Жак — старинная тюрьма в центре города Люксембурга, столицы Люксембургского герцогства.

Ponte dei Sospiri — Мост Вздохов (*итал.*) — крытый мост через канал Рио ди Рабаццо в Венеции, соединявший Дворец дождей с венецианскими тюрьмами, находившимися на набережной Скъявони.

Пьюмби — (от *итал. del piombi* — «свинцовые») — так назывались камеры для арестованных на чердаке Дворца Дожей, под самой крышей, покрытой свинцом.

Ньюгейт — (*англ.* «Newgate» — «Новые ворота») — старинная тюрьма в Лондоне, основанная в начале XIII в., при короле Иоанне, изначально занимала верхние этажи башни над городскими воротами. В дальнейшем несколько раз перестраивалась.

Да и наша доморожденная тюрьма Лукьяновская... — Имеется в виду Лукьяновская тюрьма предварительного заключения — самая старая из ныне существующих в Киеве.

... чтобы треклятую тюрьму наречь Феррингдонским отелем... — Речь идет об одной из древнейших лондонских тюрем — Флит, — в которую с XVII в. заключали только неисправных должников. Эта тюрьма находилась на Феррингдон-стрит, пересекающей Флит-стрит; была снесена в 1845 г.

Deus ex machina — «Бог из машины» (*лат.*); развязка вследствие вмешательства непредвиденных обстоятельств. В античной трагедии развязка наступала иногда благодаря вмешательству «бога», появившегося на сцене при помощи механических приспособлений.

... великий Челлини, узник коварного папы... — В своем «Жизнеописании» Бенвенуто Челлини рассказывает историю о том, как был заключен папой Павлом III в каземат замка Святого Ангела в Риме и о своем побеге из этой тюрьмы.

... окрыленный Божественным порывом к свободе и справедливости, Джакомо Казанова де Сенгаль... — Джованни Джакомо Казанова (1725–1798) прославился своими авантурными приключениями (в том числе и побегом из тюрьмы Пьюмби, в которой он просидел более года), описанными им в автобиографической книге «История моей жизни».

Джек Шеппард — английский разбойник, два раза бежавший из Ньюгейтской тюрьмы.

... не говоря уж о Великом магистре Чарльзе Рэдклиффе... — Великий магистр Сиона Чарльз Рэдклифф (незаконнорожденный внук Чарльза II, впоследствии граф Дервенуотер, масон) вместе с тринадцатью своими товарищами сбежал из Ньюгейтской тюрьмы (1716), куда они были заключены за участие в восстании 1715 г.

«Ньюгейтский справочник» — шеститомное издание, включающее биографии важнейших преступников, заключенных в центральную лондонскую тюрьму Ньюгейт с 1770 г.

IX. В поисках Льва

... куда его заносила погода, там он и находил гостеприимство. — Цитата из «Посланий» Горация (I, 1, 13–15).

Гольфье де Ля Тур — герой позднейшего провансальского эпоса. Согласно легенде, он во время крестового похода к Святой Земле спас льва от обвившей его змеи, после чего лев повсюду его сопровождал и привязался к нему настолько, что когда Гольфье отплывал домой на корабле, лев, оставленный им на берегу, плыл следом за кораблем до тех пор, пока, измученный, не утонул.

... как некогда *Жофруа Рюдель на руках принцессы триполитанской...* — Жофруа (Джауфре) Рюдель, знаменитый трубадур XII в. Мотив «любви издалека», проходивший через лирику этого трубадура, послужил основанием создания легенды о любви Рюделя к Мелисанде — графине Триполитанской (графство Триполитанское существовало с 1103-го до 1200 г.). Эта легенда разрабатывалась и в вымышленных биографиях. Легенда гласит: Жофруа влюбился заочно в принцессу Триполитанскую, красоту и ум которой превозносили паломники, возвращавшиеся из святых мест. Рюдель отправился в Триполи, чтобы увидеть принцессу; во время переезда заболел и приехал в Триполи уже при смерти. Принцесса, извещенная о приезде трубадура и тронутая его любовью, посетила его на корабле; Рюдель умер у нее на руках.

... в роли *веселого Биббиены (портрет которого, кисти Рафаэля, он видел на репродукциях)* возводит на престол папу Льва X. — Бернардо Биббиена (1470–1520), итальянский писатель. Последовав за Джованни Медичи в изгнание, в Рим, он содействовал избранию его на папский престол под именем Льва X. В благодарность Лев X сделал Биббиену своим казначеем и кардиналом. В 1520 г. Биббиена внезапно умер. Существовало подозрение, что он был отравлен Львом X, т. к. стремился будто бы занять папский престол. Ловкий политик, Биббиена был известен веселым характером, любил устраивать празднества, покровительствовал художникам (в частности, Рафаэлю, который написал его знаменитый портрет).

... на *Думской площади имени Калинина и Октябрьской революции* ... — Здесь перечислены названия одной и той же площади, которые она носила в советское время. Сейчас это Майдан Незалежности — центральная площадь современного Киева, которую пересекает Крещатик.

... с *чертами лица преторианского легионера...* — Преторианцы — в Древнем Риме первоначально охрана полководцев, затем императорская гвардия; не раз участвовали в дворцовых переворотах.

«*Фотограф щелкает, и птичка вылетает*»... — В песне Б. Окуджавы: «Фотограф щелкает, и птичка вылетает».

Risum teneatis, amici... — «Можно ли удержаться от смеха, друзья?» (лат.) — строка из «Послания к Пизонам» (авторское название, «Наука поэзии» — позднейшее) Горация.

... в *великолепном архитектурном ансамбле Банка на Липках...* — Здание Национального Банка Украины на улице Институтской. Липки — историческая местность в Печерском районе. Название возникло после 1744 г., когда здесь посадили липовую рощу.

Музей изобразительных искусств — одна из самых больших сокровищниц украинской живописи. Здание сооружено между 1897 и 1900 гг. (архитекторы В.Городецкий и Г. Бойцов). Автор цементных львов у подножия Музея — скульптор Э. Саль.

Марсилио Фичино (1433–1499) — итальянский философ-неоплатоник, основатель и глава платоновской Академии во Флоренции. Для Фичино характерна апология земной красоты, созерцание которой он рассматривал как ступень к высшему мистическому созерцанию.

Аквинат — Фома Аквинский (1225–1274), крупнейший философ-схоласт.

«Pulchra sunt quae visa placent» — «Прекрасно то, что приятно для зрения» (*лат.*) (Фома Аквинский. «Сумма теологии», I, 5).

... с определением Ларусса... — Имеется в виду Энциклопедия Ларусса, выпускавшаяся издательством Ларусс, основанным в 1852 г. в Париже педагогом и лексикографом П. Ларуссом (1817–1875).

Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский (1561–1626) — философ, основоположник английского материализма. Лорд-канцлер при Якове I. Автор «Нового органа» (1620) и утопии «Новая Атлантида».

Каллипердия — учение о красоте (*греч.*).

В шестьдесят восьмом такие вот волосатые ребята... — Имеется в виду так называемая «студенческая революция» в Париже в 1968 г. В то время в молодежной среде были популярны некоторые леворадикальные идеи Ж.-П. Сартра.

...sous le ciel de Paris, воспетом Пиаф и Монтаном... — Имеется в виду популярная песня Юбера Жиро на стихи Жана Дрежака «*Sous le ciel de Paris*» («Под небом Парижа»), исполнявшаяся Эдит Пиаф и Ивом Монтаном.

...плели венки из лотосов где-нибудь на Антильских островах... — Имеется в виду движение хиппи — «детей цветов», как они себя называли, — расцвет которого пришелся на 60–70-е гг. XX в.

И если Крещатик, по меткому замечанию одного известного архитектора... — Существует исторический анекдот о том, как архитектор Ле Корбюзье, побывав в Киеве, назвал заново отстроенный после Второй мировой войны Крещатик «бредом пьяного кондитера».

... памятник Ленину на Бессарабке. — Этот памятник находится на Бессарабской площади в самом начале бульвара Шевченко — прямо напротив Бессарабского рынка.

... у памятника Щорсу. — Бронзовая конная статуя советского полководца Н. А. Щорса на гранитном пьедестале с барельефами, на которых отражены эпизоды периода гражданской войны в Украине. Установлен в 1954 г. на пересечении бульвара Шевченко и улицы Коминтерна.

... напротив Могилянки дядька стоит... — Имеется в виду бронзовая статуя Григория Сковороды на, установленная напротив здания Киево-Могилянской академии. Памятник открыт в 1976 г.

... *установил Кавалеридзе*. — Кавалеридзе И.П. (1887–1978), советский скульптор, режиссер кино и театра, драматург, сценарист — автор памятника Григорию Сковороде на Контрактовой площади в Киеве.

«*Красота, — заявлял отец французского романтизма...*» — цитата из романа «Отверженные» Виктора Гюго (1802–1885), французского писателя и поэта.

... *в отличие от Диогена, который «искал всего лишь человека»*... — Диоген из Синопа (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), ученик Антисфена; практиковал крайний аскетизм; герой многочисленных анекдотов; знаменит главным образом из-за бочки, которая долгое время служила ему домом. «Зажегши светильник днем, он говорил: “Я ищу человека”» (Диоген Лаэртий. «Жизнь, мнения и учение знаменитых философов», VI, 2, 41).

Х. Фарфоровый Лев

... *времен Юаньской династии...* — Юань — императорская династия в Монголии и Китае (1271–1368, в Китае с 1280 г.) — основана ханом Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 г.

... *беттгеровский фарфор из Саксонии...* — Саксонский фарфор, изобретенный Иоганном-Фридрихом Беттгером (1682–1719).

... *санкт-петербургский фарфор с росписями Свебах...* — Жак Франсуа Жозеф Свебах (1769–1823) — французский художник, работавший в 1813 г. главным живописцем на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге.

Палладио Андреа (1508–1580) — итальянский архитектор, представитель позднего Возрождения. На основе античных и ренессансных традиций разрабатывал типы городского дворца, загородной виллы, церковного здания.

Иниго Джонс (1573–1652) — английский архитектор, представитель палладианства. Утверждал в английской архитектуре ясность композиции и благородство пропорций классического зодчества.

Дворец бракосочетаний... — Дворец торжественной регистрации браков и новорожденных, открытый в 1982 г. на проспекте Победы (бывшем Брест-Литовском шоссе).

... *сравнивал свою трудную судьбу с судьбой апулеевского Луция...* — Пес Петров имеет в виду Луция, главного героя романа «Метаморфозы, или Золотой осел» римского писателя Апулея (ок. 125 — ок. 180).

... *смело мог ходить, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, и радостно смотреть в лица встречных.* — Фрагмент последней фразы романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (XI, 30) в переводе М. А. Кузмина.

XI. Поиски продолжаются

Бельканто — стиль вокального исполнения, отличающийся легкостью и красотой звучания, мелодичной связностью, изяществом и виртуозным совершенством вокальных орнаментов. Возник в Италии в середине XVII в.

...*Ты работал амфору...* — Квинт Гораций Флакк. «Наука поэзии». Перевод М. Дмитриева.

В кольчугу правды облакаясь смело... — Данте. «Божественная комедия», Ад, Песнь XXVIII. Перевод М. Лозинского.

... *конфликт с папашей Хэмом в осажденном Мадриде.* — «Папаша Хэм» — Эрнест Хемингуэй (1899–1961), американский писатель. Принимал участие в гражданской войне в Испании в качестве военного корреспондента. Известен случай его ссоры с Ильей Эренбургом, но совсем по другому поводу.

... *перевод Кожевникова...* — В. М. Кожевников (1909–1984) — русский советский писатель и переводчик.

... «*Старых мастеров*» *Эмиля Верхарна...* — «Старые мастера» — стихотворение Эмиля Верхарна (1855–1916) — бельгийского поэта-символиста и драматурга, писавшего на французском языке.

Терцина — форма стихотворения, в которой все произведение распадается на трехстишия, где первый и третий стих рифмуются между собой и со средним стихом предыдущего трехстишья; терцинами написана «Божественная комедия» Данте.

Спенсерова строфа — строфа в девять строк, впервые введенная английским поэтом эпохи Возрождения Эдмундом Спенсером (ок. 1552–1599), автором знаменитой незаконченной аллегорической поэмы «Королева фей» (1590–1596).

Ропалический стих — (от греч. Ρόπαλον — «палица») — термин неолатинской версификации: стих, в котором первое слово односложное, второе двусложное и т. д. до конца, так что стих к концу — подобно палице — утолщается, откуда и название.

... *Гомера, слепого и всевидящего.* — По преданию, Гомер был слепым.

... *в книгу старика Лонгина...* — Трактат «О возвышенном», приписывавшийся древнегреческому ученому Лонгину (213–273), считался руководством для поэтов.

«*Искусство поэзии*» *Горация.* — То же, что и «Наука поэзии».

«*О поэтическом искусстве*» *Марка Иеронима Види...* — Марк Иероним Вида (1480–1568) — итальянский епископ и писатель, автор трактата «О поэтическом искусстве».

Рене ле Боссю (1631–1680) — французский писатель, автор популярного в конце XVIII в. «Трактата об эпической поэзии».

«Искусство английской поэзии» Эдварда Бисше... — Эдвард Бисше (годы жизни неизвестны) — английский литератор. Автор вышедшей в 1702 г. компилятивной книги «Искусство английской поэзии», которая пользовалась в свое время большой популярностью.

Харсдёрфер Георг Филипп (1607–1658) — немецкий поэт, представитель нюрнбергской поэтической школы.

... трактата «Парини, или О славе», сочиненного бесподобным Джакомо Леопарди, который устами великого Джузеппе Парини... — Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт и мыслитель. Его трактат «Парини, или О славе» (написан в 1824 г.) построен в форме наставлений Парини одному из своих учеников. Джузеппе Парини (1729–1799) — итальянский поэт, чье творчество считается одной из вершин итальянского классицизма.

«*Gradus ad Parnassum*» — «Ступень к Парнасу» (лат.) — словарь по технике поэтического творчества; содержал данные о количестве (долготе или краткости) каждой гласной, а также синонимы, принятые сравнения, метафоры и т. п. Первый латинский «*Gradus ad Parnassum*» издан в Кёльне немецким иезуитом Паулем Алером в 1702 г.

Ольмион и *Иппокрена* — в древнегреческой мифологии священные источники вдохновения.

Поэзия — *сродни алхимии*. — Слово «поэзия» происходит от греческого глагола *poiein* («делать»), буквально означает «делание». «Великим Деланием» называли алхимию.

...старый белый «*Bösendorfer*»... — Имеется в виду рояль австрийской фортепьянной фирмы, основанной в 1828 г. Игнацем Бёзендорфером (1796–1859).

«*Гретхен за прялкой*» — песня австрийского композитора Франца Шуберта (1797–1828) на стихи Гете.

... опального писателя *Тютюнника*... — Г. М. Тютюнник (1920–1961) — украинский советский писатель, автор рассказов, стихов и романа «Вир» («Водоворот»). Жил в так называемом «доме-тереме» на Андреевском спуске (в 1963–1967 гг.).

Евгеника — теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.

Френология — антинаучная теория, согласно которой на основании краниометрических данных (размеры и форма черепа) якобы можно судить о психических особенностях человека.

«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы» — слова из песни «Я верю, друзья» Оскара Фельцмана на слова Владимира Войновича (1961), запрещенная после отъезда Войновича за рубеж.

«Долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей!..» — слова из песни «Я — Земля» Ваню Мурадели на слова Евгения Долматовского. Песня периода рождения советской космонавтики.

Петя Рыжик — персонаж популярного в 60-е гг. XX в. комикса, публиковавшегося во всесоюзном ежемесячном журнале для детей дошкольного возраста и первоклассников «Веселые картинки». Построив космический корабль из дубовой бочки, пионер Петя Рыжик вместе со своими друзьями, собаками Белкой и Стрелкой, совершал путешествия в космос и на Луну.

Незнайка на Луне... — Речь идет о Незнайке из Солнечного города, непоседливом герое книги русского советского писателя для детей Н. Н. Носова (1908–1976) «Незнайка на Луне».

... у дома № 13 копошились какие-то подозрительные личности. — Имеется в виду дом на Андреевском спуске, в котором в 1906–1913 и 1918–1919 гг. жил писатель М. А. Булгаков (1891–1940). В конце 70-х — начале 80-х гг. на стене этого дома любители творчества Булгакова часто писали краской или мелом: «Здесь жил Булгаков» и т. п. В 1982 г. на фасаде дома была установлена бронзовая мемориальная доска. В 2007 г. рядом с домом установлен бронзовый памятник.

... бросил сонный взгляд на Поскотину... — Гора Поскотина — отрог горы Детинки.

ХII. Янтарная лихорадка на Андреевском спуске

Блаватская Елена Петровна (1831–1891) — основательница Теософского общества (Нью-Йорк, 1875). Автор книг «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина».

Септимер — в астрологии семь «небесных домов»: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

... две первые терцины «Божественной комедии», открывающие дорогу в Ад. — Имеются в виду первые два трехстишия (1–6), которыми начинается «Божественная комедия» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины. // Каков он был, о, как произнесу, Тот дикий лес, дремучий и грозный, Чей давний ужас в памяти несу!» — Перевод М. Лозинского.

... они также сулили и встречу с великим Вергилием... — В «Божественной комедии» Данте, ведущий повествование от первого лица, описывает свою встречу с великим римским поэтом Вергилием («Ад», Песнь первая, 62 — 63), который ведет его через Ад, Чистилище к Земному Раю.

... на заброшенном старинном кладбище. — Имеется в виду кладбище Флоровского монастыря. В советское время находилось в полном запустении.

«Три тринадцатых номера!» — В настоящее время на Андреевском спуске осталось два дома под номером 13: дом-музей М. А. Булгакова и кафе «Под липой».

... шумят и суетятся Голохвастовы... — Голохвастов — персонаж комедии М. Старицкого «За двумя зайцами».

И зачем только князь Игорь, выступая против половцев, избрал именно эту дорогу? — О том, что князь Игорь Святославич (1150–1202), выступив в свой несчастливый поход против половцев, двигался с дружиной по Боричеву Току, упоминается в «Слове о полку Игореве».

... *служитель культа Гамбринуса...* — Гамбринус — легендарный создатель пивоварен.

Пьер-Клод-Виктор Буат (1765–1824) — французский филолог и писатель.

Из «Рабочей». Отдел писем. — «Рабочая газета» в описываемую эпоху один из центральных республиканских органов печати ЦК компартии Украины. Отдел писем этой газеты имел сеть рабкоров (рабочих корреспондентов) по всей республике и занимался самыми разнообразными проблемами жизни людей.

Диактрические знаки — дополнительные знаки в алфавитах некоторых языков, употребляемые над или под буквами, а иногда и рядом с ними, указывающие на иное звучание буквы.

... *уайльдовскую цитату...* — Цитата из трактата английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900) «Упадок лжи» (1891), в котором он провозглашает целью искусства «ложь, передачу красивых небылиц».

... *на улице Флоровской загорелось сразу три дома.* — Пожар, уничтоживший значительную часть Флоровской улицы (на склоне Флоровской горы), произошел в 1982 г. В настоящее время от этой части улицы не осталось ни малейшего следа.

... *ужасные видения.* — По древним магическим представлениям, при сжигании янтаря возникают различные видения.

Флоровский монастырь — или Фроловский женский монастырь; известен с XV в. Расположен на бывшей Притисско-Никольской улице у основания Флоровской (Замковой) горы.

Ланселот Блондель (1496–1561) — фламандский живописец. По воспоминаниям современников, Блондель любил изображать ночные пожары, например, гибель Трои и т. п., но ни одна картина этого типа не дошла до наших дней.

«*Сириус! — горестно воскликнул пес Петров. — Звезда моя!*» — Сириус — альфа-звезда созвездия Большого Пса, самая яркая на небе. С древности считалась «собачьей звездой». Восходя в момент рождения, дарует бесценные достоинства.

Константиновская улица — на Подоле, пролегает от Контрактной площади до улицы Заводской. Название (известно с 1837 г.) происходит от наименования церкви Константина и Елены.

домик Петра I — находится на Подоле по улице Константиновской № 6, на пересечении с улицей Хорива. Во время пребывания в Киеве в 1706–1707 гг. здесь останавливался Петр I.

...женится же великий Гете на банальной мещанке Христине Вульпиус! — Женой Гете была Иоганна-Христина-София Вульпиус, простая и необразованная женщина, которой поэт посвятил свои «Римские элегии». Известно, что у нее была слабость к спиртным напиткам.

А супругой великого Гейне была... — Имеется в виду француженка Матильда (настоящее имя — Крессенсия-Эжени) Мира, жена немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856).

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ГОРОДА

Корбюзьевич и Руна.....	7
-------------------------	---

КНИГА КОРОЛЕВЫ

САД ПРИДУМАННЫХ ПТИЦ И ЦВЕТОВ

I. Г-н Филин и герметический образ Вселенной	55
II. Вверх по древу.....	59
III. Висячее озеро	65
IV. Сад и его старый садовник.....	70
V. Орнитологические изыскания старого садовника	81
VI. Путешествие по саду	88
VII. Любиния, руководителей и другие.....	95
VIII. История последнего трубадура	99
IX. «Хвалёбник» Майонеза Провансальского.....	103

ГЛОБУС КИЕВА	109
--------------------	-----

Ошеломительная история рождения Котомыша Лаврентия Печерского.....	128
---	-----

КНИГА СТРАНСТВИЙ

НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

I. Классик	145
II. Летящий корабль.....	163
III. Альгакобилла	172
IV. Пес Петров	179
V. История великой любви Пса Петрова	188

КНИГА КОРОЛЕВЫ

ВОКРУГ КАРУСЕЛИ.....	197
----------------------	-----

КНИГА СТРАНСТВИЙ

В НЕБЕ

VI. Продолжение истории Пса Петрова.....	203
--	-----

КНИГА КОРОЛЕВЫ

КАРАВАН-САРАЙ225

КНИГА СТРАНСТВИЙ

В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

VII. Побег235

VIII. Свобода243

IX. В поисках льва249

X. Фарфоровый лев263

XI. Поиски продолжаются 268

XII. Янтарная лихорадка на Андреевском спуске..... 283

Примечания 314

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА КНИГ

NIGREDO

Том II

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 66x88^{1/16}
Усл. печ. л. 22. Подписано в печать 26.05.2018
Печать офсетная. Заказ 234



Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

Время действия — 70–80 гг. прошлого века.

Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя». Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юморвсе в этой книге переплетено в бесконечной фантазмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.